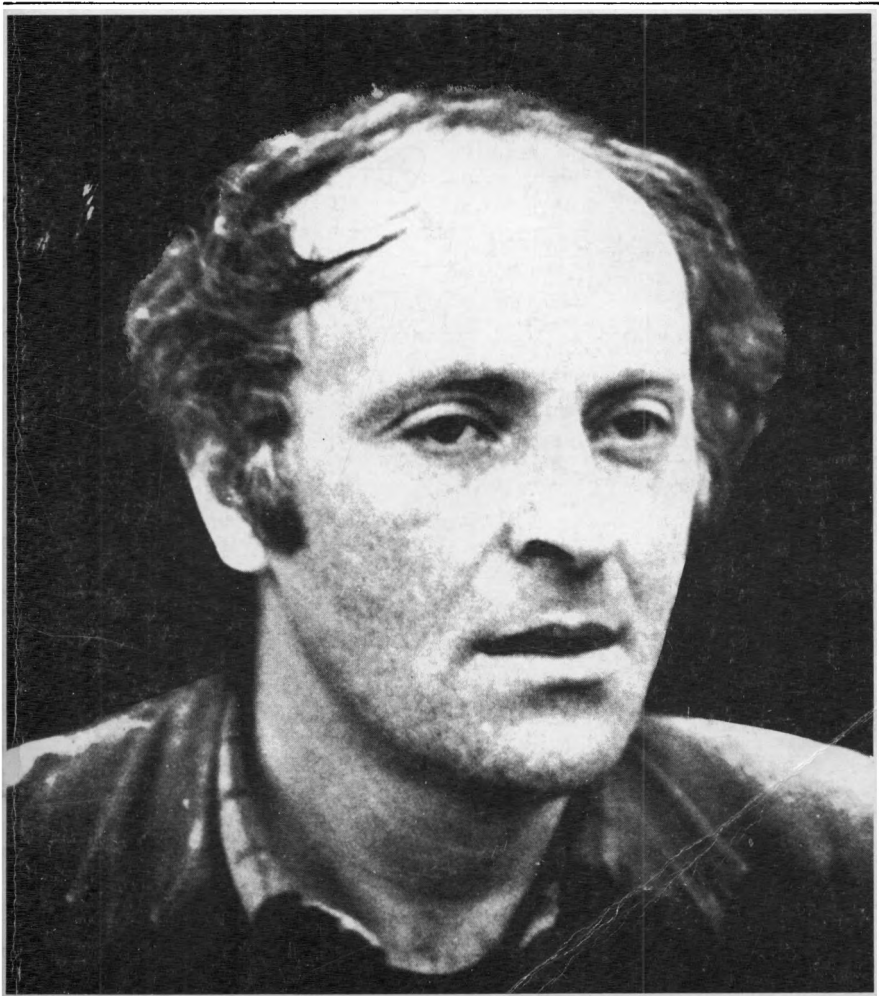


**ЧАСТЬ
РЕЧИ**



**1980
№ 1**



В китайском смысле с
 тобой, это после тридцати наших
 дни фотоденят идут в Китае,
 и поздравления — это называется
 — etvagalssing — поворот по-фудеки,
 поздравлять не с кем; но с другой
 стороны, эти мнуен (в твоём
 случае) обостряются известными
 и новыми, приятными вещами,
 будто ещё один лаг в китайско
 ресторане, новое песенное место
 на Minton street мм, в кожаном
 стиле стимок, который нравился
 не только тебе. А это — по сути дела
 — самое главное, для тебя и не
 только для тебя.
 И дай тебе Бог!
 твай Михаил Барышников

ЧАСТЬ РЕЧИ

АЛЬМАНАХ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

1



СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
Нью Йорк • 1980

Редакционная коллегия

Петр ВАЙЛЬ
Александр ГЕНИС
Сергей ДОВЛАТОВ
Алексей ЛОСЕВ
Геннадий ШМАКОВ
Людмила ШТЕРН

Редактор-издатель

Григорий ПОЛЯК

Editorial Board

Peter VAIL
Alex GENIS
Sergei DOVLATOV
Alexey LOSEV
Gennady SHMAKOV
Lyudmila SHTERN

Editor-Publisher

Gregory POLIAK

Своей целью альманах «Часть речи» ставит воссоздание литературно-художественного процесса в России последнего столетия как единого целого.

Издание не преследует никаких политических целей и, руководствуясь Нобелевским принципом, печатает произведения «идеального направления» на основе чисто эстетических критериев.



The Almanac "Part of Speech" aims at recreating, as a single whole, the literary-artistic process in Russia over the past 100 years.

The almanac pursues no political objectives and comprises "idealistic" works, as defined in the Nobel principle, selected on the basis of purely aesthetic criteria.

Chast' rechi
(Part of speech)
Literary-artistic almanac

©1980 by SILVER AGE PUBLISHING
All rights reserved
Library of Congress Catalog
Card Number: 80-50878

Настоящее издание отпечатано в количестве 1000 экземпляров. 50 из них нумерованы и могут быть высланы по специальному заказу.

SILVER AGE PUBLISHING
P.O.Box 384, Rego Park, N. Y. 11374



ИОСИФ БРОДСКИЙ

Иосиф БРОДСКИЙ

ИЗ ЦИКЛА «ЧАСТЬ РЕЧИ»

1

М. Б.

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной струн, продолжающая коричневеть в гостиной, белеть а ля Казимир на выстиранном просторе, темнеть — особенно вечером — в коридоре, спой мне песню о том, как шуршит портьера, как включается, чтоб оглушить полтела, тень, как лиловая муха, сползает с карты и закат в саду за окном точно дым эскадры, от которой осталась одна матроска, позабытая в детской. И как расческа в кулаке дрессировщика-турка, как рыбку — леской, возвышает болонку над Ковалевской до счастливого случая твякнуть сорок раз в день рожденья, — и мокрый порох гасит звезды салюта, громко шипя, в стакане, и стоят графины кремлем на ткани.

22 июля 1978 г.

2

Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане,
мелочи, обжигающей пальцы, звеня в кармане;
северных рек, чья волна, замерзая в устье,
вспоминает истоки, южное захолустье
и на миг согревается. Время коротких суток,
снимаемого плаща, разбухших ботинок, судорог
в желудке от желтой вареной брюквы;
сильного ветра, треплющего хоругви
листолюбивого воинства. Пора, когда дело терпит,
дни на одно лицо, как Ивановы-братья,
и кору задирает жадный, бесстыдный трепет
пальцев, которым мало сырого платья.

3

Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобойю.
Она скукоживается на глазах, под рукою.
Зеленая нитка, следом за голубую,
становится серой, коричневой, никакою.
Уж и краешек вроде виден того батиста.
Ни один живописец не напишет конец аллеи.
Знать, от стирки платье невесты быстрее садится
да и тело не делается белее.
То ли сыр пересох, то ли дыханье сперло.
Либо: птица в профиль ворона, а сердцем — кенарь.
Но простая лиса, перегрызая горло,
не разбирает, где кровь, где тенор.

4

Как давно я топчу, видно по каблuku.
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.
То и приятно в громком кукареку,
что звучит, как вчера.
Но и черной мысли толком не закрепить,
как на лоб упавшую косо прядь.
И уже ничего не снится — чтоб меньше быть,
реже сбываться, не засорять
времени. Так рядовой Кашей,
сплоховавший насчет бессмертья, с пустой мошной,
загодя избавившись от вещей,
заполняет подвалы будущей тишиной.

Восходящее желтое солнце следит косыми
глазами за мачтами голой роши,
идушей на всех парах к цусиме
крещенских морозов. Февраль короче
прочих месяцев и оттого лютее.
Кругосветное плавание, дорогая,
лучше кончить, руку согнув в локте и
вместе с дредноутом догорая
в недрах камина. Забудь цусиму!
Только огонь понимает зиму.
Золотистые лошади без уздечек
масть в дымоходе меняют на масть воронью.
И в потемках стрекочет огромный нагой кузнечик
которого не накрыть ладонью.

6

ПОЛЯРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Все собаки съедены. В дневнике
не осталось чистой страницы. И бисер слов
покрывает фото супруги, к ее щеке
мушку даты сомнительной приколов.
Дальше — снимок сестры. Он не шадит сестру:
речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
как чулок девицы из варьете.

ЛЕНИНГРАД

Перед Финляндским вокзалом, одним из пяти вокзалов, через которые путешественник может попасть в этот город или покинуть его, на самом берегу Невы, стоит памятник человеку, чье имя этот город носит в настоящее время. Собственно говоря, при каждом ленинградском вокзале имеется подобный монумент, то ли статуя в рост перед, то ли массивный бюст внутри здания. Но памятник перед Финляндским вокзалом уникален. И дело тут не в самой статуе, так как тов. Ленин изображен на обычный манер, с вытянутой в пространство рукой, т. е. как бы обращаясь к массам, а дело в пьедестале. Поскольку тов. Ленин декламирует, стоя на броневике. Все это выполнено в стиле раннего конструктивизма, столь популярного ныне на Западе, и в целом сама идея высечь из камня броневик отдает некоторой психологической акселерацией, скульптура как бы малость опережает свое время. Насколько мне известно, это единственный в мире монумент человеку на броневике. Уже хотя бы в этом отношении мы имеем дело с символом нового мира. Старый мир обычно представляли люди на лошадях.

В полном соответствии с каковым обстоятельством километрах в трех вниз по течению, на другом берегу стоит памятник человеку, чье имя этот город носил со дня своего основания: Петру Великому. Недвижность этого монумента, повсеместно известного как «Медный Всадник», частично может быть объяснима безостановочностью, с какой его фо-

* «Leningrad: The City of Mystery», Vogue, September 1979, pp. 494—499, 543—547.

тографируют. Это впечатляющий монумент, метров шесть в высоту, лучшее произведение Этьена-Мориса Фальконе, рекомендованного заказчику — Екатерине Великой Дидро и Вольтером. Над огромной гранитной скалой, перетащенной сюда с Карельского перешейка, высится Петр Великий, удерживая и осаживая левой рукой лошадь, каковая символизирует Россию, и простирая правую руку по направлению к северу.

Поскольку эти два человека разделяют ответственность за название города, хочется сравнить не только памятники, но также и непосредственное их окружение. Слева от себя человек на броневике имеет псевдоклассицистическое здание райкома партии и небезызвестные «Кресты» — самый большой в России дом предварительного заключения. Справа — Артиллерийская академия и, если проследить, куда указывает его протянутая рука, самая высокая из послереволюционных построек на левом берегу — ленинградское управление КГБ. Что касается «Медного Всадника», у него тоже по правую руку имеется военное учреждение — Адмиралтейство, однако слева — Сенат, ныне Государственный Исторический Архив, а вытянутой рукой он указывает через реку на Университет, здание которого он построил и в котором человек с броневика позднее получил кое-какое образование.

Так что двухсотсемидесятишестилетний город существует под двумя именами — «урожденный» и «он же» — и его обитатели предпочитают не пользоваться ни тем, ни другим. Конечно, в документах и на почтовых отправлениях они проставляют «Ленинград», но в обычном разговоре скорее скажут просто «Питер». И дело тут не столько в политике, сколько в том, что и «Ленинград» и «Петербург» не слишком удобопроизносимы, да и люди всегда склонны давать прозвища населеным ими местностям, что является в сущности очередной стадией обживания. «Ленин» в этом смысле просто не годится, хотя бы потому, что это фамилия (да к тому же и придуманная), а вот «Питер» звучит очень естественно. Прежде всего, город уже назывался так двести лет. К тому же дух Петра Первого все еще куда более ощутим здесь, чем душок позднейших эпох. А кроме всего прочего, поскольку подлинное русское имя императора — Петр, «Питер» звучит слегка по-иностранному, что и соответствует чему-то

определенно иностранному, отчужденному в городской атмосфере: зданиям европейского вида, возможно, и самому месторасположению: в дельте северной реки, текущей в открытое враждебное море. Иными словами, при выходе из столь привычного мира.

Россия — страна весьма континентальная, ее поверхность распространяется на одну шестую земной суши. Идея построить город на самом краю земли и провозгласить его затем столицей государства рассматривалась современниками Петра Первого как, по меньшей мере, неудачная. Матерно-теплый, традиционный до полного отторжения всего чужого, клаустрофобический собственно-русский мир дрожал мелкой дрожью на пронизывающе холодном балтийском ветру. Реформы Петра встретили чудовищное сопротивление прежде всего потому, что район невской дельты был и в самом деле плох. То были низины и болота, и для строительства нужно было укреплять грунт. Леса вокруг было сколько угодно, но добровольцев его валить не находилось, еще менее — забивать бревна в землю.

Но Петр Первый провидел город, и более чем город: Россию с лицом, обращенным к миру. В контексте того времени это означало — к Западу; городу суждено было стать, по словам одного итальянского писателя, посетившего Россию о ту пору, окном в Европу. То есть практически Петру нужны были ворота, и притом широко распахнутые. В отличие от своих предшественников и последователей на русском троне, этот двухметрового роста монарх не страдал традиционным российским недугом — комплексом неполноценности перед Европой. Он не хотел подражать Европе, он хотел, чтобы Россия *была* Европой, точно так же, как он сам был, хотя бы отчасти, европейцем. Многие из его личных друзей и сподвижников, равно как и многие из его основных противников, с которыми он воевал, были европейцы; он провел более года, работая, путешествуя и попросту живя в Европе; он не раз ездил туда и потом. Запад не был для него terra incognita. Человек трезвого ума, хотя и склонный к устрашающим запоям, он рассматривал любую страну, на чью почву ему случалось ступить (не исключая и свою собственную), всего лишь как продолжение пространства. В некотором роде для

него география была реальнее истории, и его любимыми сторонами света были север и запад.

В общем, он был влюблен в пространство, и особенно в морское. Он хотел, чтобы у России был флот, и своими руками этот «царь-плотник», как называли его современники, построил первый корабль (ныне выставленный в Военно-Морском музее), используя навыки, приобретенные в дни работы на голландских и британских верфях. Так что его видение было вполне определенным. Он хотел, чтобы город был гаванью для русских флотилий, крепостью против шведов, столетиями разорявших эти берега, северной твердыней державы. В то же время он представлял себе город как духовный центр новой России: источник разума, наук, просвещения, знания. Реализации этого видения и была подчинена вся его сознательная деятельность; это было не то что отходы военных посягательств в последующие эпохи.

Когда провидцу случается быть еще и императором, он действует безжалостно. Назвать «принуждением» методы, к которым прибегал Петр Первый при осуществлении своего проекта, было бы очень мягко. Он обложил налогом всё и вся, чтобы заставить своих подданных покорять новую землю. При Петре у подданного русской короны был довольно ограниченный выбор: призыв в армию или отправка на строительство Санкт-Петербурга, причем трудно сказать, что было смертельнее. Десятки тысяч погибли безымянно в болотах невской дельты, чьи острова снискали репутацию не лучшую, чем современный Гулаг. С той лишь разницей, что в восемнадцатом веке ты хоть знал, что строишь, и у тебя был шанс получить последнее причастие и деревянный крест на могилу.

Вероятно, не было у Петра другого пути обеспечить выполнение своего проекта. До его правления Россия не знала централизации, кроме как в военное время, и никогда не выступала как единое целое. Повальное подчинение, которого добивался Медный Всадник, породило русский тоталитаризм, чьи плоды на вкус немногим приятней, чем семена. Масса требовала массовых решений, и Петр, ни в силу образования, ни в силу самой по себе русской истории, не был способен к чему-либо иному. С людьми он поступал точно

так же, как с землей под свою будущую столицу. Плотник и навигатор, этот правитель управлялся с одним инструментом, планируя свой город: линейкой. Пространство разворачивалось пред ним предельно плоское, горизонтальное, и у него были все основания относиться к этому пространству как к карте, где прямые линии наиболее выгодные. Ежели что и искривлено в этом городе, то не потому, что так было намечено, а потому, что он был неряшливый чертежник — его палец порой соскальзывал с линейки, и линия под ногтем загибалась. Как и устрашенные подданные.

Этот город действительно стоит на костях своих строителей не меньше, чем на забитых ими сваях. До некоторой степени это верно по отношению к любому другому месту в Старом Свете, но обычно история успеваает позаботиться о неприятных воспоминаниях. Для смягченной мифологии Петербург слишком молод, и всякий раз, когда случается стихийное или заранее обдуманное бедствие, можно заприметить в толпе словно бы изголодавшееся, лишенное возраста лицо с глубоко сидящими, побелевшими глазами и услышать шепот: «Говорят же вам, это место проклято!» Вы вздрогнете, но мгновение спустя, когда вы попытаетесь еще раз взглянуть на говорившего, его уже и след простыл. Тщетно вы будете вглядываться в медленно толочущуюся толпу, в мимоползущий транспорт: вы не увидите ничего — лишь безразличные пешеходы и, сквозь наклонную сетку дождя, величественные очертания прекрасных имперских зданий. Геометрия архитектурных перспектив в этом городе превосходно приспособлена для потери навсегда.

В целом, однако, в местном ощущении Природы, которая когда-нибудь вернется, чтобы востребовать отторгнутую собственность, покинутую однажды под натиском человека, есть своя логика. Она — результат не столько долгой истории опустошавших город наводнений, сколько физически ощутимой близости моря. Хотя дело никогда не идет дальше того, что Нева пытается выпрыгнуть из своей гранитной смирительной рубашки, но самый вид свинцовых балтийских туч, накатывающих на город, заставляет горожан изнемогать от напряжения, которого и так всегда хватает. Иногда, особенно поздней осенью, такая погодка, с порывистым ветром, хлещущим до-

ждем и Невой, переплескивающейся на тротуары, тянется неделями. Если даже ничего и не изменяется на самом деле, просто фактор времени заставляет думать, что дела ухудшаются. В такие дни вспоминаешь, что город не защищен дамбами и что вы вплотную окружены пятой колонной каналов и проток, что практически живешь на острове, на одном из сотни, на одном из тех, что ты видел в кино — или это было во сне? — когда гигантская волна, и прочее, и прочее; и тогда включаешь радио ради очередной сводки. Каковая обычно звучит бодро и оптимистично.

Но главная причина этого ощущения — само море. Как ни странно, при всей морской мощи, ныне накопленной Россией, идея океана все еще чужда большинству населения. И фольклор, и официальная пропаганда трактуют эту тему в туманной, хотя и положительной, романтической манере. Для обывателя море ассоциируется прежде всего с Черным морем, отпуском, югом, курортом, может быть, с пальмами. Чаше всего в песнях и стихах встречаются эпитеты: «широкое», «синее», «прекрасное». Иногда можно обнаружить «роковое», но по-русски это как-то вполне сочетается с остальным. Понятия свободы, открытого простора, желания-бросить-все-к-чертовой-матери — все эти вещи глубоко задавлены и, следовательно, всплывают в вывернутой наизнанку форме водобоязни, боязни утонуть. Уже в одном этом город на Неве есть вызов национальной психике и заслуживает клички «иностранец своего отечества», данной ему Гоголем. Если не иностранец, то, уж моряк, по крайней мере. Петр Первый в некотором роде добился своего: город стал гаванью, и не только физической. Метафизической тоже. Нет другого места в России, где бы воображение отрывалось с такой легкостью от действительности: русская литература возникла с появлением Петербурга.

Хотя, может быть, и верно, что Петр планировал новый Амстердам, но то, что получилось, имеет не больше общего с голландским городом, чем его бывший тезка на берегах Гудзона. Но то, что в последнем росло вверх, в первом растекалось горизонтально, при том же размахе. Ибо уже сама ширина реки требует иных архитектурных масштабов.

В эпохи, следовавшие за петровской, начали стро-

ить не отдельными зданиями, а целыми архитектурными ансамблями, точнее, архитектурными пейзажами. Нетронутая дотоле европейскими архитектурными стилями, Россия открыла шлюзы, и барокко с классицизмом ворвались и заполнили улицы и набережные Санкт-Петербурга. Органоподобные леса колоннад вырастали параллельно дворцовым фасадам, уходя в бесконечность своего многокилометрового эвклидова триумфа. Во второй половине восемнадцатого и в первой четверти девятнадцатого столетий этот город стал подлинной Меккой для лучших итальянских и французских архитекторов, скульпторов и декораторов. В том, что касалось имперского вида, город был скрупулезен до мельчайших деталей. Гранитная облицовка рек и каналов, изысканность каждого завитка их чугунных решеток говорят сами за себя. Так же как и отделка дворцовых зал и загородных резиденций царской семьи и аристократии; прихотливость и изысканность этого декора граничат с непристойностью. И еще — по каким бы образцам ни работали архитекторы, будь то Версаль или Фонтенбло или еще что-нибудь, творение выходило безошибочно российским, ибо скорее переизбыток пространства подсказывал архитекторам, где и какое еще крыло прибавить и в каком стиле его решить, нежели капризные вкусы зачастую невежественных, хотя и несметно богатых клиентов. Когда смотришь на панораму Невы, открывающуюся с Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, или на петергофский Каскад у Финского залива, то возникает странное чувство, что все это не Россия, пытающаяся дотянуться до европейской цивилизации, а увеличенная волшебным фонарем просекция последней на грандиозный экран пространства и воды.

В конечном счете своим быстрым ростом и великолепием город обязан повсеместному там наличию воды. Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и снятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков. Неуди-

вительно, что порой этот город производит впечатление крайнего эгоиста, занятого исключительно собственной внешностью. Безусловно, в таких местах больше обращаешь внимание на фасады, чем на наружность себе подобных. Неистощимое, с ума сводящее умножение всех этих пилястров, колоннад, портиков намекает на природу этого каменного нарциссизма, намекает на возможность того, что, по крайней мере в неодушевленном мире, вода может рассматриваться, как сгущенное Время.

Но, возможно, больше, чем реками и каналами, этот, по слову Достоевского, «самый умышленный город в мире», отражен русской литературой. Вода может свидетельствовать лишь о поверхностях, представлять их, и только их. Изображение внешнего и духовного интерьера города, его влияния на людей и их внутренний мир стало основной темой русской литературы почти со дня основания Петербурга. Фактически русская литература здесь и родилась, на берегах Невы. Если, по поговорке, все русские писатели «вышли из Гоголевской “Шинели”», то не мешает напомнить, что эта шинель была содрана с бедных чиновничьих плеч нигде иначе, как в Петербурге, в начале девятнадцатого столетия. Тон был, однако, задан Пушкиным, в «Медном Всаднике», где герой, мелкий департаментский чиновник, потеряв свою возлюбленную в наводнение, обвиняет конную статую Императора в халатности (дамб-то нет) и сходит с ума, когда видит, что разгневанный Петр спрыгивает на своем коне с пьедестала и устремляется в погоню, чтобы втоптать его, наглеца, в землю. (Это была бы нехитрая история о восстании маленького человека против неограниченной власти и о мании преследования, если бы не великолепные стихи, лучшие из написанных во славу этого города, за исключением стихов Мандельштама, который уже буквально был втоптан в землю Империи через сто лет после того, как Пушкин был убит на дуэли.)

Во всяком случае к началу девятнадцатого века Петербург уже был столицей российской словесности, и совсем не потому, что среди ее героев или ее создателей были придворные. В конце концов, двор столетиями находился в Москве, но ничего не вышло оттуда. Причина столь неожиданного творческого взрыва опять-таки была, главным образом,

географическая. В контексте тогдашней русской жизни возникновение Санкт-Петербурга было равносильно открытию Нового Света: мыслящие люди того времени получили возможность взглянуть на самих себя и на народ как бы со стороны. Иными словами, этот город позволил им объективировать страну. Идея о том, что критика со стороны — наиболее ценная, популярна и поныне. Тогда же, подкрепленная альтернативным — по крайней мере на вид — утопическим характером города, она наполняла впервые берущихся за перо ощущением почти неоспоримой авторитетности высказываемых суждений. Если верно, что писателю нужно отстраниться от собственного опыта, чтобы иметь возможность прокомментировать его, тогда город, с его службой отчуждения, позволял писателю сэкономить на путешествии.

Выходцы из аристократии, дворянства или духовенства, все эти писатели принадлежали, если воспользоваться экономической классификацией, к среднему классу, который почти единственный ответствен за существование литературы где бы то ни было. За двумя-тремя исключениями, все они жили писательством, т. е. достаточно скудно, чтобы без комментариев или изумления понимать требования беднейших так же, как и роскошь тех, кто наверху. Последние привлекали их внимание куда меньше, хотя бы потому, что вероятность присоединиться к ним была гораздо ниже. Соответственно, мы имеем весьма подробную, почти стереоскопическую картину внутреннего реального Санкт-Петербурга, поскольку именно прозябание составляет основу действительности; маленький человек всегда универсален. Более того, чем прекраснее то, что его непосредственно окружает, тем более разительнее его контраст с оным. Не удивительно, что все они — отставные офицеры, бедные вдовы, ограбленные государственные чиновники, голодные журналисты, униженные писари, туберкулезные студенты и так далее — увиденные на фоне безусловно классических, утопических портиков, преследовали воображение писателей и наводняли первые главы русской прозы.

Так часто возникали эти персонажи на бумаге, и так много было людей, населявших бумагу ими, и так безусловно владели эти люди своим материалом, и таков был этот материал — слова, — что очень скоро в городе

стало твориться нечто странное. Процесс распознавания этих неисправимо семантических, насыщенных морализированием образов превратился в процесс самоотожествления с ними. Как это нередко случается с человеком перед зеркалом, город начал впадать в зависимость от своего объемного отражения в литературе. Не то чтобы он недостаточно совершенствовался (хотя, конечно, недостаточно!), но с врожденной нервозностью нарциссиста, город впивался все более и более пристально в зеркало, проносимое русскими писателями — перефразируя Стендаля — сквозь улицы, дворы и убогие квартиры горожан. Порой отражаемый пытался поправить или просто разбить отражение, что сделать было проще простого, поскольку почти все авторы тут же и жили, в городе. К середине девятнадцатого столетия отражаемый и отражение сливаются воедино: русская литература сравнивалась с действительностью до такой степени, что когда теперь думаешь о Санкт-Петербурге, невозможно отличить выдуманное от доподлинно существовавшего. Что довольно-таки странно для места, которому всего лишь двести семьдесят шесть лет. Современный гид покажет вам здание Третьего Отделения, где судили Достоевского, но также и дом, где персонаж из Достоевского — Раскольников — зарубил старуху-процентщицу.

Роль литературы девятнадцатого века в оформлении образа города была тем более решающей, что именно в этом веке петербургское скопление дворцов и посольств разрасталось в бюрократический, политический, деловой, военный и, под конец, индустриальный центр России. Совершенная почти до абсурда архитектура стала утрачивать свой абстрактный характер, ухудшаться с каждым новым зданием. Это определялось и тенденцией к функциональности (то есть попросту — к доходности) и общей эстетической деградацией. За исключением Екатерины Великой, наследники Петра не слишком отличались по части прозрений, не заимствовали они и петровских. Каждый из них пытался подражать своему варианту Европы, и притом весьма тщательно, но Европа девятнадцатого века была не слишком достойна подражания. От царствования к царствованию упадок становился все более очевиден; единственное, что еще спасало новые затеи, была необходимость приспособлять их к величию предшест-

вующего. Конечно, в наши дни даже казарменный стиль николаевской эпохи может согреть смятенное сердце эстета, поскольку он хотя бы хорошо передаст дух времени. Но в целом этот солдафонский, пруссацкий общественный идеал в российском выполнении, вкупе с безобразными доходными домами, втиснувшимися между классическими ансамблями, производит довольно обескураживающее впечатление. Затем настала пора викторианской эклектики в завитушках, и к концу века город, который начинался как прыжок из истории в будущее, уже поглядывал тут и там обыкновенным североевропейским буржуа.

В этом-то и было дело. Если в тридцатые годы прошлого века критик Белинский восклицал: «Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следовательно есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны», — то четверть столетия спустя Достоевский на ту же тему отзывается уже саркастически: «Вот архитектура современной огромной гостиницы, — это уже деловитость американизма, сотни номеров, огромное промышленное предприятие, тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги, и мы вдруг очутились деловыми людьми».

Все же говорить об «американизме» в приложении к капиталистическому периоду петербургской истории было бы, пожалуй, натяжкой, но внешнее сходство с Европой было и в самом деле ошеломительным. И не одни лишь фасады банков и акционерных обществ уподоблялись в своей слоновой солидности берлинским и лондонским партнерам; внутреннее убранство таких заведений как елисеевский магазин (все еще действующий, сохраненный в неприкосновенности, хотя бы потому, что не для чего было бы расширяться по нынешним временам) без труда выдерживает сравнение с парижским Фушоном. Все дело в том, что каждый «изм» проявляется в международном масштабе, отвергающем национальные черты; капитализм в этом отношении не был исключением. Город был на подъеме; мужское население в пропорции два к одному превосходило женское, процветала проституция, переполнялись приюты; вода в гавани кипела от судов, вывозивших русскую пшеницу, так же как она кипит теперь от судов, привозящих пшеницу в Россию. Это был международный город, с большими

колониями — французской, немецкой, голландской и английской, не говоря о дипломатах и коммерсантах. Пушкинское пророчество, вложенное в уста Медного Всадника: «Все флаги в гости будут к нам!» — материализовалось. Если в восемнадцатом веке подражание Западу не шло глубже грима и мод в аристократической среде («Эти русские — обезьяны! — жаловался французский дворянин после бала в Зимнем дворце. — Как быстро они приспособились! Уже перещеголяли наш двор!»), то в девятнадцатом веке, с его нуворишской буржуазией, высшим светом, полусветом и пр., Санкт-Петербург уже стал настолько западным городом, что мог позволить себе даже некоторое презрение к Европе.

Однако это презрение, главным образом проявившееся в литературе, не имело отношения к традиционной русской ксенофобии, часто выражающейся в доказательствах превосходства православной церкви над католической. Скорее то была реакция города на самого себя, столкновение проповедуемых идеалов с меркантильной реальностью, реакция эстета на буржуа. Что же до всей этой истории с противопоставлением православия остальному христианству, оно никогда не заходило слишком далеко, поскольку соборы и церкви проектировались теми же архитекторами, что и дворцы. Так что пока не ступишь под их своды или если не присмотришься к форме креста на куполе, невозможно определить, к какой церкви относится сей дом молитвы; кстати, нет в этом городе и возглавий-луковок. И все же что-то от религиозного чувства было в этом презрении.

Любая критика человеческого существования предполагает осведомленность критикующего о высшей точке отсчета, лучшем порядке. Так сложилась история русской эстетики, что архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга воспринимались и воспринимаются как предельно возможное воплощение такого порядка (включая церкви). Во всяком случае, человек, проживший в этом городе достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинствующий характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме. Такое влияние особенно очевидно в отношении русской или, по месту рождения, петер-

бургской поэзии. Ибо в течение двух с половиной столетий эта школа, от Ломоносова и Державина до Пушкина и его плеяды (Баратынский, Вяземский, Дельвиг), и далее до акмеистов в этом столетии (Ахматова, Мандельштам) существовала под тем же знаком, под которым и была зачата: под знаком классицизма.

Однако меньше пятидесяти лет отделяют пушкинский гимн городу в «Медном Всаднике» от высказывания Достоевского в «Записках из подполья»: «Несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и самом умышленном городе в мире». Стремительность такого перехода объясняется тем, что скорость развития города не была в сущности скоростью: с порога пошло ускорение. Место, чье население в 1700 году равнялось нулю, населялось полутора миллионами в 1900-м. На что где-нибудь еще ушел бы век, здесь втискивалось в десятилетия. Время приобретало мифические свойства, потому что то был миф творения. Процветала промышленность, и вокруг города вырастали фабричные трубы, как кирпичное эхо его колоннад. Императорский русский балет представлял Анну Павлову в хореографии Петипа и за каких-нибудь двадцать лет развил понимание балета как симфонической структуры, понимание, которому суждено было покорить мир. Около трех тысяч кораблей под русскими и иностранными флагами принимал ежегодно петербургский порт, более дюжины политических партий заседали в 1906 году в зале русского предварительного парламента, именовавшегося Думой (Дума, т. е. мысль, — английское созвучие, doom, «обреченность», не звучит ли предзнаменованием). Приставка «Санкт» исчезала постепенно, но вполне оправданно, из названия города, а когда началась Первая мировая война, в связи с антигерманскими настроениями полностью русифицировалось и все название — «Петербург» превратился в «Петроград». Некогда совершенно захватывающая идея города все меньше просвечивала сквозь затягивающую ее паутину экономики, политики, гражданственной демагогии. Иными словами, город Медного Всадника скакал в будущее обычного метрополиса огромными скачками, наступая на пятки своему маленькому человеку и подталкивая его вперед. И в один прекрасный день прибыл на Финляндский вокзал поезд, из

вагона вышел небольшого роста человек и вскарабкался на броневик.

Этот приезд, означивший национальное бедствие, был для города спасением. Поскольку полностью прекратилось строительство, как и вся экономическая жизнь страны. Город застыл как бы в немом изумлении перед надвигающейся эпохой. Тов. Ленин заслуживает своих монументов, хотя бы уже потому, что он избавил город от деградации во вселенскую деревню и от позора быть резиденцией его правительства: в 1918 году он перенес столицу обратно в Москву.

Одно лишь это решение приравнивает Ленина к Петру. Впрочем, сам Ленин вряд ли бы одобрил переименование города в свою честь, хотя бы уж потому, что он прожил в этом городе в общей сложности не более двух лет. Если бы это от него зависело, он бы предпочел, чтобы в его честь переименовали Москву или какой-нибудь другой собственно русский город. Его не особенно интересовало море: он был сухопутный человек, попросту — горожанин. И если он чувствовал себя в Петрограде неуютно, то как раз из-за моря, хотя он опасался не столько наводнения, сколько британского флота.

Пожалуй, только в двух отношениях он был сходен с Петром Первым: в знании Европы и в безжалостности. Но если Петр, с его широтой интересов, кипучей энергией, дилетантски грандиозными замыслами, был запоздалым, или современным, человеком Ренессанса, то Ленин был вполне продуктом своего времени: узколобый революционер с типично мелкобуржуазной, мономаниакальной жадой власти. Каковая сама по себе есть исключительно буржуазная идея.

Итак, Ленин прибыл в Петербург, потому что думал, что здесь-то она и спрятана: власть. Он бы за ней куда угодно поехал, если бы думал, что может найти ее там, в другом месте (а он и в самом деле пытался: в Швейцарии, в Цюрихе). Коротко говоря, он был одним из первых, для кого география стала наукой политической. Но дело в том, что Петербург никогда, даже в самый реакционный период царствования Николая Первого, не был средоточием власти. Каждая монархия основана на феодальном принципе добровольного или недобровольного подчинения единоличному пра-

вителью, поддерживаемому церковью. В конечном счете, любая форма подчинения есть волевой акт, как и заполнение избирательного бюллетеня. Тогда как основной ленинской идеей было манипулировать самой человеческой волей, контролировать умы, что было для Петербурга в новинку. Ибо Петербург был просто опорой имперского управления; сама по себе смесь архитектурного величия с бюрократической традицией делала идею власти просто нелепой. Проживи Ленин в этом городе подольше, его представления о государственности стали бы поскромнее. Но с тридцатилетнего возраста он шестнадцать лет прожил за границей, главным образом в Германии и Швейцарии, вынашивая свои политические теории. Он возвращался в Петербург только раз, в 1905-м, на три месяца, когда пытался организовать сопротивление рабочих царскому правительству, но вскоре был вновь вынужден отбыть за границу, назад, к политиканству в кофейнях, к шахматным партиям, перелистыванию Маркса. Все это не могло сделать его терпимее: неудача редко расширяет перспективы.

В 1917 году, в Швейцарии, услышав от прохожего, что царь отрекся, Ленин с группой сторонников погрузился в запломбированный вагон, предоставленный им германским генштабом в надежде, что они послужат пятой колонной в русском тылу, и отправился в Петербург. Человек, сошедший с поезда на Финляндском в 1917 году, был сорока семи лет отроду, и ему, кажется, предоставлялась последняя возможность отыграться: добиться своего или пойти под суд за предательство. Весь его багаж состоял из мечтаний о мировой социалистической революции, которая, начавшись в России, вызовет цепную реакцию, и им соответственной грезой — стать во главе русского государства, чтобы выполнить первую мечту. За шестнадцатидневное, длинное, тряское путешествие до Финляндского вокзала эти две мечты перемешались в довольно кошмарную концепцию власти: но, карабкаясь на броневик, он еще не знал, что лишь одной из них суждено сбыться.

Ибо это не он прибыл в Петербург, чтобы захватить власть: это власть сама давным давно захватила Ленина и притащила его в Петербург. То, что в учебниках истории называется «Великая Октябрьская Социалистическая революция», на деле было простым переворотом,

бескровным, кстати сказать. По сигналу — холостому залпу кормовой пушки крейсера «Аврора» — рота недавно сформированной Красной гвардии вошла в Зимний дворец и арестовала группу министров Временного правительства, сидевших там, тщетно пытаясь управлять Россией после отречения царя. Красногвардейцы не встретили сопротивления; они изнасиловали половину женского батальона, охранявшего дворец, пограбили по комнатам. При этом двух красногвардейцев пристрелили, а один утонул в винном погребе. Настоящая пальба на Дворцовой площади, когда валились тела и прожекторы скрещивались в небе, имела место гораздо позднее, в постановке Сергея Эйзенштейна.

Вероятно, именно из-за скромных масштабов мероприятия, имевшего место 25 октября, официальная пропаганда окрестила город «*колыбелью Революции*». Колыбелью он и остался, пустой колыбелью, и доволен сим статусом. Город в значительной степени избежал бесчинств. «Избави нас Бог, — сказал Пушкин, — увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»; но Петербург и не увидел. Гражданская война бушевала вокруг и по всей стране, ужасная трещина прошла через нацию, разделив ее на два взаимно враждебных лагеря; но здесь, на берегах Невы, впервые за два столетия царил покой, и трава пробивалась сквозь булыжник опустевших площадей и щели тротуаров. Голод брал свое, а заодно и Чека (КГБ в девичестве), но в остальном город был предоставлен самому себе и своим отражениям.

Пока страна, с возвращенной в Москву столицей, откатывалась к своему утробному, клаустро- и ксенофобному состоянию, Петербург, не имея куда податься, застыл в своем обличии города девятнадцатого века, словно позируя для фотографии. Десятилетия, последовавшие за Гражданской войной, не слишком его изменили: возникли новостройки, но, главным образом, на промышленных окраинах. К тому же, основная жилищная политика состояла в «уплотнении», т. е. подселении бедноты в квартиры людей побогаче. Так, если семья жила в отдельной трехкомнатной квартире, ей предстояло уплотниться в одну комнату, чтобы две другие семьи могли вселиться в две другие комнаты. Так городской интерьер становился все более

достоевскианским, тогда как фасады облупливались и впитывали пыль, этот загар эпох.

Спокойно, расслабленно стоял город, наблюдая смену времен года. В Петербурге может измениться все, кроме его погоды. И его света. Это северный свет, бледный и рассеянный, в нем и память, и глаз приобретают необычайную резкость. В этом свете, а также благодаря прямоте и длине улиц, мысли пешехода путешествуют дальше цели его путешествия, и человек с нормальным зрением может различить на расстоянии в полтора километра номер приближающегося автобуса или возраст следующего за ним шпика. Человек, рожденный в этом городе, нахаживает пешком, по крайней мере смолоду, не меньше, чем хороший бедуин. И это не из-за того, что автомобилей мало и они дороги (зато там прекрасная система общественного транспорта), и не из-за километровых очередей в продажах. А оттого, что идти под этим небом, по набережным коричневого гранита, вдоль огромной серой реки, есть само по себе раздвижение жизни и школа дальнорюкости. В зернистости гранитной набережной близ постоянно текущей, уходящей воды есть нечто такое, что пропитывает подошвы чувственным желанием ходьбы. Пахнувший водорослями встречный ветер с моря исцелил здесь немало сердец, перегруженных ложью, отчаянием и беспомощностью. Если это способствует порабощению, раба можно простить.

Это город, где как-то легче переносится одиночество, чем в других местах, потому что и сам город одинок. Странное утешение черпаешь в сознании, что вот эти камни не имеют ничего общего с настоящим и еще меньше с будущим. Чем глубже погружаются фасады в двадцатый век, тем неприступнее они выглядят, не обращая внимания на эти новые времена и их заботы. Единственное, что заставляет их вспомнить о настоящем, это климат, и наиболее уверенно они себя чувствуют в скверную погоду поздней осени или преждевременной весны, когда дождь мешается с мокрым снегом и мечется шквал. Или в разгар зимы, когда дворцы и особняки высятся над замерзшей рекой, как старые имперские вельможи, — в снеговых шальях и опушке, как в меховых шубах. Когда пурпурный шар заходящего январского солнца окрашивает их высокие венецианские окна жидким золотом, продрогший пешеход на

мосту неожиданно видит то, что имел в виду Петр, воздвигая эти стены: гигантское зеркало одинокой планеты. И, выдыхая пар, он чувствует почти жалость к этим нагим колоннам в дорических прическах, замороженным, погруженным в этот безжалостный холод, в этот снег по колено.

Чем ниже падает ртуть в термометре, тем абстрактнее выглядит город. Минус двадцать пять уже достаточно холодно, но температура продолжает падать, и, словно разделавшись с людьми, рекой и зданиями, она метит в идеи, в абстрактные понятия. С плывущим над крышами белым дымом дома вдоль набережных все больше и больше напоминают остановившийся поезд: направление — вечность. Деревья в садах и парках выглядят как человеческие легкие на школьных пособиях, с черными кавернами вороньих гнезд. И всегда вдали золотая игла адмиралтейского шпиля, как перевернутый луч, пытается анестезировать содержимое облаков. И невозможно сказать, кто выглядит более несоответствующим подобному фону: сегодняшние маленькие люди или их могучие хозяева, проносящиеся в черных лимузинах, набитых охраной. И тем, и другим, мягко говоря, весьма не по себе.

Даже в конце тридцатых годов, когда местная промышленность начала дотягиваться до предреволюционного уровня, население не увеличилось соответственно, колебалось где-то в районе двух миллионов. В действительности процент коренных семей (живущих в Петербурге два и более поколений) постоянно падал: из-за Гражданской войны, эмиграции двадцатых годов, чисток в тридцатые. Затем пришла Вторая Мировая война и девятисотдневная блокада, с ее обстрелами и голодом, унесшая миллион жизней. Блокада — самая трагическая страница в истории города, и, я думаю, именно тогда имя «Ленинград» было наконец принято выжившими жителями как дань памяти мертвых: трудно спорить с могильными надписями. Город неожиданно стал выглядеть состарившимся; словно бы История наконец признала его существование и решила наверстать упущенное здесь своим обычным мрачным способом: нагромождением трупов. Сегодня, тридцать три года спустя, хотя и покрашенные и подштукатуренные, потолки и фасады этого непо-

коренного города все еще, кажется, сохраняют, как пятна, отпечатки последних выдохов, последних взглядов его обитателей. Или, может, просто плохая краска, скверная штукатурка.

Теперь городское население насчитывает около пяти миллионов; и в восемь часов утра переполненные трамваи, троллейбусы, автобусы скрежешут на бесчисленных мостах, развозя свисающие гроздьями людей по заводам и учреждениям. На смену «уплотнению» пришли окраинные новостройки в том всему миру известном стиле, который в народе именуют «баракко». Большой заслугой нынешних отцов города можно считать то, что они оставляют центральную часть города фактически нетронутой. Здесь нет небоскребов, переплетения автострад. У России есть архитектурные резоны быть благодарной железнору занавесу, он помог ей сохранить внешнее своеобразие. В наше время, получив открытку, приходится соображать, откуда она — из Каракаса (Венесуэла) или из Варшавы (Польша).

Не то чтобы отцы города не хотели бы обессмертить себя в стекле и бетоне, но как-то не решаются. Какими бы ничтожными они ни были, но и они тоже поддаются под влияние города и не решаются на большее, чем воздвигнуть там или сям современную гостиницу, где все будет изготовлено руками иностранцев (финнов), за исключением электропроводки; последняя подлелжит только русской смекалке. Как правило, эти гостиницы предназначены только для интуристов, зачастую тех же финнов, благодаря близости их страны к Ленинграду.

Население развлекается в сотне кинотеатров и дюжине драматических, оперных и балетных театров; есть также два больших футбольных стадиона — город содержит две профессиональные футбольные и одну хоккейную команды. В целом спорт основательно поддерживается властями, и известно, что самый страстный болельщик хоккея живет в Кремле. Самая же излюбленная форма времяпрепровождения в Ленинграде, как и повсюду в России, — пол-литра. В смысле потребления алкоголя этот город — окно в Россию, и широко открытое притом. Уже в девять утра чаще увидишь пьяного, чем такси. В винном отделе гастронома всегда можно заметить пару мужчин с праздным, но ищущим выражением на лицах: поджидают «третьего», чтобы разделить стоимость и содержимое бутылки. Первое —

у окошка кассира, второе — в ближайшем парадном. В полутьме подъездов достигает высот искусство разлития полулитра на три равные части без остатка. Странные, неожиданные, но порой на всю жизнь дружбы завязываются здесь, как и самые грязные преступления. И хотя пропаганда борется с алкоголизмом устно и печатно, государство продолжает продавать водку и повышает цены на нее, потому что пол-литра — источник самого большого государственного дохода: ее себестоимость пять копеек, а продажная цена пять рублей. Что означает 500 процентов прибыли.*

Но пьянство не редкость среди приморских жителей повсюду. Самые же характерные черты ленинградцев: плохие зубы (результат недостатка витаминов во время блокады), четкость в произношении шипящих, автоирония и некоторое высокомерие по отношению к остальной стране. Духовно этот город все еще столица, он в таком же отношении находится к Москве, как Флоренция к Риму или Бостон к Нью-Йорку. Как некоторые герои Достоевского, Ленинград превращает в предмет гордости и почти чувственного удовольствия свою «непризнанность», отверженность; и к тому же, вполне понятно, что для тех, чей родной язык — русский, этот город реальнее всех остальных мест в мире, где говорят по-русски.

Ибо есть другой Петербург, создание стихов и русской прозы. Эта проза читается и перечитывается, а стихи заучиваются наизусть, хотя бы потому, что в советских школах детям приходится их зубрить, если они хотят окончить школу. Это заучивание и обеспечивает нынешний статус города и его место в будущем, — пока существует русский язык, — и оно же превращает советских школьников в русских людей.

Школьный год обычно оканчивается в конце мая, когда белые ночи приходят, чтобы пробыть здесь весь июнь. Белая ночь — это ночь, когда солнце заходит едва ли на два часа — явление широко известное в северных широтах. Это самое волшебное время в городе: можно писать и читать без лампы в два часа ночи; гро

* Как в Vogue: на самом деле это, конечно, означает 9,900 процента прибыли. — *Пер.*

мады зданий, лишённые теней, с окаймленными золотом крышами, выглядят хрупким фарфоровым сервизом. Так тихо вокруг, что почти можно услышать, как звякнула ложка, упавшая в Финляндии. Прозрачный розовый оттенок неба так светел, что голубая акварель реки почти не способна отразить его. И мосты разведены, словно бы острова дельты разъединили руки и медленно двинулись по течению к Балтике. В такие ночи трудно уснуть, потому что слишком светло и потому что любому сну далеко до этой яви. Когда человек не отбрасывает тени, как вода.

Авторизованный перевод А. ЛОСЕВА

НЬЮ ЙОРК: ПЕЙЗАЖ ПОЭТА

ИНТЕРВЬЮ СОЛОМОНА ВОЛКОВА

С ИОСИФОМ БРОДСКИМ

Волков. Первый традиционный вопрос...

Бродский. Над чем вы работаете? Над собой.

Волков. Это всегда не мешает. Нет, вопрос будет другой: что чувствует поэт, живущий в чужой стране, но продолжающий писать на родном языке?

Бродский. Ничего особенного не чувствует. Кажется, это был Томас Манн, который сказал, перебравшись жить сюда, в Америку: «Немецкая изящная словесность там, где я нахожусь». Все.

Волков. Но ведь между прозой и поэзией есть некоторая разница.

Бродский. Со стихами, конечно, дело сложнее. Потому что проза — это просто завелся и... В прозе есть тот механический элемент, который, видимо, сильно помогает. Я не знаю, я никогда особенно прозой не занимался. Что касается стихописания — это, конечно, несколько сложнее. Для того чтобы стишок написать, надо все время вариться в идиоматике языка. То есть слушать его все время — в гастрономе, в трамвае, в пивном ларьке, в очереди и так далее. Или совсем его не слушать. Вся история заключается в том, что, живя в Нью Йорке, находишься в половинчатом положении. С одной стороны, телефон звонит и все вроде бы продолжается. А с другой стороны, ничего не продолжается. Такая вот фиктивная ситуация. Было бы лучше вообще не слышать родного языка. Или наоборот — слышать его гораздо

чаще. Чаше невозможно. Да? Если только не создавать себе искусственной среды. Конечно же, встречаешься с людьми из России, говоришь с ними. Но, как правило, это вынужденный выбор, вынужденное употребление языка. Не говоря уже о том, что тут я имею дело с людьми, с которыми дома даже и разговаривать бы не стал. Такое случается очень часто. По сути дела, важно не на каком языке человек говорит, а что он говорит. Но в этом отношении ситуация здесь ничуть не лучше, чем в отечестве.

Волков. Вы как-то обронили замечание, что для поэта важно, выйдя на улицу, увидеть вывески на родном языке. То есть для поэта значение имеет не только звучащая речь, но и зримые образы. Это так?

Бродский. До известной степени. Иероглифика здесь другая. Колористическая гамма — иная абсолютно. Но я не думаю, что на этом надо делать такое уж сильное ударение. Потому что, в принципе, колористическая гамма здесь такова, какой она и должна быть на самом деле. Для нормального человека. Может быть, она такая, какой была в России до семнадцатого года?

Волков. А какое влияние на сочинение стихов оказывает смена пейзажа — скажем, пейзажа петербургского на нью-йоркский?

Бродский. В общем, не производит большого впечатления. Нет, конечно же, производит. Производит. Только влияет не просто смена пейзажа, а всего окружения. Ты родился в этом городе, ты живешь в нем, умрешь. Ты знаешь об этом городе все, до скончания света... Все тебе намозолило глаза. Ты прошел множество стадий: любопытства, привязанности, уважения, пассивного интереса, безразличия, отвращения. Когда живешь всю жизнь в одном городе, тебя начинают, в конце концов, интересоваться облака. Климат, погода, перемены света. Сначала кажется, что та же история должна повториться и здесь, в Нью Йорке. Но Нью Йорк чересчур альтернативен — чисто зрительно, я имею в виду. Это другая, в сущности, система. Тут колоннаду поди найди. Да? И инерцию восприятия, которая дома так помогала, здесь не обрести. Потому что, по сути, дело не в смене колорита или пейзажа, а просто в инерции. В прерван-

ной рутине. И пока вновь обретишь это ощущение, не знаю, сколько времени пройти должно.

Волков. Об этом я и хотел спросить. Вы не ощущаете, что Нью Йорк — именно Нью Йорк, а не Новая Англия — осторожно, постепенно начинает требовать своего места в Ваших стихах? Или он так и остается в этом смысле чужим?

Бродский. Если уж говорить серьезно, петербургский пейзаж классицистичен настолько, что становится как бы адекватным психическому состоянию человека, его психологическим реакциям. То есть, по крайней мере, автору его реакция может казаться адекватной. Это какой-то ритм, вполне осознаваемый. Даже, может быть, естественный биологический ритм. А то, что творится здесь, находится как бы в другом измерении. И освоить это психологически, то есть превратить это в твой собственный внутренний ритм, я думаю, просто невозможно. По крайней мере, невозможно для меня. Да и не интересует меня особенно это. Надо сказать, мне никому не удалось, не только человеку, который приехал, что называется, едва ли не в гости. Но это не удалось и туземному человеку. Единственную попытку каким-то образом переварить Нью Йорк и засунуть его в изящную словесность совершил Харт Крейн в своем «Мосте». Это замечательные стихи. Там столько всего... Но естественным путем Нью Йорк в стихи все же не вписывается. Это не может произойти, да и не должно, вероятно. Вот если Супермен из комиксов начнет писать стихи, то, возможно, ему удастся описать Нью Йорк.

Волков. Разве другие поэты за это не брались.

Бродский. Я помню только еще одну очень серьезную попытку, ее предпринял Федерико Гарсиа Лорка. Но из этого номера тоже, на мой взгляд, ничего не вышло. Кроме одной замечательной метафоры — «серая губка», или что-то в этом роде. Потому что, когда на некотором расстоянии, с некоторым остранением, смотришь на панораму Нью Йорка — действительно, похоже на губку.

Волков. Живя здесь, я вижу, что стихи Лорки о Нью Йорке чересчур уж злобные.

Бродский. Но пьесы у него замечательные. Конечно, лучший испанский поэт — Антонио Мачадо, а не Лорка. К

сожалению, Мачадо в Нью Йорке не побывал. Ужасно обидно.

Волков. И все же, так или иначе, переход на англоязычные рельсы представляется неминуемым? Он уже начался, кажется?

Бродский. Это и так, и не так. Что касается изящной словесности — это определено не так. Что до прозы — это, о, Господи, полный восторг, конечно. И я ужасно рад. Когда пишешь на иностранном языке... Когда приходится писать на иностранном языке, это подстегивает. Может, я переоцениваю свое участие в русской литературе (именно участие), но мне это, в общем, надоело. Прозы, эссе я никогда раньше не писал. И если уж приходится писать прозу, то, по крайней мере, надо себя как-то развлечь. А большего развлечения, чем писать на иностранном языке, я не знаю. И в конце концов, почему «на иностранном»? Я считаю, что два языка — это норма. В России, кстати, так оно всегда и было. В старые, добрые времена. Я, конечно, понимаю, что услышать такое уместно скорее из уст русского дворянина, нежели из уст русского еврея. Но стихи на двух языках писать невозможно, хотя я и пытался это делать.

Волков. В первом номере возобновившего свой выход высоколобого «Кэньон Ревью» был помещен сделанный Вами перевод стихотворения Владимира Набокова — с русского на английский. Возникла интересная историко-лингвистическая ситуация. Что Вы испытывали, переводя набоксовское стихотворение?

Бродский. Ощущения были самые разнообразные. Во-первых, полное отвращение к тому, что я делаю. Потому что стихотворение Набокова — очень низкого качества. Он вообще, по-моему, несостоявшийся поэт. Но именно потому, что Набоков несостоявшийся поэт — он замечательный прозаик. Это всегда так. Как правило, прозаик без активного поэтического опыта склонен к многословию и велеречивости. Итак, отвращение. Когда издатели «Кэньон Ревью» предложили мне перевести стихотворение Набокова, я сказал им: «Вы что, озверели, что ли?» Я был против этой идеи. Но они настаивали — я уж не знаю, исходя из каких соображений (было бы интересно проследить психологические истоки этой настойчивости). Ну, я решил — раз так, сделаю что могу. Это было с моей

стороны такое озорство не озорство... И я думаю, между прочим, что теперь — то есть по-английски — это стихотворение Набокова звучит чуть-чуть лучше, чем по-русски. Чуть-чуть менее банально. И может быть, вообще лучше переводить второстепенных поэтов, второсортную поэзию, как вот стихи Набокова. Потому что чувствуешь, как бы это сказать... большую степень безответственности. Да? Или, по крайней мере, степень ответственности чуть-чуть ниже. С этими господами легче иметь дело. Если бы меня попросили переводить Марину Ивановну Цветаеву, Бориса Леонидовича, то я бы сильно задумался. Хотя, черт его знает. В конце концов, это просто дело досуга. То есть, будь я посвободней внутренне — как и внешне, впрочем, — то этим, может быть, и следовало бы заняться всерьез. Но до этого никогда не дойдет, я надеюсь. Потому что это был бы — полный позор.

Волков. Когда Вы пишете стихи, обращаетесь ли Вы при этом к какой-то подразумеваемой аудитории?

Бродский. Знаете, как Стравинский ответил на подобный же вопрос? По-моему, Роберт Крафт спросил у Стравинского: «Для кого Вы пишете?» Тот ответил: «Для себя и для гипотетического другого лица. Все.

Волков. А это гипотетическое другое лицо в Вашем случае говорит, вероятно, по-русски?

Бродский. Пожалуй... Точнее, я и не задумывался о том, на каком языке оно говорит.

Волков. И где оно в таком случае живет, это гипотетическое лицо?

Бродский. А черт его знает. Это его личное дело.

Волков. Вы помните рассуждения Набокова в связи со сделанным им самим переводом «Лолиты» на русский? Он говорит, что не понимает сам, какой внутренний импульс толкнул его на эту работу. Он, дескать, даже не представляет себе возможного читателя.

Бродский. Я Вам должен сказать, что это именно психология прозаика. Прозаик задумывается о подобных вещах, поэт — никогда. Дело в том, что разница между людьми, занимающимися изящной словесностью, и теми, кто занимается прозой, чрезвычайно велика. Вообще, подразделение литературы на прозу и на поэзию началось именно с возникновением прозы. Ибо только в прозе такое разделение и могло быть выражено. Искусство по природе, по сути

своей иерархично. Сознание литератора тоже иерархично, автоматически: в этой иерархии поэзия стоит выше прозы. Хотя бы потому, что поэзия старше. Поэзия вообще-то очень странная вещь. Она — достояние и троглодита, и сноба. Она может быть произведена и в каменном веке, и в самом новейшем салоне. В то время как для прозы необходимо развитое общество, развитая структура, какие-то устоявшиеся классы, если угодно. Тут уж можно начать рассуждать как марксист и даже ошибиться. Поэт работает с голоса, со звука. Содержание для него не так важно, как это принято думать. Для поэта между фонетикой и семантикой разницы почти нет. Поэтому поэт чрезвычайно редко задумывается — кто же на самом деле составляет его аудиторию. То есть, по крайней мере, он задумывается над этим гораздо реже, чем прозаик. Цветаева высказалась как-то замечательным образом, она сказала: «Чтение — есть соучастие в творчестве». И это замечание именно поэта. Прозаик такого никогда бы не сказал. Толстой этого ни в коем случае не сказал бы. Потому что познание — это в самом деле соучастие. Что есть познание, то есть разгадка преступления? Именно психическое соучастие, соучастие воображения. Поэтому поэт... То есть я не хотел бы начать говорить от имени поэтов... «Я — поэт»... Роберт Фрост говорил: «Сказать, что я поэт — значит, сказать, что я хороший человек». Да? Но могу сказать, что очень редко встречал я людей этой профессии, которые серьезно задумывались бы, для кого они пишут. Это их в основном спрашивают, для кого они пишут. И в зависимости от ответа начинаются большие или меньшие неприятности.

Волков. Как Вы относитесь к такому парадоксальному явлению: многие из тех, кого можно было бы назвать лидерами современной русской культуры, живут вне метрополии, на Западе? Такова ситуация в прозе, поэзии, музыке, балете, философии.

Бродский. Ну, Господи... Я не думаю, что это действительно так. Может быть, на сегодняшний день это так. Мы вообще склонны временную ситуацию принимать за постоянную. Если говорить о творчестве, о создании нового искусства, то я вообще не думаю, что нынче происходит нечто, что могло бы быть так названо. Создание нового русского искусства, литературы — такого вооб-

ще, по-моему, на сегодняшний день нету. Если угодно, нигде нету. Нигде. И в России, и на Западе. Так что хотя бы поэтому трудно говорить о лидерах. Я понимаю, что тут уже возникают подозрения в ложной скромности... Может быть, я пишу стихи лучше, чем другие. Я с этим совершенно согласен. Ибо иначе я этим делом и не занимался бы. Но я не думаю, что это обуславливает какое-либо лидерство. Я бы вот как сказал, если уж на то пошло. Действительно, в настоящий момент на Западе живет огромное количество талантливых русских людей. Дело в том, что русские люди — всегда в той или иной степени *выходцы* из России. Они всегда активно участвовали в культурной жизни Запада. Ну, возьмите, я не знаю кого — Дягилева, Бакста, Стравинского... кого хотите. С литературой это было несколько иначе, но и с литературой было

Волков. Тургенев последние двадцать лет жизни провел главным образом за границей, умер в Буживале.

Бродский. Что Тургенев. А Федор Михайлович Достоевский! А Николай Васильевич, простите, Гоголь!

Волков. «Мертвые души» написаны в Риме, о чем...

Бродский. ...о чем всегда забывают. Да? Все! Господи, почти все! За исключением бедного Александра Сергеевича, которому...

Волков. ...которого не выпустили. Ему не дали визы.

Бродский. Совершенно точно, не дали визы. А так — практически все, кто хотел, могли уехать на Запад, жить или умирать. Баратынский вон умер в Италии.

Волков. Тютчев тоже десятилетиями жил на Западе, сложился там как поэт.

Бродский. И ничего, никто не шумел по этому поводу. А Герцен? Ну, там, правда, политика была замешана. Замечательный, кстати сказать, стилист Герцен. Только врет очень много. У меня есть один знакомый в Лондоне... Ну, знакомый — это не то слово... Сэр Исайя Берлин. У него студент был, который занялся Герценом и раскопал герценовскую переписку — я уж не помню там, с кем. Как раз самый момент приезда Герцена в Англию. И вот он пишет в Россию — туманы, то, се, пятое-десятое. И в каждом письме: туманы, туманы, туманы. Так этот англичанин решил проверить лондонские газеты. И — абсолютно никаких туманов! Федор Михайлович До-

стоевский тоже был, между прочим, совершенно чудовишный лжец, царство ему небесное. Я помню, как, гуляя по Флоренции, набрел на дом, где он жил. Он оттуда посылал отчаянные письма домой — что вот, дескать, денег нет. А дом этот был напротив Палаццо Питти. То есть через Понте Веккио, напротив Палаццо Питти. Простенько.

Волков. Яновский, друг Достоевского, подтверждает, что как раз в те дни, когда Достоевский жаловался на страшную нужду и безденежье, он останавливался в лучших гостиницах, ел в лучших ресторанах и разъезжал на лучших извозчиках.

Бродский. Вообще-то автору так и следует вести себя. Тут я автора несколько не обвиняю. Тут он всегда прав. И он даже не лжец. В тех условиях, в какие автор поставлен обществом, он может себе это позволить. Непонятно еще, почему он не крадет, не убивает. Я, например, считаю, что эта идея Раскольниковова насчет старухи-процентщицы — абсолютно авторская идея.

Волков. Достоевский написал «Идиота» за границей, большая часть «Бесов» написана там же. В оценке этих романов данный факт не имел решающего значения. А с определенного времени это начинает иметь решающее значение — где сочинение создано.

Бродский. Мы знаем, с какого времени. С семнадцатого года. В отношении Достоевского тут есть еще одна любопытная деталь. Во многих его романах главные события — это, в конце концов, развязки того, что произошло за границей. Началось, завязалось за границей. Князь Мышкин сходит с ума и лечится...

Волков. Все действие «Игрока»...

Бродский. Ну, о чем речь! Верховенские набираются за границей этих диких идей, приезжают... А Иван Карамазов! В Россию все они возвращаются кончать. Вот Бахтин употребляет термин «карнавализм». Совершенно неправильный термин, я считаю. Скандализм! Это скандал, а не карнавал. Оно гораздо интереснее. Причем в ранних своих сочинениях Достоевский еще не умел скандалов описывать. Скажем, собрались у него люди в гостиной, начинается переброска репликами, перебранка. А дальше Федор Михайлович пишет — «и пошло, и пошло, и пошло».

Он еще не понимает, как это сделать. А позже он этому научился.

Волков. Возвратимся к сегодняшнему дню. Возникают ли, по-Вашему, какие-то особые, более тесные взаимоотношения внутри русской колонии за границей? Скажем, здесь, в Нью Йорке, ощущаете ли Вы, что взаимная потребность в общении увеличивается? Становится ли колония языковая также и артистической колонией?

Бродский. Я затрудняюсь на эти вопросы ответить каким бы то ни было образом. Я поддерживаю здесь те же самые отношения с теми же (более или менее) людьми, с которыми я поддерживал отношения в России. В общем, каких-то качественно новых приобретений — в смысле дружбы — среди соотечественников места не имеет. Единственный человек, с которым мы были мало знакомы в России — это Миша Барышников. Здесь мы с ним видимся довольно часто — просто потому, что он совершенно потрясающий человек. Человек потрясающего ума... Человек, который — помимо всего прочего! — знает стихов на память гораздо больше, чем я... Вообще, теоретически, вся эта идея — артистической колонии — абсолютно фиктивная. Эта идея выросла из традиции девятнадцатого века. В Америке такое просто немыслимо, противоестественно. То есть идет против естества страны. Потому что идея богемы, идея колонии возникает только в централизованном государстве. Она возникает как зеркальное отражение этой централизации: чтобы сомкнуться, чтобы противостоять. Поэтому идея богемы, по-моему, может выжить только в Москве. Поскольку более централизованного государственного аппарата, чем там, просто не существует. То есть Москва — это имперская столица, действительно. Ведь в чем идея артистической колонии? В противостоянии поэта и тирана. А это возможно только тогда, когда, скажем, вечером в опере они встречаются. Тиран сидит в ложе, поэт — в партере. Он представляет себя карбонарием, в воображении своем он вытаскивает револьвер. А вообще-то, он бормочет нечто сквозь зубы и бросает гневный взгляд. Вот и вся идея богемы. Существует другая идея. Идея объединения людей эстетического — в принципе, конечно же, этического — знания. Как ирландские монахи, которые пытались сохранить знание, культуру, литературу, язык. То, что происходит

сегодня — и в России, и здесь, — с этим на самом-то деле не имеет ничего общего. Хотя все мы помним, что Россия — страна с огромными ресурсами, с невероятными человеческими возможностями. И какой бы отток культуры, интеллигенции из нее ни происходил, она рано или поздно из своих недр что-нибудь эдакое выдаст и всех удивит. Это, если угодно, количественный эффект. Это просто огромная страна, огромная культура. А в том, что касается литературы, — один из самых грандиозных языков. И поэтому совершенно неизбежно, что в недрах этого языка будут возникать явления, которые всех нас будут сводить с ума. Независимо от того, где будет находиться человек, говорящий или пишущий на этом языке.



1 — Иосиф Бродский.

Фото Леонида Лубяницкого

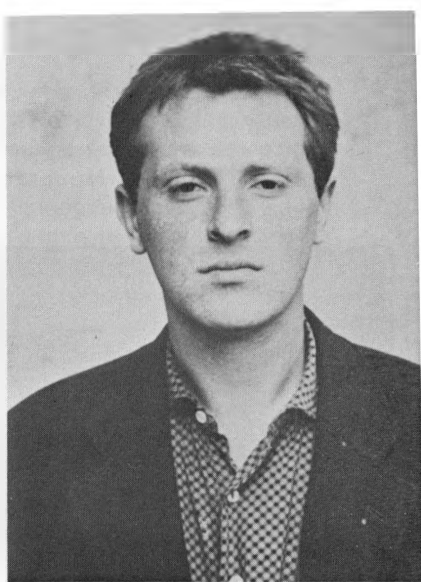
2 — 18-летний Бродский

3 — Бродский в 22 года

4 — На аэродроме в Якутске
(1959 год): «Аэродром,
на котором мне уже
не приземлиться...»

5 — Под Норильском, 1964 г.

2—5 — Снимки из лично-
го архива Людмилы
Штерн



6—10— Поэт в Нью Йорке.

Фото Марианны
Волковой

© Copyright by Marianna Volkov

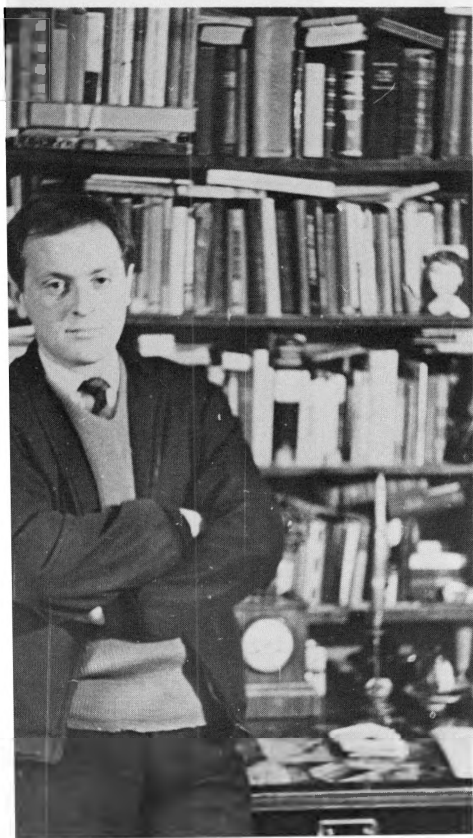
11 — Слева направо: Алек-
сандр Галич, Галина Ви-
шневская, Михаил Бар-
рышников, Мстислав
Ростропович, Иосиф
Бродский.

Фото Леонида Лубяниц-
кого

12 — Бродский и Барышников

Фото Нины Аловерт

13 — Шарж Михаила Бело-
mlinского







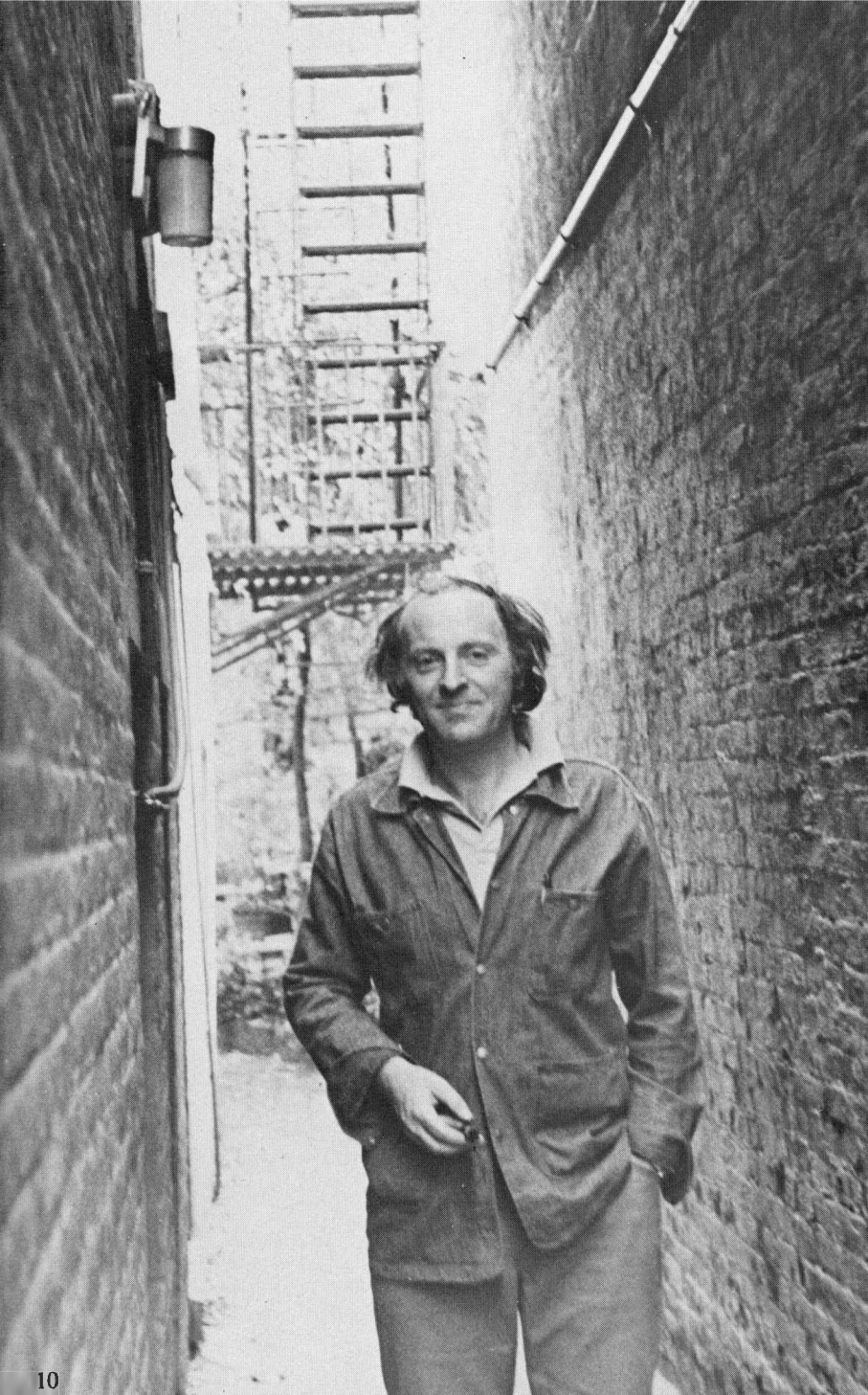




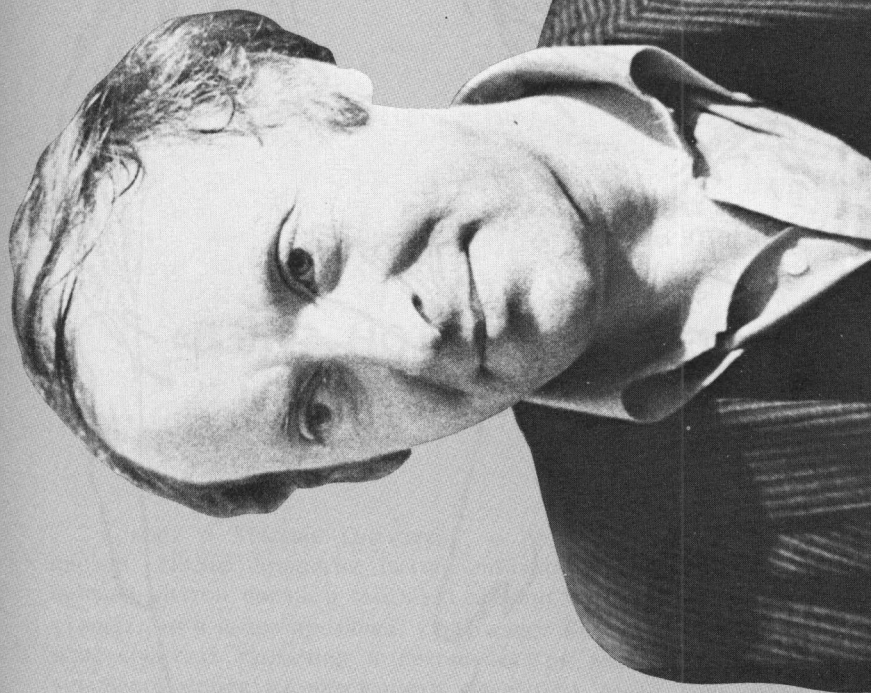


PIER CLOSED
AT
SUNDOWN











u b r a d s

«ВЗЯТЬ НОТОЙ ВЫШЕ, ИДЕЕЙ ВЫШЕ...»

Говоря о Марине Цветаевой, о продолжении поэзии прозой, Иосиф Бродский сказал немало о себе, о перенесении низкой прозы в высокую поэзию.* Поэт не только старше, но и выше прозаика, утверждает Бродский, потому что, носитель гармонии и лаконизма, он может обучить младшего собрата зависимости удельного веса слова от контекста, сфокусированности мышления и, главное, опусканию само собой разумеющегося. Поэзия — высшая форма существования языка, приобретающего особую густоту письма, образную плотность и синтаксическую динамику. Язык поэзии устремлен вверх, «в те сферы, откуда он взялся», «к тому началу, в котором было Слово». И далее — теоретическая посылка Бродского, объясняющая пристрастие к строфике: «Кажущиеся наиболее искусственными формы организации поэтической речи — терцины, секстины, децимы и т. п. — на самом деле всего лишь естественная многократная, со всеми подробностями, разработка воследовавшего за начальным Словом эха». Логос, который, как зерно, содержит в себе мудрость и гармонию мира, осуществляется и развертывается в зримых формах гармонической композиции, каковыми являются классические строфы, эти единицы композиционного ритма, кристаллы поэтической речи. Последнее в особенности важно, ибо

* Иосиф Бродский. Поэт и проза. Предисловие к кн.: Марина Цветаева. Избранная проза в двух томах. Russica, New York, 1979.

с точки зрения И. Бродского, в поэзии осуществляется «не линейное (аналитическое) развитие, а кристаллообразный (синтетический) рост мысли». Линейное значит прежде всего сюжетно-логическое, характерное для прозы. Кристаллообразный рост не подчинен поступательному движению силлогизма, он осуществляется мгновенными смыканиями далеких идей, совмещением предметов и звуков в метафоре, преодолением пространственных и временных препятствий ослепительной вспышкой, сближающей противоположности.

С этими исходными положениями эстетики Бродского связана мысль о постоянном движении поэтического искусства вперед и вверх, потому что «служение Муз не терпит повторений», и язык заставляет поэта непременно «сделать следующий шаг — по крайней мере стилистически». Уже найденное и осуществленное оказывается остановкой, омертвлением и, значит, клише. Поэтическая речь движется преодолением таких клише и завоеванием новых областей языка, дотоле недоступных. Настоящий поэт — Цветаева — отличается постоянным стремлением «взять нотой выше, идеей выше», безостановочно подниматься по ступеням семантико-фонетическим, ибо новый смысл тотчас порождает новый звук.

Путь поэта — путь к растущему одиночеству: публика движению предпочитает остановку, обновлению — привычку, а словесным открытиям — клише. Горечью звучат слова Бродского: «Чем чаще поэт делает этот следующий шаг, тем в более изолированном положении он оказывается». О Цветаевой он говорит, что «проза для нее есть заведомое расширение сферы изоляции, т. е. — возможностей языка». Изоляции (добавлю от себя) еще более полной, когда эти *следующие шаги* делаются в среде иноязычной, там, где вокруг — язык иностранный, не взаимодействующий с языком поэта. Отсутствие языкового взаимодействия — остановка, неподвижность, медленное умирание речи.

Все же публика стала, кажется, более чуткой. За десятилетия она преобразовалась. Прежде, век назад, ей был свойственен консерватизм безусловный и неодолимый. Все помнят, как она, эта публика, не слышала символистов, хохотала над Хлебниковым, презирала молодого Маяковского и Блока, автора «Двенадцати», позднее топтала Пастернака, издевалась над Ахматовой, и, как все непо-

нятное, ненавидела Мандельштама. Казавшееся темным — просветлело, недавний бред оказался здоровой речью. Может быть, это движение к просветлению нагляднее в живописи: давно ли Ван Гог считали просто сумасшедшим, Матисса — шарлатаном, а Пикассо — фигляром? Наученные парадоксами истории, интеллигентные обыватели стали осторожнее в оценках и, во всяком случае, менее категоричными в осуждениях. Впрочем, это изменение скорее связано с боязнью ошибиться и проглядеть будущую знаменитость, нежели с усвершенствованием художественного вкуса. Иосиф Бродский знает лучше многих: с цинической непосредственностью высказывались о его стихах присяжные заседатели и уполномоченные на то эксперты из прорабов.

Так что движение поэта, открывающего и решающего все новые задачи, которые ставит перед ним язык, ведет к растущему одиночеству. Поделаться с этим нельзя ничего — не останавливаться же? Мы знаем и таких, кто остановился. И таких, кто со своей одинокой вершины спустился на многолюдную ярмарку клишированных банальностей и сверкающих бестселлеров:

И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок.

Иосиф Бродский идет своим путем, не оглядываясь на поневоле косных читателей и, тем более, обожателей. Последним приходится совсем худо: недавно они под гитару пели «Пилигримов» — что же теперь им делать с «Колыбельной Трескового мыса»? Чем больше они любили автора «Шествия», тем злее будут отрицать сонеты к Марии Стюарт или то, что они уже с негодованием называют «рифмованным путеводителем». Не их ли имел в виду Пушкин, когда призывал поэта: «Ты царь! Живи один...» Бродский с убийственным знанием неразрешимости (на обозримый срок) говорит об отчаянии «поэта, сильно уставшего от все возрастающего — с каждой последующей строкой — разрыва с аудиторией». Устранить этот разрыв обращением к прозе нельзя. Ни Цветаева его не устранила, ни Мандельштам. Он и сам по себе признак подлинности.

В статье о Цветаевой Иосиф Бродский неизменно

возвращается к вопросам, жизненно важным для него, для собственной поэзии — впрочем, они в самом деле объединяют обоих. К ним относится и то, что названо в статье «одержимостью интонацией, которая ей (и ему) куда важнее и стихотворения и рассказа». И соотношение в поэте инструмента и человека — о нем Бродский говорит с мудрой пронизательностью: «Сколь бы драматичен ни был непосредственный опыт человека, он всегда перекрывается опытом инструмента. Поэт же есть комбинация инструмента с человеком в одном лице, с постепенным преобладанием первого над вторым. Ощущение этого преобладания ответственно за тембр, осознание его — за судьбу». Это сказано про Цветаеву, и уж во всяком случае, про Бродского.

К перечисляемым вопросам, общим для автора и героини, относятся и те «многие вещи, которые определяют сознание помимо бытия»; это, говорит Бродский, и «перспектива небытия», и язык. К ним же, к этим вопросам, надо причислить соотношение языка поэзии с языком науки или, говоря отчетливее, поэтической образности с научной абстракцией; разве не центральной проблемой поэтики Бродского оказывается то, что он формулирует (для Цветаевой) так: «... Литературный язык приучается дышать разреженным воздухом абстрактных понятий, тогда как последние обрастают плотью фонетики и нравственности». У Бродского это сказано в связи со статьей Цветаевой «Поэт и Время», а я, читая эти строки, думаю о таких его стихах:

...Разлука
есть сумма наших трех углов,
а вызванная сию мука

есть форма тяготенья их
друг к другу; и она намного
сильней подобных форм других.
Уж точно, что сильней земного...

(Пенье без музыки. 1970)

* * *

Статья Иосифа Бродского — замечательная по искренности и глубине «теоретическая исповедь» поэта и, в то же время блестящая критическая работа об искусстве

Цветаевой. Это предварительный итог размышлений поэта, чья личность и биография представляют известное сходство с героиней его статьи: многолетнее изгнание в иноязычной сфере и стремительно-безостановочное движение вперед, обгоняющее читателя и отрывающееся от него. Все же Иосиф Бродский еще свободнее, чем даже стихийная Цветаева: многие иллюзии, которые ею владели, теперь невозможны. Для него не прошел даром опыт военной и послевоенной эпох, составляющих как раз то сорокалетие, которое отделяет нас от смерти Марины Цветаевой и от рождения Иосифа Бродского.

ОСТАНОВИВШИЙСЯ В ПУСТЫНЕ

Иосифа Бродского, моралиста и сатирика, волнует проблема ложных ценностей, исповедуемых сыновьями века, отринувшего прошлое вместе с его духовным наследием. В его поэзии постоянно ощущается потребность общения с поэтами, далекими от русской поэтической традиции, — Норвидом, Элиотом, Оденом, Кавафи, Горацием и, прежде всего, с Джоном Донном. Именно эти имена приходят на память при чтении его поэтического сборника «Остановка в пустыне». По сути, он первым из известных мне русских поэтов ввел в свою творческую мастерскую родственных ему английских поэтов-метафизиков, у которых учился и под влиянием которых мужало его мастерство. Но вместе с тем у его поэзии глубокие русские корни — сильное и непреходящее влияние на философию, стиль, лирику Бродского оказали Кантемир, Державин, Баратынский, Ахматова и Цветаева. Иногда Бродского считают преемником выдающегося поколения русских поэтов-постсимволистов, достигших своего наивысшего расцвета в канун Первой мировой войны. Однако, хотя проведение такой генеалогической линии в известной степени и оправдано, не стоит впадать в преувеличение. В отличие от поэтов старшего поколения, созревших в то время, когда в России процветала высокая поэтическая культура, Бродский, родившийся в 1940 году, рос в тот период, когда русская поэзия находилась в состоянии хронического упадка, и вследствие этого был вынужден прокладывать свой собственный путь. Его становление как поэта представляет исключительный интерес. Бродский начал писать стихи, бросив школу, самые ранние его произведения рас-

пространялись в Советском Союзе в списках в конце 50-х годов. Разрыв с обществом сохранился у него и в дальнейшем, но с годами его отчужденность приобрела значительно более широкий характер. Критический настрой в его произведениях — это критический настрой постороннего, но объект его критики не политическая или социальная система, а человеческое бытие. Его полемический пыл направлен на то, чтобы помочь сберечь «душу живу» — потребность в восстановлении духовных ориентиров в двадцатом веке явно свидетельствует о несовершенстве официальных доктрин.

Прежде всего я хотел бы обратить внимание на два основных поэтических образа, проходящих через все творчество Бродского. Первый — образ родины. Бродский намеренно употребляет это слово без эпитетов, и тем самым сохраняет за ним потенциальную смысловую весомость в самом широком значении. В русском словоупотреблении слово «родина» несет традиционно положительный смысл и может обозначать страну, край или город, где человек родился. Бесконечное повторение этого слова в пропагандистских лозунгах превратило его в своего рода фетиш. Для Бродского «родина» никогда не является предметом насмешек или отступничества, но он, не задумываясь, пускает в ход сарказм, чтобы разрушить окружающий это слово фальшивый казенный ореол. В какой-то мере такой же подход был и у Ахматовой, которая писала в своем стихотворении «Родная земля» (1961):

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

Помимо конкретного значения слово «родина» у Бродского несет и религиозный смысл. В духовном смысле «родина» это то место, где развеиваются последние иллюзии и спадают последние личины; где человек или народ остается наг перед Словом Божиим. Раскрывая тему «родины», Бродский широко использует образ христианского Рождества — у этих слов общий даже этимологический корень. Конечно же, описание этого христианского праздника, справляемого в Москве, как например, в стихотворении «Рождественский романс», открывающем сборник «Остановка в пустыне», — празднование Рождества в атеистическом государстве — пронизано грустной иронией. Совсем иным предстает Рождество в стихотворении «Anno Do-

mini» — подобно родине, оно наделено тревожной силой: в Рождество человек остается наг пред Словом Божиим в ожидании неотвратимого приговора. Христианину подобная трактовка темы Рождества, возможно, покажется странной, но в стихах Бродского она вполне логична и олицетворяет возвращение к первоистокам. Лишь у первоисточков можно в полной мере оценить отступничество и предательство. Темы родины и Рождества у Бродского постоянно сопряжены с болью, но нужно понимать, что боль эта имеет целительное свойство, в творчестве поэта она наиболее сильно утверждает реальность божественного или сакрального жизнеустройства. Родина — пространственный, а Рождество — временной план того главного действия, в котором человек наиболее откровенно предстает перед Богом или ощущает свою удаленность от Него.

Вторым ведущим лейтмотивом поэзии Бродского, о котором следует помнить, знакомясь с его творчеством, является «разлука», расставание, уход — расставание влюбленных, но также и уход в более широком смысле — от людей, от самого себя, от Бога. Разлука предвещает окончательный уход, т. е. смерть. И подобно тому, как теме родины у Бродского сопутствует христианский лейтмотив Рождества, так теме разлуки сопутствует Распятие. Этот лейтмотив тоже постоянно несет в себе боль, но то боль безмерной утраты; если в ней и можно черпать утешение, то не более, чем в парадоксальной максиме, гласящей, что расставание навек — это по-своему и вера в вечность. Столь же важное и сложное место занимают темы родины и разлуки в поэзии Баратынского и Ахматовой — именно они больше всего и роднят Бродского с ними обоими.

В своем творчестве Бродский продолжает традиции лирической поэзии, которые, начиная с 18-го века, были связаны с его родным городом Ленинградом (ранее Петербургом), однако отношение к этой традиции у него сложилось необычное, и по мере расцвета его таланта, оно все более усложнялось. В 1958 году, когда 18-летний поэт только начинал свой путь, он стилистически был абсолютно вне этой традиции. Его ранние стихи представляли собой короткие притчи или аллегории, как например, «Художник», в котором автор провозглашал необходи-

мость для творческой личности следовать собственным путем и свою веру в себя:

Он верил в свой череп.
Верил.

Или, как в «Гладиаторах», проповедовал непоколебимый стоицизм перед лицом бессмысленной судьбы:

Мы не победили.
Мы умрем на арене.
Тем лучше.
Не облысеем
от женщин, от перепоя.

Можно поставить в заслугу Бродскому то, что он не пытался скрывать свой юношеский пессимизм, выразившийся в мотивах мученичества, которыми отмечены многие его ранние стихи. По своей форме они гораздо более расплывчаты, чем его позднейшие произведения — основным элементом в них является строка, но ни ее длина, ни ритм еще не закреплены. В числе стихотворений этого периода несколько самых ударных «подпольных» произведений Бродского — «Памятник», «Пилигримы», «Книга» и «Глаголы». В блестящих коротких «Стихах под эпитафией», написанных в манере Цветаевой, поэт дает мотиву мученичества положительное истолкование, утверждая как главную ценность жизни религиозные идеи страдания и бессмертия. К этому же раннему периоду творчества поэта относится и широко известное стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда», в котором противопоставления ценностей духовных и материальных мягко чередуются в подтексте и которое выделяется своей почти что литургической торжественностью и простотой формы. Тем не менее, при более пристальном анализе верлибра в этом стихотворении нетрудно различить анапест:

Может, видели большс.
Может, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.
И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю как зерна.

Здесь уже угадываются наметки ритмики будущих произведений поэта.

Около 1960 года Бродский начал пользоваться традиционными стихотворными размерами, особенно ямбом и анапестом. Самые ранние стихи, написанные ямбом, в «Стихотворениях и поэмах», представляют собой четверостишия с сохранением интонационных пауз в конце строки и границ строфы. Предложения укладываются в одну строчку, двустипхи или четверостишие, практически без переноса. Но уже в 1961 году Бродский начал смещать интонационное членение, вводя его в строку:

Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя, одна твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Продолжая экспериментировать на протяжении последующих десяти лет, Бродский стал писать пятистопным ямбом, в котором каждое предложение вмещается в одну строку, что придало его стихам резко индивидуальные черты. Поэта всегда интересовала строка как единица поэзии, и в своих поисках он старался, с одной стороны, выделить строку, а с другой, как бы стереть ее. Первой тенденцией отмечено стихотворение «Был черный небосвод» (1961) с его четко «разлинованными» строками, интересное экспериментальное произведение «Холмы» и другие стихи этого периода, в которых явственно проступает символика смерти. Примечательно, что каждая строка в первом из них заключает в себе законченное предложение (в центре стихотворения образ черного коня):

Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди.
Как место между ребрами в груди.
Как ямка под землю, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.

Из этих же экспериментов родились и более крупные по своим размерам поэтические произведения — «Исаак и

Авраам» и «Большая элегия Джону Донну» (оба написаны в 1963 г.). Удивительной особенностью строки в этих произведениях является то, что в ней Бродский достигает почти максимально возможной уплотненности ударных слогов:

Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим, как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них — единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.

Сохранить такую насыщенность строки на всем протяжении элегии необычайно трудно, поскольку это требует использования однослоговых и двуслоговых слов. Тем не менее, Бродский успешно справляется с этой задачей, и под его пером этот прием превращается в мощный ритмический инструмент, создающий ямбический музыкальный стих при максимально полновесной строке.

На другом полюсе экспериментальных поисков Бродского находятся его опыты с переносом интонационного членения, ведущие к очень частой разбивке фразы, и появление в его стихах фраз большой протяженности со сложным синтаксисом, переходящих в другую строчку и даже в другую строфу. В умеренной форме этот стиховой размер близок ритмическому стиху «Маленьких трагедий» Пушкина. Характерный пример — стихотворения из «Школьной антологии», в которой поэт дает портреты своих бывших однокашников:

Я много лет его не вижу. Сам
сидел в тюрьме, но там его не встретил.
Теперь я на свободе. Но и тут
нигде его не вижу.

По лесам
он где-то бродит и вдыхает ветер.
Ни кухня, ни тюрьма, ни институт
не приняли его. И он — исчез.

В самых экстремальных случаях в стихах Бродского появляются смысловые членения, которых не встретишь у Пушкина и которые вообще редки в русской поэзии, как напри-

мер, в 9-й от начала строке «Anno Domini» (1968):

Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В проулках — толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.

Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене
он позволяет изменять.

Это совсем не похоже на ранние стихи Бродского, написанные ямбом, с их интонационными паузами в конце строки. Не похоже это и на его ранний «скупой» верлибр, который был построен на одновременном чередовании одного-двух слов или фраз, скрепленных лишь простейшей синтаксической связью.

Начиная с 1960 года, Бродский пробовал экспериментировать и с анапестом, варьируя интонационное членение и длину строки. Ярким примером этой его работы может служить «Фонтан» (1967), состоящий из строк, вмещающих в себя от пяти стоп до доли стопы. (Каждая строка размещается строго по центру страницы, и вся конфигурация стихотворения напоминает стихотворные построения Джорджа Херберта и Дилана Томаса.) Но далее мы вновь теряем ритмические ориентиры, поскольку в некоторых строчках отсутствует слабоударный или безударный слог вплоть до конечного ударения в строке:

Из пасти льва
струя не журчит и не слышно рыка.
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика,
никаких голосов. Неподвижна листва.
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,
и нова.
Пересохла уста,
и гортань проржавела: металл не вечен.

В традиционном классическом стихе подобное отсутствие безударных слогов было бы немислимым. Ближе всего это напоминает силлабическое стихосложение XVIII в., в нашем теперешнем понимании, ибо в этих стихах как бы отдается подчеркнутая тяжеловесность поэзии Кантемира дореформенной поры. Этот слог вместе с языком стихотворения придает ему некоторую «барочность», в полном соответствии с «метафизичностью», допускающей игру идей при одновременном акцентировании их значимости.

Объяснение, возможно, кроется в том, что с помощью этих новшеств Бродский пытался выработать поэтический стиль, независимый от пушкинского, или, по крайней мере, поэтику, в своих основных чертах отличную от пушкинской. Начиная с 1962 года, он искал вдохновения *вне* традиции отечественной лирики девятнадцатого и двадцатого веков. Бродский обратился к творчеству польских поэтов Норвида и Галчинского; Донна, Джонсона и поэтов их школы в Англии семнадцатого века; а также к произведениям Элиота, Одена, Фроста, Вилбура и других англоязычных поэтов двадцатого века. Будучи лирическим поэтом и сатириком, Бродский особое внимание обратил на использование ими приемов сарказма. Он кое-что перенял у них по части пользования различными речевыми стилями и введения в стих разнообразных персонажей с целью смены перспективы и ситуации, этих осей координат поэта-лирика. У Норвида (см. «Садовник в ватнике») Бродский научился исподволь подбираться к теме, резвясь и давая волю своему остроумию, и одновременно приступать к самому серьезному повороту темы. Этот переломный момент наметился в его творчестве в 1964 году.

В стихах Донна Бродский открыл для себя поэзию *посюстороннего* мира, населенную одновременно ангелами и призрачными видениями, поэзию, заключенную в форму насыщенного метафорами драматического высокоинтеллектуального монолога, в котором низменное свободно уживается с возвышенным. Все это органически вошло в поэтический стиль самого Бродского. Влияние Донна на его поэзию можно проследить в отдельных деталях — когда, например, он заимствует образ или какое-нибудь замысловатое сравнение или когда он пишет «под Донна». Так, «Отказом от скорбного перечня» (1967) и «Строфы» (1968) представляют собой прощальные стихи, написанные в ма-

нере Донна, но тему разлуки Бродский трактует в них по-своему. Не менее существенно общее влияние Донна на стремление Бродского к логическому упорядочению поэтической мысли с помощью метафор, и в синтаксисе, особенно явно позаимствованное у Донна умение мастерски развивать свои доводы в обход контраргументов с помощью подчиненных союзов и других вспомогательных слов, образующих как бы цепочку беспрестанно меняющихся логических связей — *ибо, раз, то есть, впрочем, хоть, посему, коль* и др.

Тематика — вернее сказать, тесно сплетенный клубок тем — в поэзии Бродского определилась очень рано. Последующая эволюция его стиля знаменовала расширение арсенала средств, с помощью которых он мог передать их более многогранно, расширив тем самым и их имплицитность. Важной вехой на этом пути было знакомство Бродского с поэзией Т. С. Элиота, в «неусмирённом и паломническом духе» которого он, вероятно, воспринял нечто родственное. Одной из весьма любопытных тем его поэзии является «имперская» тема, тема государства как империи. За последней трактовкой Бродским этой темы встают персонажи «Путешествия волхвов» и «Геронтиона» Элиота. В «Anno Domini» (1968) повествование ведется от лица поэта-изгнанника, скажем, Кавафи, мысленно перенесшегося во времена покорения Римом империи Александра Великого. Действие происходит в одной из провинций империи (отметим, что эти стихи были написаны Бродским в Литве). Поэт-скиталец вдали от Метрополиса, центра империи, размышляет о чиновниках, послушных императорской воле; людях, которые уже давно привыкли поступаться правдой и былой преданностью нравственным идеалам. Они унаследовали духовную опустошенность, их существование утратило смысл и они в страхе влчат свои жалкие дни на задворках империи. Тема этого стихотворения — и нравственная, и политическая: образ разладившегося социального порядка пронизывает атмосфера святотатства. Бродскому порой удается передать чувство отвращения слогом, достойным Свифта. Язык отдельных пассажей напоминает подведение итогов в «Геронтионе» с его мягкой и вместе с тем убийственной иронией:

— отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре —

нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатие — сплетней.

О том, насколько сложны эти тематические узлы, можно судить по стихотворению «К Ликомеру, на Скирос» (1967), эпиграфом к которому вполне можно было бы поставить двустишие Элиота: *Virtues/Are forced upon by our impudent crimes.** Поэт говорит в нем от первого лица, сравнивая себя с Тезеем; главная мысль стихотворения — осознание того, что возвеличивание героизма в конечном итоге оборачивается ложью. С ней перекликается тема возвращения к истокам, на родину, где невозможно будет скрыть правду об унижении. Как и в «Anno Domini», в этом стихотворении упоминается меч, но на этот раз поэт вызывает ассоциации не с мечом правосудия Апокалипсиса, но с «двуострым» мечом Слова Божия из библейского Послания к евреям (4:12). И образ поэта-чужака из раннего стихотворения Бродского «От окраины к центру» здесь воплощается в библейском образе странника из книги Бытия (21:34): «И жил Авраам в земле Филистинской, как странник, дни многие».

Поиски альтернативы пушкинской поэзии в рамках русской поэтической традиции заставили Бродского обратиться к поэзии XVIII века. Его влекли и отдельные поэты той эпохи, как например, Державин и Кантемир, и сам дух века, с его верой в абсолютные ценности и глубоким скептицизмом по отношению к человеку и миру. Бродскому явно по душе отстраненность, а порой и невнятица языка той эпохи, неуклюжая тяжеловесность в выражении вещей малозначительных и легкость в обращении с серьезными материями. Всеми этими приемами Бродский обогатил свой разнообразный арсенал поэтической речи. Если ранние его произведения однотонны, то в более поздних по времени поэт сохраняет должную пропорцию между поверхностным и серьезным, свободно прибегая к игре слов и щедро вводя слова с двойным смыслом. Его «Послание к стихам» (1967) — пародия на поэзию восемнадцатого века, автопортрет поэта и его поэзии, написанный в «грубом» ритме и архаическим языком, что создает эффект воскрешения силлабической системы стихосложения восем-

* Добродетели, на которые нас вынудили наши гнусные преступления (англ.)

надцатого века. Это стихотворение — дань уважения Кантемиру и написано в его манере. В автопортрете, под маской безразличия, открываются нежность и патетическое чувство, умиряемое иронией. Но уже с самых начальных строк заметно, что одновременно поэт искусно затрагивает тему «писания в стол» (в Советском Союзе, как известно, Бродского почти не печатали), и мы видим, что в поэзии Бродского всегда потенциально присутствует современная тема. И поэтому это стихотворение все-таки больше похоже на произведение, написанное в двадцатом веке.

Перевод с английского Льва ШТЕРНА

АНГЛИЙСКИЙ БРОДСКИЙ

Пропишем несколько истин:

а) В литературе не говорят на данном языке, а пользуются данным языком против его обычаев и правил для достижения желаемого автором воздействия на чувства читателя и для выражения идей и эмоций, до того на данном языке не выражавшихся;

б) на деле это означает, что автор орудует не только чисто лингвистическим материалом, но всем купным национальным опытом, который называется культурой, и полноценным объектом авторского воздействия может быть только адресат, с той же полнотой включенный в ту же культуру (то есть тут лучше было бы не прибегать к туманному образу автора, некоторым орудием — язык? культура? — обрабатывающего читателя, лучше сработало бы сравнение с чем-то вроде электромагнитного поля, возмущение которого в одном месте воспринимается в другом, если, конечно, воспринимающее устройство наличествует;

в) писателем можно быть только на одном, родном, языке, что предопределено просто-напросто географией: даже с малолетства в совершенстве владея двумя или более языками, все равно не выйдет жить в двух мирах, всегда лишь один мир — твой, лишь одним лингво-культурным комплексом ты можешь сознательно управлять, а все остальные — посторонние, как их не изучай, жизни не хватит, хлопот и ляпсусов не оберешься.

Опыт Пушкина и Толстого, написавших так много страниц по-французски, а также Набокова, половину своих романов написавшего по-английски, подтверждает выше-

сказанное. Для всех троих родным языком, домашней (утробной, как сказал бы Бродский) культурой всегда оставался русский язык, русская культура.

Есть два способа употребления писателем чужого языка. Первый — это стилистическое употребление. Например, так же, как, изображая речь Савельича или старухи-башкирки, Пушкин прибегал к простонародным или искаженным речениям, так и желая выразиться лояльно, но без подобострастия, он рвал русский черновик и переписывал письмо государю по-французски. При таком подходе французский был для Пушкина одним из стилей русского языка, тогдашнего языка русской культуры. В этом плане живой и безупречный французский Пушкина или Толстого не отличается от карикатурно исковерканного полуидиш-полунемецкого в стихотворении Бродского «Два часа в резервуаре». И там и там иностранный язык — явление стиля, коммуникативной необходимости прибегать к иноязычию нет: ведь читатель все понял бы и по-русски. Другое дело, когда писатель адресуется к нерусской аудитории. В этом случае у него нет другого пути, кроме перевода. Но речь тут не о переводе в прямом смысле; не то что мысленно или на бумаге пишется текст по-русски и переводится затем на другой язык. *Русский язык* (синтаксис мышления, парадигмы культуры), вот что *переводится на другой язык*. Таким образом английские романы Набокова остаются в сфере русской литературы, хотя вполне возможно, что они включаются как новооткрытые острова в литературную империю англосаксонского мира («It's different in the Carribean»). Культуры иногда перехлестываются. Тут нет конфликта — канонерки могут оставаться в Кронштадте.

Последнее относится и к написанным по-английски очеркам Бродского. Они написаны языком свободным и идиоматически шеголеватым. Стиль этих очерков почти все время опирается на специфические оттенки значений, редко отражаемые в двуязычных словарях. Взять хотя бы заглавие автобиографического очерка «Less Than One». Автор предлагает перевести это как «Меньше, чем единица», что по-русски звучит несколько нарочито, ибо «единица» в значении «некто», «индивидуум», «личность» отдает бюрократизмом, если не держать постоянно подключенными ассоциации с поэтическим словарем Брод-

ского, где это бюрократическое словцо употребляется иронически: «В общем, каждая единица / по своему существу — девица» («Речь о пролитом молоке»). Однако английское «one» значительно деликатнее в переходах смысла, чем «единица», — это как кубик с выкрашенными в разные цвета гранями и перламутровый шарик, — «one» — это прежде всего «один», то есть получается «Меньше, чем один», «Меньше, чем некто», «Меньше, чем кто-то» и «Меньше, чем единица» одновременно. Такая много-смысленность, изящная витиеватость, основанная на безупречном владении английским словарем, отличает язык английских писаний Бродского, между тем как их стиль, то есть ход авторской мысли, остается неповторимо русским.

Мы находим очерки Бродского на страницах популярных периодических изданий — высоколобого *The New York Review of Books* и *Vogue*, предназначенного для лобиков, как бы это выразиться получше, хорошеньких. К журналам такого рода обращаются за информацией: за мнением экспертов по литературным и прочим важным вопросам в *NYRB* или за рекомендациями по части изящной жизни — что смотреть, что хвалить, куда съездить, а главное, что надеть — в *Vogue*. В смысле понимаемой таким образом информативности очерки Бродского очень бедны, значительно беднее окружающих материалов — рецензий, репортажей, реклам. Редакции делают косметическую попытку подмазать Бродского к контексту, хотя бы нахлобучить на него униформный заголовок: так, на обложку *NYRB* выносится не «Меньше, чем единица», а более солидное, обещающее информацию и анализ «Как воспитывают в Советском Союзе», а в *Vogue* и вообще тексту придается противоречащее ему заглавие — «Ленинград» плюс несколько открыточных фотографий. На деле читатель не много найдет сведений о системе образования или социально-воспитательных моделях в первом очерке и даже как-то вызывающе мало сведений об истории и облике Ленинграда — при таких-то масштабах! — во втором. Фактов, дат, имен здесь меньше, чем в туристическом буклете — минимальный паек: Петр Великий, Екатерина, Николай I, Ленин, 1703, 1917, 1941, «около дюжины театров», Фальконе, «итальянские и французские архитекторы» и еще несколько общих мест, как в статье

для энциклопедического словаря. Даже говоря о литературном Петербурге, что, казалось бы, ближе к внутреннему содержанию очерка, он опирается не на литературу непосредственно, а на подборку цитат из сентиментальной, риторической книжки Анциферова «Душа Петербурга». Спеша скормить читателю сухой паек минимальных сведений, он, словно по рассеянности, накрошил и просто неверных:

(стр.16) (Елисеевский магазин) «сохраненный в неприкосновенности, хотя бы потому, что не для чего было бы расширяться по нынешним временам» — что колбасы нет, верно, но Елисеевский при советской власти все-таки растекся по обе стороны Малой Садовой;

(стр. 17) «В этом городе нет возглавий-луковок» — да сколько угодно было и еще есть, понастроенных в квасном стиле Александра III, один «Спас-на-крови» чего стоит!

(стр 18) (вся русская, или петербургская, поэзия) «существовала под тем же знаком, под которым и была зачата: под знаком классицизма» — как ни зыбко распределение литературы на «измы», но коли уж говорить о них, то как же быть с «романтизмом», то есть с доброй половиной русской, или петербургской, поэзии 1820—1840 гг., которая по своим эстетическим установкам была яростно противопоставлена классицистическому канону? как быть с творчеством самого петербургского из поэтов 19 века, Некрасова? что классицистического в поэзии Блока и символистов? наконец, в поэзии самого Бродского разве не меньше от традиционно понимаемого литературного и философского романтизма или от барокко, чем от классицизма?

И вообще все это отождествление русской литературы с Петербургом не выдерживает объективной критики, ибо, во-первых, большинство русских писателей 19-го и 20-го веков жили в Москве, за границей, в имениях (если объяснять чуждость Ленина петербургской культуре тем, что он провел там в общей сложности два года, то больше ли петербургского стажа наберет Толстой?), а, во-вторых, большинство русских сюжетов размещены вне Петербурга.

Да и что за город изображается в очерке, посвященном городу (в двух очерках, если прибавить «Мень-

ше, чем единица»)? Изображены южные кварталы Выборгской стороны: вокзал, привокзальная площадь, завод, больница, тюрьма, река, отделяющая Выборгскую часть от Литейной и Адмиралтейской. Панорама набережной с Петропавловской крепости и на левом берегу кусочек Литейного со зданием КГБ. Ни тебе Невского, ни Летнего сада. Не описание города, а воспоминание о привычном маршруте одного горожанина.

«Не выдерживает объективной критики» — но следует ли вообще прилагать «объективную» критику к этому сугубо субъективному рассказу?

Мы давно замечали, что с магнитофонами творится что-то странное — они очень верно записывают все голоса, кроме нашего собственного. Или собственного голоса никому не дано узнать? Бродскому кажется, что он сам и вся та русская поэзия, которая генетически предопределила тональность и модуляции его голоса, звучит классицистически. Но основа классицизма — гармония: пропорциональность, симметрия, баланс. Существо поэзии Бродского в ее стилистической дисгармоничности: сюжетной диспропорции, интонационной ассиметрии в отсутствии баланса идей. (Все же не назовем ее ни романтической, ни барочной из уважения к историчности обоих терминов.) О классицистическом понимании жанра и говорить не приходится. Бродский пишет тысячестрочную поэму приемами лирического стихотворения, сонет как драму и даже, по существу, не делает различий между поэзией и прозой.

«Третью неделю туман не слезает с белой колокольни коричневого, захоластного городка, затерявшегося в глухоманном углу Северной Адриатики. Электричество продолжает в полдень гореть в таверне. Плитняк мостовой отливает желтой жареной рыбой. Оцепеневшие автомобили пропадают из виду, не заводя мотора».

Или:

Это большая комната с тремя рядами парт и портретом Вождя на стене за стулом учителя, с картой двух полушарий, из которых только одно законное.

(Первый отрывок — начало стихотворения «Неббио» «Сан-Пьетро», набранное в строчку, а второй — концовка очерка «Меньше, чем единица», набранная стихами.

Эту вообще-то не слишком позволительную операцию мы разыграли лишь для того, чтобы подчеркнуть исключительную изоморфность *всего*, написанного Бродским, что на наш взгляд является окончательным свидетельством естественности поэта, его всегдашнего равенства самому себе.

Нет поэтического хозяйства, которое не держалось бы на самоповторах, на избыточном, как сказал бы лингвист, употреблении излюбленных образов. Так, если Бродский говорит «море», то за сим следует ожидать эсхатологический образ: «Когда-нибудь оно, а не — увы — / мы, захлестнет решетку променада...» («Второе Рождество на берегу...»), ср. «Но в целом есть логика в здешнем ощущении природы, которая когда-нибудь вернется, чтобы востребовать отторгнутую собственность, покинутую однажды под натиском человека» («Ленинград»). «Голые деревья, / как легкие на школьной диаграмме. / Вороньи гнезда / чернеют в них кавернами». («С февраля по апрель», 1) ср. «Деревья в садах и парках выглядят как человеческие легкие на школьных пособиях, с черными кавернами вороньих гнезд» («Ленинград»). Вышеупомянутому рассуждению о классицизме соответствует «Я заражен нормальным классицизмом...» («Одной поэтессе»), воспоминаниям о детском фетишизме в «Меньше, чем единица» — «Белье горит в глазах его пятном...» и проч. из поэмы «Феликс». «Дома на пустынной улице, стелющейся покато, / в чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката / отражается, точно в окне экспресса, / уходящего в вечность...» («Ист Финчли») — «С плывущим над крышами белым дымом дома вдоль набережных все больше и больше напоминают остановившийся поезд: направление — вечность» («Ленинград»). «... где руки тянутся хвойным лесом / перед мелким, но хищным бесом...» («Лагуна») — «...и становились /.../ лесом поднятых рук на собрании по поводу Египта или чего другого» («Меньше, чем единица»). То зло, воплощенное в ничтожестве, которое в очерках носит название «Ленин», уже было представлено в тех же образах в стихотворении «Одному тирану».

Во всем творчестве Бродского после 1972 года, и особенно легко в его эссеистике, можно выделить главную тему — зло. Словно бы при проходе сквозь кла-

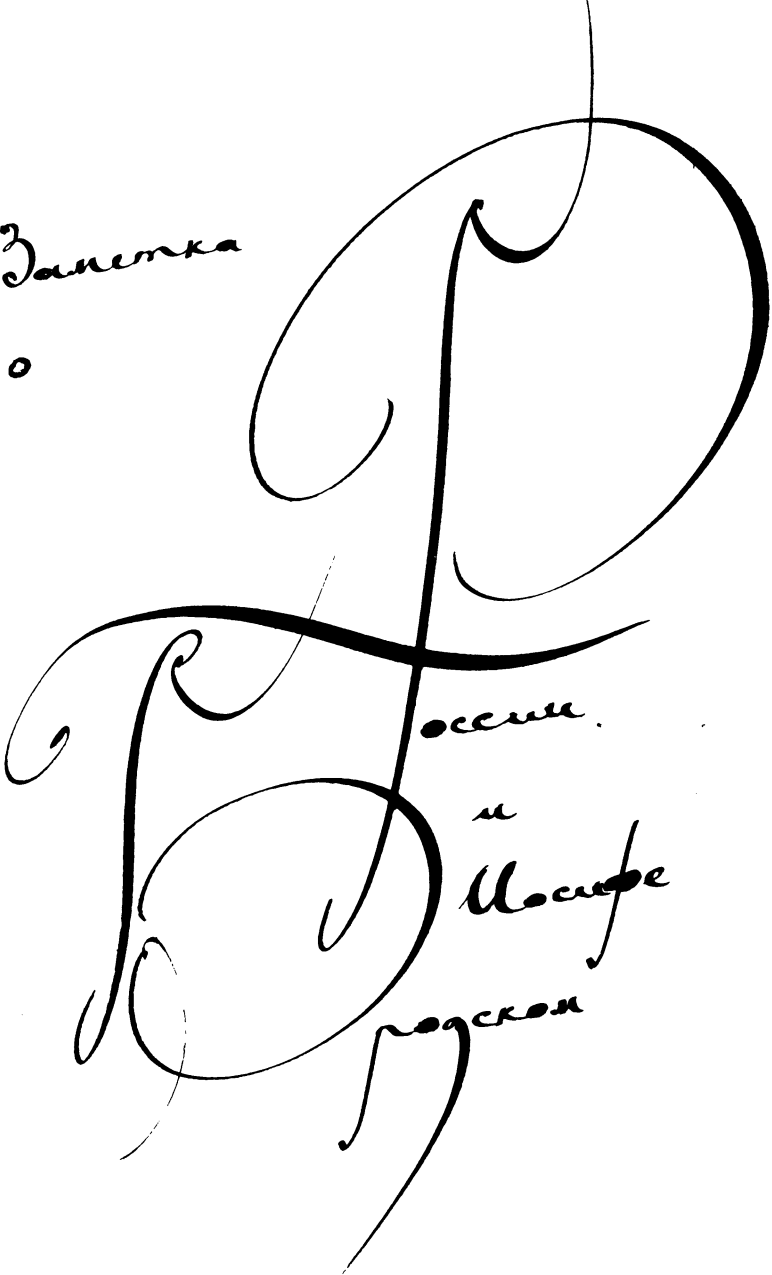
пан советской аэропортовской таможни все остальное отфильтровалось. Уже в одном из первых своих существенных высказываний в западной печати, в интервью, опубликованном «Нью-Йорк Таймс» в 1972 году, он сформулировал свое окончательное мировоззрение крайне просто: противостояние Добра и Зла определяло духовную жизнь и литературу 19 века (Достоевский), в двадцатом веке Зло противостоит Большему Злу. «Зло» принадлежит к числу понятий столь абстрактных, что требует немедленной интерпретации, иначе возникает опасность, что сказавший «зло» будет говорить об одном, а понимать будут совсем другое. И Бродский интерпретирует Зло в русской православной традиции — как пустоту, отсутствие, минус или ноль. В конце концов пустота есть самое иррациональное, непостижимое для человеческого ума. Именно по этой причине в англосаксонской литературе, при всей ее сосредоточенности на теме греха, нет сколько-нибудь влиятельного мифа о чистом Зле. (В недавно опубликованном очерке об этом писал покойный Роберт Лоуэлл: что, мол, краеугольное для темы Зла в англоязычной литературе произведение — «Потерянный рай» Мильтона, — несмотря на красоту стиха, невразумительно — в Сатане не ощущается Зла.) Английский язык обрекает писателя на анализ, постижение, выявляются тончайшие оттенки душевных движений, но «проклятое понимание» — это, «следовательно, всепрощение» («Меньше, чем единица»). Все, что писатель *понимает*, он в конечном счете выводит из себя («Эмма — это я!») по законам, подсказанным ему родным языком, поэтому в русской литературе, с ее знаменитым реализмом, подлинное Зло всегда является в другом плане, не в том, в каком написано все произведение, сюрреально: Медный Всадник скачет, мертвые души разрушают живые жизни, черт является Ивану в виде «известного сорта русского джентльмена», а Ленину в Цюрихе — в виде международного жида Парвуса. У Бродского Зло иногда прямо называется Пустотой, которая «и вероятнее и хуже Ада» («Похороны Бобо»), иногда зашифровано в более сложных образах нехватки чего-то жизненно важного, как воздух в «Колыбельной Трескового Мыса». В «Меньше, чем единица» он высказывает сожаление «по поводу фак-

та, что такой развитой идее Зла, какой обладают русские, закрыт доступ в сознание говорящих по-английски людей, на том основании, что русский синтаксис слишком извилист». Высказав это сапирианское по своей природе сожаление, он язвит: «Позволительно спросить, многие ли из нас могут припомнить Зло, которое запросто, с порога сказало бы: «Привет. Я — Зло. Как дела?» Но артистически эта идея изображения «Зла запросто» была очень привлекательна — отсюда — Тиран, корячащийся в сортире («Post Aetatem Nostram»), тиран, жующий коржик в кафе («Одному тирану»), наконец, просто *ничто*-жество — Ленин («Ленинград»). В перспективе такой синонимии Зла рассуждения о названии города, отталкиваясь от обычной в этом случае темы идиосинкразии, намекают на метафизику — Град Зла (ну, а что, скажите, другое могло вознестись из топи блат?).

Сходство очерков Бродского с очерками Ахматовой, Ходасевича и Мандельштама — поверхностное. Те трое прошли филологическую выучку, и исследование предвзяло их художественные, страстные сочинения о Пушкине или Данте. Бродский имеет честь быть *только* поэтом (как Цветаева). Все его «поэтому», «следовательно», «не столько... сколько» и т. п. связывают не факты и комментарии, не причины и следствия, а метафоры и порождаемые ими другие метафоры. Эти очерки не пополняют запаса наших сведений о мире, но возвращают нам ощущение мира. Как и стихи Бродского, они заставляют нас понять, что мы живем.

Заметка

o

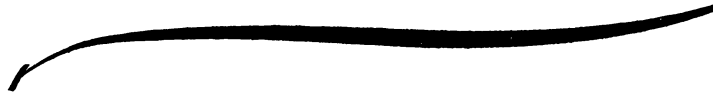


осени.

и

Мисифе

годской



К

ультурная преемственность и ее естественное развитие были три раза прерваны в истории России. Первое царство — Московская Русь, после занятия Пскова, Новгорода и других свободных республик и княжеств, наложив свое поверхностное орнаментальное стили на все завоеванные области, тем самым умертвив плуто древнерусского искусства — церковное зодчество его, иконопись, настенные росписи.

Второе царство — империя Петра Первого, окончательно нарушила связь России с Византией, — создало новую,

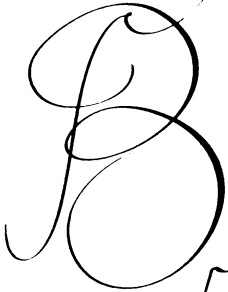
ужеродную светскую культуру и сделало ее единой державной.

Третье образование было уже не царством и не империей, и не верно ли назвать его супраншим Рейхом — государством Ленина, Сталина, Брежнева, которое свело почти на нет в России поиски творческой индивидуальности, как русской, так и западной, — государства, достигшего совершенства во умиривлении плоти, души, мысли и духовности.

Говоря о литературе, Октябрьская Конктеревация Ленина создала возможность русской литературе разделиться на три части: русскую, советскую и савецкую. На этом фоне исторического отсутствия культурной преемственности и на фоне

трагической разобщённости современной литературы России ее спектр являются только отдельные личности, одинокие мастера. Сегодня к таким мастерам экспериментального русского стиха принадлежат Мосей Горюцкий, Наталья Горданевская, Николай Моршек, Игорь Чинков и Алексей Цветков.

Самодвижность и Эксперимент сами по себе не являются еще эстетической ценностью, но при наличии формальных достоинств они создают известный "секс-эпизод", своеобразный магнетизм, привлекающий нас.


 русской поэзии, действительно
 многообразной и богатой, стать оригинальным
 художником задача весьма трудная. Но
 каковы бы ни были, однако, источники
 поэзии Гродского, он несомненно Само-
 зытное явление. У Гродского свой
 современный ритм, собственная разговорная
 интонация, и не на кого не похожая, сложная
 интруктовка стиха, стилистические и
 лексические ряды, синтез вульгарного слова
 и высокого стиля, мякая "романтическая
 дика", а так же заостренная духовность,
 своя музыка мысли.


 лучших своих

стихотворениях

Уосиф Родский

зорок, проникновенен, чувствителен
и находчив. Но то, что делает его
стихотворение поэзией — это
живая пульсация слова.

Alexis Rankin

Russian and
East European Studies
Yale University



ПОЭЗИЯ

Генрих САПГИР

ЭЛЕГИИ

АРХАНГЕЛЬСКОЕ

Европа — Юлий Цезарь — Азия — Вакх — геральдические львы — (один похож на Холина, другой — на меня) — уступами — просторной планировкой — балюстрада — ступени — вдоль газонов с двух сторон — все ниже ниже — санаторий — спокойные больные — ниже к Москве реке — и снова луг — и выше роща — и вверх уступами далекие леса

И здесь два московских поэта-философа — спор и поток информации — отбор информации — «Ассоциации? Какие к черту ассоциации!» — прямо в упор — еще теплые свежестрепещущие — зеленая зелень! — небесное небо! — и солнечная вода! — и вопли — и голые пятки — (живу!) — летящие в воду — и мои и твои и его ощущения — И превращения — время исчезло — музейные кресла — ты видишь картину какого-то века — я вижу: грека-негоцианта царицу царя генерал-адъютанта — ты видишь скульптуры левкой — я вижу: лакеи лакеи лакеи — Юсупов и длинные доги стоят на пороге дворца — и нас кто-то видит

гуляющих в парке и видящих все что мы видим — и этого «кто-то» и нас и царей и богов другой обязательно видит — и этого тоже — и так без конца

Я слушал вчера пианиста — Джон Броунинг — и в амфитеатре паря над огромной залой как чистые звуки Шопена — я вспомнил: Каменные скамьи — и беспредметный спор — и солнце — гримасы мраморные в солнце — полифония построенья — и желтая гроза на горизонте —

Я понял — (пальцы пианиста — взмок от напряжения — улыбка похожа на рыдание — аккорды!) — что основное это планировка — просторная — широкие ступени — все выше выше — и река — луга — и дальше лиловые леса до истонченья зрения и слуха

И — (если верно выбрать угол падения и отраженья) — все есть — всегда! — одновременно! — Джон Броунинг и Юсупов — автобус и философ — и лес и ресторан — и все подряд поэзия: музей — приехали на дачу — холодная бутылка пива — транзистор — «кажется гроза» — читаю чьи-то мемуары — велосипед — веселая Алиса — и девушки и небо и вода —

Архангельское и Москва
И краснолапый голубь на балконе
Как вылепленный
Смотрит на меня

ПОХМЕЛЬНАЯ ПОЭМА

Георгию БАЛЛУ

Матрешка — чертова Матрена — деревянный в цветах и колосьях живот — (я — из него, он — из кого-то) — дурак рождает идиота — и тут внутри еще какой-нибудь балбес

Друг Жора мы с тобою влипли — поблескивает риза алтаря — хоть перекраситься в индейца — мы тут — нам никуда не деться — мы любим купола церквей — и небо низкое — поля и перелески — проще говоря мы — русские — и что ни говори — как русские и каждый раз с похмелья обречены решать свои треклятые вопросы

Правдоискатель князь Хворостинин
Лжеклассичный Ломоносов
Ученый русский дьяк О! Тредьяковский О!
И мурза самодержавный Державин
И Пушкин — полурусский полубог
И Блок —
Кудрявый как цыган профессорский сынок
И Хлебников как хлеб и как венок
И ты и он и все —
Р о с с и я
Р о к

Дождь зарядил — нас мучают мысли о бесплодии — уже не день не год — слышать небытие — отяжелела зелень — мы чувствуем свою нелепость — сомнительно поблескивают крыши — свою огромность и свою ненужность — и небо кажется устало от дождя

И все равно — нам не двадцатилетним
Нам нынешним а не вчерашним
И все равно нам не взирая на!
Спокойно повествующим о страшном
Опохмелясь без лишнего веселья
(Мы любим жизнь - старуху)
Рыгнем похлопаем себя по брюху
Затем благословясь беремся за перо

О СМЕРТИ

Оса искала следы какао — ползет — по липким доскам дачного стола — детсад — отклеивая лапки — разглядываю близко-близко — на жопке ядовитые желтые полоски — ужасно хочется потрогать

И больше ничего не помню кроме большого страха в темном доме — когда проснулся ночью весь в слезах — и понял — это Я — и все что происходит — в самом деле — со мной — в трусах и майке — трет резинка — Я — а не другой умру — Меня не станет — МЕНЯ на самом деле — а не того о ком я думал — это я — Все дети спят — а ночь гудит от ветра — пахнет слезавшимся матрасом — маленькое сердце: мама! мама! — и дерево наполненное бурей огромное ночное за окном

Мать умерла от рака — сначала не обращала внимания — но клетки уже переродились одичали — рука была тверда и горяча — чужое мясо

Как мучилась! —

говорила все о каких-то пустяках — кажется она не замечала — «открой окно» — что все на самом деле — «дай апельсинового сока» — с ней — ни с кем иным — лепетала как младенец

Как мучилась! —

И уходя в свое первоначало — в свое спасение от боли — просила передвинуть телевизор к ногам постели — потом уж не она кричала — другая женщина — родные оперировать хотели — которая желала чтоб кончилось все это поскорей

Сегодня выйдя из метро — троллейбус липы ресторан СОФИЯ — улицу я знаю наизусть — впервые ощутил — (продажа мужских носков — отмеченные солнцем лица — скучающая продавщица) — что это ЕСТЬ — и только ЭТО — реальность из которой хода нет

Улица устало клонилась к западу — недоуменье оставило — поток машин вливался в солнце что стояло над шпилем Белорусского вокзала — сияла каждая пылинка — и было счастье! — к вечеру слышнее пахли липы — сознание что вижу и дышу — на самом деле — и что умру Я — а никто другой

ЗНОЙ И ВЕТЕР

Под дикой грушей читаю Платона — и слышу — пятная меня рябой и дрожащею тенью — заглядывают через плечо

И еще —

Коллективное сознание муравьев — над морем — над миром мерцает текучей дорожкой — на сером

Ветер взял займы трепетную плоть листьев оливы — и бежит над нами — серебристый — Зной повис — блаженным звоном цикады — и вполне живет одним впечатленьем — А Сократ — беседуя с друзьями — растирает ноющую ногу — как земля в трещинах пятка — но уже растерт яд — раб несет чашу цикуты — и мудрец пьет — он считает что вполне логично умереть и стать диалогом Платона

А может быть смерть была легка потому — «Критон мы должны Асклепию петуха» — что была его выздоровленьем

Сладкой земли притворяется Федр — Лисий — собачкой что мимо сейчас пробежала — лисьей породы — ящеркой Эриксимах ускользнул в серебристую щель — облачком Аполлодор над безоблачным Крымом стоит И как ни кошунственно это — здравствуй Сократ! — и во мне отзывается — здравствуй Алкивиад Агафон и Критон и Павсаний! — вы молчаливой толпой — семенем став и травой — принимая любые обличья — пылью и камнем всегда существуя — мне говорите — что я — тоже — всегда — и повсюду — море! Я был — небо! я буду — и наконец кто-то однажды прочтет диалоги Платона под дикою грушей — и нечто припомнив — моими ушами услышит — зной — и моими глазами увидит — ветер бегущий

СТИХИ

* * *

О, дети,
жил в стране СССР
товарищ по фамилии Несессер.
Жена звала его «урод».
Однажды ездил с ней он на курорт
в кавказский город Леселидзе,
чтобы как следует повеселиться.
Заехали там по пути в Сухуми,
где, он, поев харчо, едва не умер.
И возвратясь в столичную квартиру,
увидели ужасную картину:
в уборной в упоении мартышка
тянула водоспуск без передышки,
а в ванной, ласт под ухо положа,
купалось тело спящего моржа,
и, чувствуя скандал, из кладовой
слон показался головой.

Жена металась в страхе, тараторя,
и можно было разобрать лишь:
— Толя!
— но ведь квартира была на замке,
— но ведь табличка была на звонке!
— Как же вошло без ключа от дверей
множество самых ужасных зверей,
пятнами,
полосами испещренных?

Я
объясню это,
дети смысленные.
Я объясню вам,
и верьте мне смело:
чудо здесь,
чудо здесь место имело.
Пусть с иллюстрациями и без
пишут, что не бывает чудес.
Пусть постовые стоят на часах,
не допуская вокруг чудеса.
Но и в крупнейших центрах промышленных
всяких чудес проживают умышленники,
и открывают чудес закрома,
чтобы они проникали в дома.
С черного хода
и с хода парадного,
как ни желали бы люди обратного.

1961

БАСНЯ

(Поэма)

Как Белый Медведь начал меряться с Бурым
чей голос приятней, изящней фигура,
чье мясо вкуснее,
чья шкура дороже,
кто старше,
кто, следовательно, моложе,
кто чаще бывает объектом охоты,
кто больше принес Зоопарку дохода,
кто лучше из двух овладел кувырком, —

то стало зверье собираться кругом.
И уговаривать их помириться:
— Не то
мотоциклы наедут
с милицией,
машины, наполненные пожарными, '

и ветеринарами
кровожадными,
но внешне как будто бы интеллигентными,
трамваи с сомнительными элементами,
пешком подойдут офицеры в отставке,
гуляки
и, может быть, даже калеки.

— У вас у обоих свои недостатки:
скорее ж,
скорей помиритесь, коллеги!

А то
ошарашат нас свистом разбойным,
а могут водою облить из брандспойта,
и сделать, как тишины возмутителям,
прививку от бешенства возбудителей.

Вы посмотрите:
молчит ведь Жираф,
молчит и тогда он, когда даже прав,
а вы
еще миг
и устроили б свалку.

А как хорошо бы всему Зоопарку
умолкнуть на время.
Ведь если молчать —
внимание бросят на нас обращать,
и к нам пропадет у людей интерес
с иллюзией,
что Зоопарк — это Лес,
а не концлагерь для военнопленных.

Пусть люди забудут о нас постепенно.
Пускай перестанут ходить в Зоопарк.
Пусть выйдет на пенсию сторож Захар.
Пускай на аллеях размножится клевер.
Афиши с зверями — другими заклят.
А щели в заборе мы сами заткнем.
Запремся.
И с облегченьем вздохнем.

У Петра Иванова родители
по профессии — укротители.
Папа носит зеленый фрак.
Мама — длинное синее платье.
Папе звери послушны за страх.
Маме — больше из чувства симпатии.
По утрам, отправляясь в цирк,
папа есть торопливо сыр,
мама есть торопливо варенье.
Им не терпится
на арене
постоять между львами и львицами
с до того безобидными лицами,
словно все происходит в птичнике.

Между прочим,
нормальные хищники
в смысле пищи брезгают взрослыми,
потому что в какой-то мере
пахнет мясо пап папиросами,
пахнет мясо мам парфюмерией.
1961

ВЕСНА

Волнуются коты на форточках,
Что воробьи сидят на корточках,
Не суетятся, не летают,
О всякой всячине болтают:
Что день, хотя и постепенно,
Но ошутимо прибавляется.
— На рынке выбросили сено.
— На свалке валенок валяется.
— Кот из шестой квартиры — злюка
— В День Птиц зовем к себе гостей,
Вернутся родственники с Юга,
Расскажут кучу новостей.

1964

ЖАЛОБЫ ЛЮДОЕДА

Мы племя людоедов.
У нас обычай есть
Кусаться за обедом,
Стремясь друг друга съесть.
А если кто соседа
Не может съесть живьем,
Тот будет без обеда.
Вот так мы и живем.
Я сам рыдал и плакал,
Когда друзей съедал,
Но между тем, однако,
Обычай соблюдал.
Отца и мать, я помню,
Съел в юные года,
Поэтому я полный
И круглый сирота.
На ветках пальм огромных
Плодов растет не счесть,
А мы должны знакомых,
Родных и близких есть.
Одной и той же пищей
Питаться — наш удел.
И варварский обычай
Нам этот надоел.

1969

Алексей ЛОСЕВ

ПАМЯТИ ВОДКИ

ОТКРЫТКА ИЗ НОВОЙ АНГЛИИ

*Иосифу.
18 апреля 1980*

Студенты, мыча и бодаясь, спускаются к водопою,
отплясал пять часов бубенчик на шее библиотеки,
напевая, как видишь, мотивчик, сочиненный тобою,
я спускаюсь к своей телеге.

Распускаю ворот, ремень, английские мысли,
разбредаются мои инвалиды недружным скопом.
Водобоязненный бедный Евгений (опять не умылся!)
припадает на ударную ногу, страдая четырехстопьем.

Родион во дворе у старухи-профессорши колет дровишки
(нынче время такое, что все переходят опять на печное),
и порядком оржавевший мой Холстомер, норовивший
перейти на галоп, оторжал и отправлен в ночное.

Вижу, старый да малый, пастухи костерок разжигают,
существительный хворост с одного возжигают глагола,
и томит мое сердце и взгляд разжигает,
оползая с холмов, горбуновая тень Горчакова.

Таково мы живем, таково наши дни коротая,
итальянские дядьки, Карл Иванычи, Пнины, калеки.
Таковы наши дни и труды. Таковы караван
мы печем. То ли дело коллеги.

Вдоль реки Ph.D Гераклит выдает брандылясы,
и трусца выдает, и трусца выдает бедолагу,
как он трусит, сердечный, как охота ему адидасы,
обогнавши поток, еще раз окунуть в ту же влагу.

А у нас накопилось довольно в крови стеарина —
понаделать свечей на февральскую ночку бы случилось.
От хорья зверя, бедной юности нашей Арина
с той же кружкой сивушною, Родионовна, бедная старость.

Я воздвиг монумент как насест этой дряхлой голубке.
— Что, осталось вина?

И она отвечает: — Вестимо-с.

До свиданья, Иосиф. Если вырвешься из мясорубки,
будешь в наших краях, обязательно навести нас.

Л.

P.S.

Генеральша Дроздова здорова. Даже спала опухоль с ног
(а то, помнишь, были, как бревна).

И в восторге Варвара Петровна —
из Швейцарий вернулся сынок.

Л.

1937 — 1947 — 1977

На даче спят. В саду, до пят
закутанный в лихую бурку,
старик-грузин, присев на чурку,
палит грузинский самосад.
Он недоволен. Он объят
тоской. Вот он растил дочурку,
а с ней теперь евреи спят.



Плакат с улыбкой Мамлакат.

И Бессарабии ломоть,
и жидкой Балтики супешник
его прокуренный зубешник
все, все сумел перемолоть.
Не досчитался дядь и тетя.

В могиле враг. Дрожит приспешник.
Есть пьеса — «Таня». Книга — «Соть».



Господь, Ты создал эту плоть.

Жить стало лучше. Веселей.
Ура. СССР на стройке.
Уже отзаседали тройки.
И ничего, что ты еврей.
Суворовцев, что снегирей.
Есть масло, хлеб, икра, настойки.
«Возьми с собою сто рублей».



И по такой грушу по ней.

«Под одеяло рук не прячь,
И вырастешь таким, как Хомич.
Не пи..и у папаши мелочь.
Не плач от мелких неудач».
«Ты все концы в войну не прячь».
(«Да и была ли, Ерофеич?»),
«Небось приснилась, Спотыкач.»)



Мой дедушка — военный врач.

Воспоминаньем озарюсь.
Забудусь так, что не опомнюсь.
Мне хочется домой — в огромность
квартиры, наводящей грусть.

* * *

Я сна не торопил, он сразу состоялся,
и стали сниться сны, тасуясь так и сяк,
и мир из этих снов прекрасный составлялся
и в этом мире снов я шлялся как дурак.

Я мертвым говорил взволнованные речи,
я тех, кого здесь нет, хватал за рукава,
и пафос алкаша с настырностью предтечи
буровились во мне, и я качал права.

И отменил я «нет» и упразднил «далече»,
и сам себя до слез растрогал, как в кино.
С отвагой алкаша, с усилением предтечи
проснулся. Серый свет дневной глядит в окно.

Я серый свет дневной. Гляжу в окно: герани,
два хилых стула, сны — второй и третий сорт,
подобие стола (из канцелярской дряни),
на коем вижу не-гативный натюрморт:

недопитый стакан, невыключенная лампа,
счет неоплаченный за телефон и не-
надписанный конверт без марки и без штампа.
Фон: некий человек ничком на простыне.

ЦИТАТНИК

«Покойник из царского дома бежал!»

Н. А. Заболоцкий

Как ныне прощается с телом душа.
Проститься, знать, время настало.
Она — еще, право, куда хороша.
Оно — пожило и устало.
«Прощай, мой товарищ, мой верный, нога,
проститься настало нам время.
И ты, ненадежный, но добрый слуга,
что сеял зазря свое семя.
И ты, мой язык, неразумный хазар,
умолкни навеки, окончен базар».
.
У князя испуганно ходит кадык.
Волхвы не боятся могучих владык,
и дар им не нужен. Они молодцы.
Их отроки-друзи ведут под уздцы.
.
Князь Игорь-и-Ольга на холме сидят.
Дружина у берега пирует.
И конского черепа жалящий взгляд
у вечности что-то ворует.

«Понимаю — ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», — говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил», —
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаяясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро вместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копы
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

* * *

Умер проклятый грузинский тиран.
То-то вздохнули свободно грузины.
Сколько угля, чугуна и резины
он им вставлял в производственный план

План перевыполнен. Умер зараза.
Тихо скончался во сне.
Плавают крупные звезды Кавказа
в красном густом кахетинском вине.

* * *

И жизнь положивши за други своя,
наш князь воротился на круги своя,
и се продолжает, как бе и досель,
крутиться его карусель.

Он мученическу кончину приях.
Дружинники скачут на синих конях.
И красные жены хохочут в санях.
И дети на желтых слонах.

Стреляют стрельцы. Их пищали пищат.
И скрипки скрипят. И трешотки трещат.
Князь длинные крылья скрещает оплечь.
Внемлите же княжеску речь.

Аз бех на земли и на небе я бе,
где ангел трубу прижимает к губе,
и все о твоей там известно судьбе,
что неинтересно тебе.

И понял аз грешный, что право живет
лишь тот, кто за други положит живот,
живот же глаголемый брюхо сиречь,
чего же нам брюхо стеречь.

А жизнь это, братие, узкая зга,
и се ты глядишь на улыбку врага,
меж тем как уж кровью червонишь снега,
в снега оседая, в снега.

Внимайте же князю, сый рекл: это — зга.
И кто-то трубит. И визжит мелюзга.
Алеет морозными розами шаль.
И-эх, ничего-то не жаль.

ВАЛЬС «ФАКТОРИЯ»

У моря чего не находишь,
чего оно не нанесет.
Вот так вот, походишь, походишь,
глядишь, Крузенштерн приплывет.
С приказом от адмиралтейства
факторию нашу закрыть,
простить нам все наши злодеяния
и нас в Петербург воротить.

С Аринами спят на перинах
матросы. Не свистан аврал.
Пока еще в гардемаринах
спасительный тот адмирал.
Он так непростительно молод,
вальсирует, глушит клико.
Как бабочка, шпилем проколот
тот клипер. И так далеко.

* * *

Покуда Мельпомена и Евтерпа
настраивали дудочки свои,
и дирижер выныривал, как нерпа,
из гулкой оркестровой полыньи,
и дрейфовал на сцене, как на льдине,
пингином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист,
улавливая ухом труляля,
я в то же время устремился взглядом
в мерцающую грудку хрусталя,
свисавшую застывшим водопадом.

Там умирал последний огонек,
и я его спасти уже не мог.

О МОСКВЕ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ,
ИЛИ
ВЗГЛЯД ЗА ОКНО НА МАНЕЖ И НА ПЛОЩАДЬ

Десять лет убежало. А куда — непонятно.
Их пространство вобрало или время вернуло обратно.
Может, попросту ссыпались с черной небесной лопаты?
Или ими насытились Овн, Скорпион и Плеяды?
Десять лет я сидел у окна в переполненном зале.
И валял дурака в середине, конце и начале
Десятилетия этого, полного смысла и блеска.
И теперь на бобах. И кого мне винить — неизвестно.
Проклинать свое время? Но это последняя глупость.
И гораздо вернее пенять на привычную лютость
Всех времен и режимов к таким вот ленивым растяпам,
На кресте нерешительности справедливо распятым.
Ведь пока я глядел за окно на манеж и на площадь
И пока я сидел меж двух стульев, не веря в их прочность,
Протекли мои лучшие, самые лютые годы,
Отошли мои случаи, как от земли пароходы.
Догони, доплыви то ли в лодочке, то ли иначе!
Человек за бортом! Он отстал от деньги и удачи!
Я не молод, не стар, не освистан пока и не признан.
Не матрос, а кустарь, возвращаюсь обратно на пристань.
Эта пристань моя — золотая Москва за окошком.
Ну, и что из того — я забыт, как Касьян в високосном
Невезучем году, преисполненном хвори и тягот.
Потому в борозду этих лет и года мои лягут.

Предо мной наливала колосья моя комсомольская нива.
Но, увы, пересохли колодцы у общества и коллектива.
Приглашала индустрия в храм своего комбината.
Это было недурственно, но я глядел виновато.
Заходил, уходил и, увы, оказался уволен.
Что поделаешь — сладить с никчемной натурой не волен —
Я тогда отступил в ремесло борзописца,
Я себя остудил, что, увы, никогда не простится.
Стал проворной рукой сочинять я заметки и штучки,
Потянулись домой полупремии, полуполучки.
Переводы, сценарии, детские взрослые сказки,
Экземпляры сигнальные, редакционные ласки.
Что же я прозевал? В перелеске иудину дачу?
А пока я жевал, упустил из-под носа удачу?
Удалось бы с веревкой бежать по Воровского в гору?
Чтобы на Новодевичьем мне из поросского впору,
От затылка до пяток, казенную сбили гробницу?
Нет, на это не падок! Я бульварная серая птица.
Доживу так, как начал. На пустом и свободном просторе.
За беспечным столом, но зато на извечном престоле.

РОМАНС ПРО УЛИЦУ ГЕРЦЕНА

Без всякой лишней ловкости
Я жил и не платил,
В Москве в последнем августе
В трех комнатах один.
Что мог, хозяин вывинтил,
Загнал и поменял.
А сам уехал в Индию,
Не зная про меня.
Цвели обои в комнатах
И делались белей,
Особенно на контурах
Пропавших мебелий.
На кухне света не было —
Там газ светил ночной,
Я более нелепого
Не видел ничего.

Одно трюмо дежурнос
Уперлось в потолок,
Столетнее, безумнос,
Оно не подалось.
Как жил я в этих комнатах,
Так не живу сейчас,
Там был букет обмокнутый
В чужой китайский таз.
Теперь скрывать мне нечего —
Там было хорошо,
Там по паркету девочка
Ходила голышом.
Хоть важно, чтоб изысканно,
Но все — так все равно.
Ах, было бы грузинское
Столовое вино.
Хоть с булкой, хоть с отварами
Я все их так хвалил,
И в окна, как в аквариум,
Вечерний свет входил.
И комната померкшая
Была еще пустей.
Одно трюмо невернос
И новая постель.
Глядела в окна девочка,
Столярный клей блестел,
Красивая, раздетая,
С лучами на лице.
Лучи кидались в зеркало
С московской мостовой,
Кино зелено-серое
Играло за тобой.
Ты целовала сердце мне,
Любила как могла,
За улицею Герцена
Вся обмерла Москва.
Я жил на этой улице,
Там к счастью привык.
И размышляю с ужасом
Об улицах иных.

У СРЕТЕНСКИХ ВОРОТ

Холодным летним днем
У Сретенских ворот
Не отыскать с огнем,
Москва, твоих щедрот.

«Вечерку» отложив,
Я вижу — меркнет день.
Еще покуда жив,

Он расправляет тень,
Травы позеленей,
Красней крепленых вин,
Накрыв по ширине
Бульвар, как кринолин,
Ночной огонь Москвы,
Наш общий семафор,
Забвение тоски
И жажды самовар.

Великих городов
Тем и велик разброд,
Что терний от плодов
Никто не отберет.

Пока сиди среди
Песочниц и детей,
Пока еще следи
За Сретенкой своей.

Закончены дела,
Прочитаны листы.
И все, что ты дала, —
Все отобрала ты.

Не забывай меня!
Когда-нибудь потом.
Пошли и мне огня
Расплавленным пятном.

ПОСВЯЩАЕТСЯ СТАНЦИЯМ МЕТРО
КИРОВСКАЯ — РАДИАЛЬНАЯ И ПАРК КУЛЬТУРЫ — КОЛЬЦЕВАЯ

Апреля сиротская глина
Обмажет подошвы твои.
Рассыпья, моя дисциплина!
Не мучь, не мути, не дави!

Под хладный кирпич пятилеток
Спускаюсь в могилу метро.
Как хочется, чтоб напоследок
Мне стало светло и тепло.

О, сколько же выпало дальней
И бедной судьбы кочевой
До смерти моей радиальной,
По жизни моей кольцевой.

Хватило на долгие годы
Всего, чтобы мне ошалеть.
И не было только свободы.
О ней и не стоит жалеть.

Не стоит рыдать и браниться,
Бросать грязноватый кулак.
Свобода — свободная птица,
Ее не прикормишь никак.

Тем более в комнатах наших
Замучены сном и трудом,
Мы ей надавали пятнашек
И руки умыли потом.

И вот, от размокшей землицы
Спасаясь в московском метро,
Глядите, глядите на лица:
Все кончено, ясно, мертво.

Константин КАВАФИ

СТИХИ

Перевод Г. Шмакова

ДЕКАБРЬ 1903

Не смею я сказать, как хороши
Твои глаза, и волосы, и кожа.
Любовь молчит. Хотя б на дне души
Пускай живет лицо твое. Ну, что же,
Пускай хоть голос твой звучит в ушах.
Сентябрь в цвету... И памяти кипенье
Сквозит во всех набросках и стихах,
И в каждой строчке, каждом предложенье.

ПОЛЧАСА

Я не владел тобой и вряд ли овладею...
Случайный бар, знакомство и вино.
И это все. Я, право, сожалею,
Что видеться нам больше не дано.
Но как чудесно, что воображенье,
Живя в душе избранников искусств,
Порой такое дарит наслажденье,
Такую остроту и свежесть чувств,
Что я вчера в распивочной дешевой,
Где хмель, густея, закипал в крови,
Тянул и мямлил, но, на все готовый,
Сходил с ума и бредил от любви.

Ты понял все... — не в этом дело!
Ведь полчаса, украдкой, словно тать,
Я видел губы, видел твое тело,
Дарованную встречей благодать.

КОГДА-ТО...

Опять хлопчешь ты, воспоминанье,
Хоть красок нет, и стерты все названья
За давностью тех юношеских лет...

Жасминной кожи жар, рубашка спит на стуле.
Когда мы встретились? Как будто бы в июле,
Но глаз твоих совсем не помню... Нет,
Помню — два сапфира, синий цвет.

С ДЕВЯТИ ЧАСОВ

Полпервого. Как время утекает!
Я в девять лампу засветил, к столу
Присев поближе. Как-то не читалось.
Поговорить бы! С кем тут поболтаешь,
Когда, как сыч, один сидишь в дому.

Да, ровно в девять лампу засветил я,
И ровно в девять сам я, молодой,
К себе пришел — беспечный, узкобедный,
И душный аромат мебелирашек,
Умерших шашней — дерзких и запретных!
Ворвался в комнату, поплыли пред глазами
Пустые улицы, где никогда я не был,
Кафе, театры, толчея, машины,
Где я бывал — с тобой, а может, нет.

И тело юное мое впотьмах качалось,
И тут печаль свой ларчик отомкнула,

И поползли семейные размолвки,
Разлуки, похороны — и над всеми
Любимых лица мертвые неслись...

Полпервого. Как пробежало время!
Полпервого. Как убежала жизнь!

КОРОЛЬ КЛАВДИЙ

Да, мысль моя далеко унеслась!
Брожу под гулким сводом Эльсинора,
Кружу себе один и вспоминаю
Печальную историю про то,
Как в этих стенах был убит король
Своим племянником, беспутным малым,
Из-за какой-то идиотской бредни.

Простой народ оплакал короля
Тайком (ведь все боялись Фортинбраса)
И горевал — хороший человек
Был этот Клавдий, тихий, миролюбец
(Его покойный братец всех извел
Своими войнами и ратной спесью),
Так обходительно он говорил,
Будь ты простолюдин иль дворянин,
Не своевольничал, в делах державных
Держал совет с серьезными людьми,
Прислушивался к их речам разумным.

Но так всем и осталось невдомек,
За что племянничек его прирезал.
Принц заподозрил Клавдия в убийстве,
И все из-за чего: однажды ночью
Прогуливался принц и с перепугу
Привиделся ему какой-то призрак,
Заговорил с ним, то да се,
Короче, этот призрак и сказал,
Что Клавдий не виновен в преступленьи.

Судите сами: можно ль было верить
Морочеству или обману зренья,
(Принц был, конечно, парень нервный —
Еще когда учился в Виттенберге,
То однокашники не зря считали,
Что он с приветом и притом большим).

Немного погодя явился принц
В покои матери, чтоб обсудить
Семейные дела. Все шло чин-чином,
Как вдруг наш принц, не помня сам себя,
Стал дергаться, кричать и бесноваться —
Как оказалось, призрака увидел
Опять, а мать-то не видала ничего.

И в ту же ночь, наверно, от расстройства
Прирезал одного он старичка
Придворного. Узнав про это дело,
Король, не мешкая и не воляня,
Решил Гамлета в Англию отправить,
Чтоб малость образумился чудак.

Но тут народ, убийством потрясенный,
Пришел в такую ярость и волненье,
Что поднял бунт и начал штурмовать
Дворцовые ворота. А Лаэрт,
Сын старичка, приконченного принцем,
Над всеми верховодил — (добрый малый,
Хотя и не лишенный честолюбья,
И кто-то из его друзей в запале
Вскричал: «Да здравствует король Лаэрт!»).
Потом, конечно, все угомнилось,
Король, своим племянником убитый,
Спал вечным сном уже в могиле,
(Принц ни в какую Англию не ездил,
Удрав на полдороге с корабля),
Но появился некий тип Гораций
И стал дружка Гамлета обелять,
Рассказывать публично небылицы,
Что, дескать, был какой-то тайный сговор,
Что принца в Англию послали с целью,
Чтобы потом убить на корабле
(А доказательств не было в помине).

Твердил он об отравленном вине,
Что будто бы король подсыпал яду,
Так, дескать, говорил ему Лаэрт.
А может, он наврал или ошибся,
Что ж он, Лаэрт, не человек?
И было ли бедняге до рассказов?
Сам ранен был, и умирал в мученьях,
Ну, может, что в бреде и наболтал.
А что до шпаги, смазанной отравой,
Так после выяснилось, что ее
Нанес на сталь не Клавдий, а Лаэрт,
И в этом сам Гамлету повинился.

Тут друг Гораций призрака призвал
В свидетели, совсем уже рехнувшись,
Мол, так и так нам призрак говорил,
Мол, то он делал, а того не делал.
И, выслушав бессвязный этот сказ,
Народ разжалобился еще пуше,
Скорбя о бедолаге-короле,
Ведь из-за призрака и небылиц
Его прикончил чокнутый племянник.

А Фортинбрас меж тем надел корону
И, рыбку в мутной выловив воде,
С большим вниманьем выслушал те враки,
Которые Гораций наболтал.

Марина ЦВЕТАЕВА

* * *

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет.
Той страны на карте —
Нет, в пространстве — нет.

Выпита как с блюда:
Донышко блестит!
Можно ли вернуться
В дом, который — скрыт?

Заново родися!
В новую страну!
Ну-ка, воротися
На спину коню

Сбросившему! (Кости
Целы-то — хотя?)
Эдакому гостю
Булочник — ломтя

Ломаного, плотник —
Гроба не продаст!
Той ее — несчетных
Верст, *небесных* царств,

Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России — нету.
Как и той меня.

Париж, 1932(?)

ДИКТОР

Нельзя описать того, что есть фронт,
нельзя подчинить перу
того, о чем радиодиктор* врет
каждый день поутру.

Не то что событие не произошло —
факт верен, а в голосе ложь,
хотя б его радостью потрясло,
хотя б его бросило в дрожь.

Там бешенством вспыхивают небеса,
земля взмывает, трубя,
там грохот, как будто природа вся
выведена из себя.

Там звезды — в ранах, солнце — в крови
течет на передний край.
Там сердце руками останови
и гарь губами собирай.

Там жизнь. Да что мы знаем о ней?
Ей высчитан срок до конца.
На командира двенадцать дней
и восемь дней на бойца.

Но там, опершись на товарища (взгляд
из-под опаленных век),
поверишь, что дело идет на лад,
почувствуешь — жив человек.

А диктору вложат бумажку в рот,
и снова, в ночь заведен,
глухим равнодушьем обложит фронт
выхоленный баритон.

* Имеется в виду известный советский диктор Левитан.

О, безукоризненный джентльмен,
о, чувств неприступных дзот,
неужто существенных перемен
в душе Вашей не произойдет?

Чистополь, 1941.

* *
*

Сколько было нас? Хлебников, Блок и Марина Цветаева,
Маяковский, Есенин — всей певчей дружины число.
Сколько светлых снегов, отсияв, уплыло и растаяло
и по мелким ручьям в океан-глубину утекло.

Кем мы были? Цветами, листьями, зарницами, звездами,
доказательством наших недаром промчавшихся лет,
вашим отблеском, вашей мечтой, вашим будущим созданы,
только видно не вовремя мы появились на свет.
Оттого и разбиты, размыты, измяты, разметаны.
В оглушенный разрывами, полный тревогами час
все равно — мы — любимые дети разгневанной родины,
мы когда-нибудь станем свидетельствовать о вас.

Чистополь, 1941.

«С фонарем обшарьте» Цветаевой, попавшее к нам в руки из ее Базельского архива, пополняет ее лучшие стихотворения 30-х годов; «Сколько было нас...» и «Диктор» публикуются на страх и риск — вопреки устойчивому мнению, согласно которому Цветаева не написала по возвращении в Россию перед Второй мировой войной ни строчки. Ариадна Эфрон оспаривала авторство этих стихотворений, ссылаясь на отсутствие их рукописных оригиналов и находя в стихотворениях чью-то искусную мимирию характерного цветаевского стиля. Публикуемые тексты в свое время списаны Х. с копии Николая Тихонова; с другой стороны, как известно из достоверного источника,* оба текста находятся в архиве Николая Асеева,

* Из соображений безопасности этих лиц, живущих в СССР, мы почли своим долгом не указывать их имена.

к которому Цветаева ездила в Чистополь в августе 1941 года (очевидно, проведя там 24, 25, 26 августа). Вернувшись в Елабугу, 31 августа она покончила с собой. Не удивительно, что в стихотворении «Сколько было нас...» Цветаева уже числит себя в списке-мартирологе русских поэтов, из которых Есенин и Маяковский тоже кончили счеты с жизнью. В августе сорок первого Ариадна Эфрон находилась в ссылке и по понятным причинам не могла видеть оригиналы. Возможно, среди скудного имущества, оставленного Цветаевой в елабужской избе, этих оригиналов и не было — скорее всего они остались у Асеева и находятся сейчас в его архиве. В последующие годы он из осторожности, очевидно, предпочел не выпускать их из рук. Неярко и даже небрежно отдельные строк в «Дикторе», возможно, объясняются скорописью — стихотворение явно написано разом и не подвергалось правке. Но сомнительно, чтобы кто-то из современных Цветаевой советских поэтов мог столь безошибочно симитировать ее очень характерную дикцию в строфе:

*О, безукоризненный джентльмен,
о, чувств неприступный дзот, в
неужито существенных перемен
в душе Вашей не произойдет?*

Геннадий ШМАКОВ

Михаил КУЗМИН

Л. Р.

Отяжелев, слова корой покрылись.
Скорей косматый разбивай кокос!
Пока слизняк из домика не вылез,
Высокий тополь к небу не пророс.

По шахте катится, крутятся, граната.
Курган Малахов! Взрывы и восторг.
Девятый месяц семенем богата...
Прорыв кровавый крика не исторг...

Терпение! О! О! О! О!... мой милый!
Как розово засвиристел Апрель!
Воздушною, зеленою могилой
Младенчески качнется колыбель.

20 окт. 1924 г.

ОРФЕЙ

Л. Ракову

Мольба любви, тоска о милой жизни,
Прозрачные наплывы позолот,
Загробен жемчуг голубино-серый,
Тлетворна палевость пустых болот,
Внизу все глуше фурий вопль... И вот
Смерть сражена любовью и верой.
Назвать ли хочешь райское виденье —
Произнеси — «Гармония» О, Глюк!
О, Головин, печальный маг! Томимый
Нездешней сладостью, мне каждый стук

Сердце затихших слышим... Нежный друг,
Одной волной с тобой унесены мы...
Отходная веселым дням весенним,
Иль обещание краснейших дней?
Пророчество, предвестие, сомненье?
Улыбка глаз звала всего сильней.
Пусть, кудри разметав, грустит Орфей.
По-новому благословлю томленье.

1924 (?)

* * *

Злой мечтательный покойник
Держит жизнь мою в плену.
Сватья меряет повойник
На немилую жену.
Что нажили,
То пропили, —
И клонит нас ко сну.

По костяшкам разложение
Тушей гнойною ползет...
Вычитанье и сложенье...
Мертвых дней дубовый счет.
И что вдали,
И что вблизи,
Никто тут не поймет.

Только снятся новолунья
В золотом шитье вельмож.
Швейка, душенька, певунья,
Саван шьешь ты и поешь.
Поспорит ли,
Распорет ли
Гроба крестильный нож.

Уколи иголкой руку —
Настоящей каплет кровь.
Хоть бы скуку, хоть бы муку,

Баба-сватья, приготовь...
И пленница
Запенится
Живучая любовь.

18 декабря 1924 г.

* * *

«Вселенную! Ну, привольно!»
В клетки запел слепой скворец.
Ты помнишь: «Пэт, совсем не больно!»
И в ванну падает отец.

Но в высоту ли, в глубину ли
Забагровел седой прыгун,
Когда пеленки затянули
Глухую муть глазных лагун?

Вспорхну я выдуманым пухом,
Пускай гниет смешной старик!
По озеру над царским духом
Плывут подтяжки и парик.

И бросилась к щекам щетина
Небритого гниенья сад.
На зелень зазывает тина,
Но не поднять ноги назад.

Одна уступка разделенью...
Держите крепче! Я пропал!..
Но эти дни меж днем и тенью!
Бессчетный счет московских шпал!

30 мая 1925 г.

* * *

Золотая Елена по лестнице
Лебедем сходит вниз.
Парень, мнущий глину на задворках,
Менее смешон, чем Парис.

Тирские корабли разукрашены —
(Белугою пой, Гомер!)
Чухонские лайбы попросту
В розовой заводи шхер.
Слишком много мебели
Шелухой обрастает дом.
Небесные полотеры шепотом
Поставили все вверх дном.
В ужасе сердце кружится...
Жарю, кипячу, варю...
Прямая дорога в Удельную,
Если правду заговорю.
Покойники, звери, ангелы,
Слушайте меня хоть вы!
Грошовыми сережками связаны,
Уши живых — мертвы.

Ноябрь 1926

Андрей НИКОЛЕВ

Если бы стихотворения Андрея Николаева (псевдоним Андрея Николаевича Егунова — 1895—1968) были напечатаны в 30-е или 40-е годы (пору их написания), сегодня его сборник «Елисейские радости» стоял бы на полке русской поэзии рядом с «Параболами» Михаила Кузмина и «Опытами соединения слов посредством ритма» Константина Вагинова, близких друзей Андрея Николаева и единственных поэтов, на мой взгляд, которые оказали влияние на его поэтическую дикцию. Николев-поэт — по причинам трагическим и настолько общим, что граничат с тривиальностью судеб русских поэтов и литераторов в 30-е годы — остался в неизвестности, уступив место А. Н. Егунову, чье имя — переводчика и филолога — известно в сегодняшней России узкому кругу знатоков и любителей древнегреческой литературы (переводы «Эфиопики» Геллиодора, «Государства», «Федра» Платона и др.) и ее отражения в русской словесности (превосходная книга Егунова «Гомер в русских переводах XVIII—XIX вв.»). Для тех, кто знает в России работы Егунова-филолога, а в широком смысле — редкостного знатока русской и европейской культуры, Андрей Николев-поэт дополняет своего утонченного двойника; для непосвященных стихи Николаева — еще одна страница первоклассной русской поэзии XX века, в сокровищницу которой с преступным опозданием вольется его будущий сборник «Елисейские радости».

Геннадий ШМАКОВ

* * *

В седьмом часу не щедры зори,
И спят еще снежок и льдинки.
Гулять идет народец хмурый.
Внутри двора забор и дворик,
кругообразная фигура,
ее свершаешь неуклюже,
ведь без шнурков твои ботинки,
чтобы на них не мог повеситься.
Висит предутренняя стужа
на незашедшем свете месяца.
И свежий саван даровой
все обвивает нежным снегом,
снежинок вихорь круговой

сравняться хочет с мыслью бегом:
не стоит рваться в мир иной —
он здесь уже, и без молений,
ты промелькнешь, как неземной,
среди твоих минутных тлений.

Из книги «Елисейские радости»

1.

Невнятное находит колыханье.
Синеть, сквозить — ни радость, ни страданье.
Когда волнистая меня скрывает мгла,
струясь, мое двоятся очертанье.
События, и планы, и дела —
простая тень, которая легла,
вся синяя, на бережку пригожем.
Но сами облака — событие. Приник
прозрачной влажностью этот миг
и отступает, мной отягощенный,
моими душами и запахами кожи,
чтоб дальше течь, сникать, не мочь, не сметь,
и на песочке теплом — замереть.

2.

Нанюхался я роз российских,
и запахов иных не различаю
и не хочу ни кофию, ни чаю.
Всегдашний сабель блеск и варварство папах,
хоронят ли иль Бога величают
иль в морду мне дают, остервенясь —
скупаю меж соотечественников немусикийских,
но миром тем же мазан и пропах—
кто долго жил среди плакучих роз,
тому весь мир ответ, а не вопрос.

3.

Я не люблю воспоминаний не одетых:
хватает пестрых лоскутков на свете,
но для торжеств, справляемых сейчас
на небесах в прозрачный этот час,
в костюме лазоревый, небесного покроя
невольно облекается бывшее.

Не для того, чтоб облачно ложью
переиначить золотистость Божью,
но безобразящей не терпят наготы
златовоздушные прорывы и мечты,
и молодость небывшая, и ты.

4.

В стране советов я живу,
так посоветуйте же мне,
как миновать мне наяву
осуществленное во сне?
Как мне предметы очертить
и знать, что́ я, а что́ не я —
плохой путеводитель нить,
бесплотная, как линия.
Действительность скользит из рук,
почти невысказанный предел
мне примерещился и вдруг
вещественностью завладел.
Гоню математичность в дверь,
довольный тем, что окон нет —
невинностью она как зверь
и для меня, и для планет.

5.

И неулегшиеся волны
колышат прошлого ковчег,
набитый туго двойниками:
семь пар нечистых, чистых семь —
уединенье! слабый счет
преувеличен зеркалами.
Внутри хозяин — самовар
дает предутреннейший пар,
любимая статуя на диване —
коллекция уюта. Голубок
клюет мои заломленные руки,
оливковая ветвь в окно стучит,
давая знак, что пляшет сельский вид,
и сам ковчег, и все друзья, и други.

Для наших русских — русичей иль россов —
среди помойных ям и собственных отбросов
мир оказался тесен, и в ничто
они себя спихнуть старались разом.
Пустые розы на откосе у траншеи,
уже пустой
болтаются, как голова на шее,
и шепотом кивают соловьям,
зиянье ям преображая в песнь:
вы, вы вымерли, и мы хотим за вами,
о Боже мой, кто нас сорвет,
кто нас возьмет домой,
в жилище призраков и русских и российских,
убийственных, витийственных и низких?

7.

Хорошо, что Востока в нас много,
на Востоке всегда больше Бога,
облака вроде пестрой парчи —
пей и бейся, и криком кричи.
А в сиротстве Европы убогой,
там у дамы всегда узколобой
целованье руки под луною.
Нет, мы скорбны назолой иною,
о, таилище, о, прельщенье,
к преизбыточному влеченье!

8.

«О, ангел милый, дорогой,
ты страшных песен сих не пой
и темнотой меня не мучь,
мне этот вечер так тягуч,
и да, и нет — один конец:
оледенелое окно —
общедоступный леденец.
А был когда-то ранний час,
и были ласковы сугробы,
я шел на рынок, чтоб достать

на три рубля конфеток пять,
о тайнах вечности и гроба
тогда мы рассуждали оба,
мы их извели в постели
не как-нибудь, а в самом деле,
нет, нет, о, милый, дорогой,
не пой, не пой, не пой, не пой!
Но ангел вьется, ангел вьется,
о потолок крылами бьется,
и с поколебленной им люстры
срывается граненый сгусток,
с мгновенным звоном упадет,
лежит в тарелке и не тает,
семью цветами отливает.
Как это просто, о-ля-ля,
да будет пухом мне земля,
приятен суп из хрусталя.

9.

Я полюбил и раннее вставанье:
отрада старости моей —
чуть обнаруженных вещей
предутреннее очертанье.
Эта испарина полей —
нежнейший межпредметный клей,
почти сквозной, почти что млечный.
По миру растекусь, конечно,
смягчающей и смутной дымкой.
прежде чем стану невидимкой.

1947



Юз АЛЕШКОВСКИЙ

ДВА ПОКАЗАНИЯ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «РУКА»

Когда в моем воображении стал возникать сюжет, вернее, образ «Руки»* образ романа, он показался мне невероятным: полковник КГБ, яростный враг советской власти и одновременно ее кровавый сатрап, палач... Мститель...

Но как говорил Ф. М. Достоевский: ...«Это — настолько невероятно, что случается ежеминутно...»

И, действительно, главная, на мой взгляд, невероятность феномена советской власти в том, что буквально все, за исключением параноиков, знают и чувствуют ее глубочайшую нравственную и экономическую порочность, ненавидят ее, презирают, обворовывают, внутренне игнорируют, но так или иначе работают на нее, на ее окостенение, на ее бесовскую, рядящуюся в мессианскую и освободительную агрессивность, на ее двуликие лозунги, на ее не контролируемую народом мощь, на гибель в конечном счете современной цивилизации.

Несмотря на все это крепнут и крепнут — их уже не остановить и не уничтожить — попытки осознать художественно и философски то, что остается невидимым за навязчиво крикливым рекламированием технических и социальных достижений, мнимого расцвета

* В ближайшее время роман Юза Алешковского «Рука» выходит на русском языке в ньюйоркском издательстве «Руссика»

духовных богатств народов и т. д. — МЕТАФИЗИЧЕСКУЮ СУЩНОСТЬ советской власти, как небывалой в истории тирании, с дьявольским коварством замешанной Бесами на святых Человеску идеях истины, добра и свободы.

Одной из таких робких попыток я рассматриваю свою работу над романом «Рука», романом о трагических судьбах палача и его подследственных — преступных злодеях и невинных жертвах тотального террора.

Юз Алешковский

Вот выдержки из письменных показаний покровителя людей и животных Фрола Власыча Гусева. Я сидел в кабинете, а он все писал и писал. Так... Так...

Я, Фрол Власыч Гусев, обвиняемый в том, что в различных общественных местах, используя служебное положение ветеринара первого участка Сталинского района г. Москвы имени Воздушного Флота, доказывал несомненное существование в каждом советском человеке и в жителях других стран, сохранивших законные правительства, уважение к традиционным институтам культуры и морали, равно как Бога, так и Дьявола, именуемого в просторечьи Сатаной, Чертом, Асмодеем, Нечистым, Лукавым, Шишигой, Отяпой, Хохликом и другими кличками, олицетворяющего собою ЗЛО, и могу по существу дела показать следующее.

25 октября (по старому стилю) 1917 года, находясь в служебной командировке и услышав внезапно пушечный выстрел, оказавшийся впоследствии выстрелом крейсера «Аврора», я понял, что ДЬЯВОЛ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ, ЛИШИВШИЙСЯ, ВРЕМЕННО РАЗУВЕРИВШИЙСЯ ИЛИ ЖЕ УБИВШИЙ В СЕБЕ БОГА. Остановленный офицерским патрулем по причине остоленого стояния на Аничковом мосту с улыбкой высшего озарения на устах и сияющим светом во лбу; на вопрос: почему ты, болван, окаменел в такое гибельное время, я незамедлительно ответил, чувствуя радость, высший подъем души и одновременно ужас, слабость и мрак:

— Как Царство Божие внутри нас, так внутри нас и пекло Дьявола, господа офицеры. И Дьявол — это наш разум, лишенный Бога.

— Абсолютно правильно! — вежливо и грустно поддер-

жал меня один из офицеров, за что я ему лично по сей день благодарен и прошу привлечь меня по статье № 58 УК РСФСР за участие в офицерском заговоре. Второй офицер был, что вполне объяснимо, груб. Он спросил:

— Где ты раньше был, философ херов? Гегель засранный?

Не дожидаясь моего ответа, офицеры вытащили пистолеты и бросились с криками бежать вниз по Невскому...

Медленно бредя по набережной Мойки, я явственно ощущал себя драгоценным сосудом и местопребыванием двух изумительных субстанций — Богоподобной, бессмертной и бесконечной — субстанции Души (в различиях — Духа. Кто читал, не помню) и не менее прекрасной, Божественной, но, к сожалению или же к счастью, тленной, не вечной, так сказать, личной — субстанции Разума.

Вновь очарованно остановившись, я поднял изумительно легкую голову и разрыдался свободными и светлыми слезами. Я стоял у дома, в котором скончался от смертельной раны в брюшину Александр Пушкин. Очевидная неслучайность местоположения моего потрясла меня до основания. Из окон квартиры Александра Сергеевича лился свет. Мимо меня, подъезжая к подъезду, сновали экипажи и кареты. Из-под медвежьих полостей и белого сукна выскакивали неопишущей красоты дамы и лица мужского пола, имена и фамилии которых категорически отказываюсь переложить на сию казенную бумагу. Еще на улице, подхваченные музыкой, фамилии автора которой я предпочел бы не называть, они, впорхнув в зовущий подъезд, скрывались с глаз моих. И вдруг к одному из окон приблизилась знакомая мне с детства и, можно сказать, родная фигура поэта. Без видимого выражения на лице смотрел он сумерки любимого града, словно не обращая внимания на доносившиеся со стороны Невы выстрелы и вопли безумных толп.

— Сия дуэль — ужасна! — так сказав, поэт отдался в руки подошедшей к нему красавицы-супруги. Их захватила мазурка и в окнах погиб свет. Переполненность моя чувствами была такова, что я немедленно излил душу кучеру богатейшего экипажа, примет которого не запомнил. Я воскликнул:

— Друг мой! Воистину не было, нет и не будет у Российской истории примера более совершенного и гармонического существования в одном всенародном гении, навеки обрученной Творцом при сотворении Пары — Души и Разума.

— Проваливай, пьянь! Небось баба ждет! — добродушно ответил кучер. Он показался мне глубоко родственным человеком, а его наивнейшее непонимание смысла мною сказанного — восхитительным. Дело еще в том, что я не был пьян. Я был Фролом Власычем Гусевым. Невесть откуда взявшаяся толпа увлекла меня за собой. Она была пьяна, черна и весела, как хамский поминальный траур.

— Кто умер, господа? — естественно спросил я. Раздался дружный гогот.

— Пушкин! — радостно крикнул молодой чиновник, оказавшийся впоследствии двумя писателями: Валентином Катаевым и Владимиром Маяковским. Они оставили меня бессильно повисшим на парапете набережной. Осенняя река дышала в мою душу темным холодом горя. Она горестно всхлипывала, когда излетный свинец салютующих в небо ружей толпы падал в горькую воду. Порывы ветра тут же разметывали расхидившиеся на воде круги, рябь хоронила их и мчала прочь. Не помню, гражданин следователь, сколько я так простоял. Опомнился я от забытья, когда абсолютно безликий, юркий человечек в пенсне, явно не имевший возраста, отрекомендовался мне Разумом Возмущенным и потребовал снять с плеча шинель чиновника ветеринарного ведомства. Я это незамедлительно сделал, не испытав ни малейшего чувства утраты. Бесчувствие сие происходило, полагаю, от уверенности, внушенной мне частью великих русских мыслителей, в том, что моя шинель рано или поздно тоже должна быть снята Страшною Силой. Вынув из кармана мундира карандаш и бумагу, я написал впервые в мире на вмиг отсыревшем листке имя и фамилию грабителя: Разум Возмущенный. Я продрог до основания, а затем, затем я скомкал листок и бросил в воду. Ветер подхватил его. Глаза мои следили, когда он канет в Лету. Письмо свое я адресовал Акакию Акакиевичу Башмачкину. Текст моего письма не может быть открыт следствию до Страшного Суда.

Затем я присел на тротуар, что может подтвердить свидетель Ключкин, разорванный в 1923 году на части при попытке не допустить осквернения и разрушения толпой Храма Господня. Я присел на тротуар. Миазмы болотного смрада сочились сквозь каменную плоть города, восставшего на Бога. Мне стало дурно. Штурмуя небо в моей шинельке, Разум Возмущенный с вершины Александрийского столпа хрипел песню: «и в смертный бой всегда готов».

Новый порыв пронизанного дождем ветра сорвал со столпа безликого, юркого человечка, и если бы не мои протянутые руки, быть бы ему разбитым вдребезги. Но он оказался неестественно легок. Вес, собственно, имели только шинелька, пенсне, кашне, свитерок, брючки и старенькие ботинки с ишамканными калошами. Плоть же человечка была как бы невесомым пухом.

Я отнес его на руках в близлежащий трактир. Веселье пьющих там омрачалось висевшей в клубах табачного дыма скорбью. Я сел напротив безликого человечка и огляделся... За замызганными столиками пили, пели и плясали существа, как две капли воды похожие на моего грабителя. Но возмущены они были по-разному, так же как по-разному были мертвы их подружки-Души. Что все эти существа пели, ели, пили и плясали, я не смог разобрать при всем своем желании. К нам подошел половой — разбитной малый, назвавшийся на вчерашней очной ставке Вячеславом Моисеевичем Буденным — Ульяновым Львом Давыдовичем.

— Мне чего-нибудь идеального, — попросил Разум Возмущенный. Я же поинтересовался чаем с бубликами и земляничным вареньем. Половой довел до моего сведения, что с этой минуты в трактирах и кабаках необъятной Российской Империи ни бубликов, ни земляничного варенья не будет уже никогда. Жамэ, добавил он по-татаро-монгольски.

Я дрожал от озноба и тоски, но бесцветный и холодный чай не согрел меня и не напоил.

— Ну-с, — спросил я своего визави, разделявавшего какое-то блюдо на совершенно пустой тарелке, — а где же ваша подружка, где же ваша жена? Почему вы одиноки?

— Я бросил ее! — и Разум Возмущенный поведал

мне, легкомысленно улыбаясь, историю своего освобождения. — Решение бросить Душу созревало во мне давно. Но, как говорится, вчера было рано, а завтра — поздно. Логично? — Я кивнул и заткнул уши, чтобы не слышать рева пьяных Разумов: «Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!» Мой визави продолжал: — Не стану скрывать: Бессмертные Души с какого-то времени стало меня ужасно раздражать. Кстати, детства своего я не помню. Его как бы не было вовсе. Да-с. Ра-здра-жать!.. Почему, спрашивается, я, можно сказать, всемогущ, заглядываю, как к себе домой, в тайны материи, суечусь, кручусь, химичу, шнуруюсь, гад морских, заметьте, изучаю, дольнюю розу в гербарии имею, вес Земли знаю, правило винта — ночью разбудите — скажу, гену без очков вижу, у вас, кажется, девятой хромосомы не хватает, батенька. О скорости света, пересекающихся параллельных, моем лаборанте Рентгене я уж не говорю. Лелею мечту захранить теорию общего поля, кварки отыскать, новый порядок навести в микромире и сигануть в макрокосмос. Руки чешутся дорваться до черной дырочки, до любопытнейшей, притягательнейшей черной дырульки! Да и в искусстве я давно не чужак. Столько «измов» наплодить — это, батенька, всяким Бенвенутам Ван-Гогам Рублевым не снилось. Короче говоря, я — Разум — с ног сбился, днем и ночью мозгами шевелю, а они ведь не бессмертны, вроде моей Душеньки, они у меня, позвольте заметить, тленны-с! Им не дано за смертные пределы заглянуть, в отличие от некоторых, не будем показывать пальцем. Им, мозгам, второй закон термодинамики покоя не дает, холодеет ведь все на глазах, спасать надо, а Душу он, извините, не херит! Она вообще сидит сложа руки или свернувшись кошечкой, ловит мгновение в нашем общем Теле, оставляющем желать много лучшего в смысле конструкции, возможностей, запаса прочности, уязвимости, возмутительного принципа бионесовместимости и беззащитности перед лицом игры случайных сил природы. Я жажду коррекции Тела и поставил эту проблему перед инженерной биологией. В сказанном нет ни грама лжи и преувеличения моих заслуг, любезный...

— Фрол Власыч Гусев — покровитель людей и живот-

ных, — представился я. — Еще я Пушкина люблю, крепкий чай с бубликами и земляничное варенье.

— Да-с, Фрол Власыч! Душа бесконечно ленива в силу своего гарантированного бессмертия и именно поэтому эгоистична как собственное «Я». О-о! Мы большие эгоистки!.. Мы говорим: ведь дней и миллионов лет у нас много. Зачем ты, Разум, суетишься? Лови, как я, мгновенье... Слышите? Я должен ловить какое-то несчастное мгновенье, разбрасываться по пустыкам, когда дел невпроворот, когда несовершенно все, буквально все изобретенное мною, кроме колеса. С колесом уже ничего не поделаешь. Несовершенное меня злит, но и совершенства я терпеть не могу, поскольку считаю покой мешанством. «Лови мгновение!» Одним словом, сказалась однажды разница в возрасте и в отношении к трем ликам времени. Я говорю: хорошо тебе толковать о Царстве Божием, тащить меня в него, а я царство Божие на Земле хочу построить, если я действительно богоподобен. Ты посмотри, говорю, Душа моя, что в мире происходит! Бардак в труде и капитале, эксплуатация, войны, болезни! Ге-мор-рой! Как можно было, выпуская человека, проморгать геморрой? Тут она расплакалась. Слезы. Почему Он изобрел слезы для очищения глазного яблока от пыли и мусора, а использует их преимущественно одна Душа не по назначению, для целей, далеких от промывки зрачков и белков? И так во всем! Не ра-ци-о-наль-но! И наоборот, возьмите, Фрол Власыч, член нашего тела. Почему в случае со слезами Душа считает, что слезы и плач о какой-нибудь погибшей собаке отличают нас от животных в хорошем смысле, а член, жаждущий разнообразных удовольствий, наломавший немало дров в искусстве, жизни, политике и финансах, член живой, беспокойный, неутомимый, авантюристичный, бедовый, должен как раз уподобиться члену крота или же тигра, функционируя исключительно по расписанию, как орган деторождения? Почему?.. Что за диалектика? То отличайся, плача, от свиньи, то будь сдержан в желании, как динозавр. Недаром они передохли от расписания. Логично? Но это все чепуха! Мы, я убежден, произошли от обезьяны, а главное: идей нет никаких у Души. Как же можешь ты, вскричал я однажды, без

идей? Опять заплакала Душа. Мне, говорит, просто нравится жить. Мне совсем не нужны идеи. А цели, спрашиваю строго, у тебя есть? Или тебе и цели не нужны? Нет, говорит, не нужны. Жизнь сама есть идея и цель. Вот до чего мы докатились, Фрол Власыч! Совместная идея и цель стали лично мне неведомы. Вечная ревность Души к моей служанке Науке сделалась безрассудной и навязчивой. На каждом шагу поученья. Мораль. Внушение образа жизни... Еще чайку?

— Спасибо, это — не чай, — ответил я вежливо и грустно помешал ложечкой свинцовую жидкость, накопившую в мой стакан с тучи катаклизма.

— Тебе, говорю, хорошо проповедовать любовь к ближнему, к миру, к цветочкам и козочкам! Ты бессмертна, а я тленен! Тленен! Вот скончается это наше тело, в котором мы живем тридцать четвертый год, и тогда что? Что? Ты ведь не лги, что ты не мечтаешь об этом, тут же перейдешь в другое тело, а я? Я куда денусь? В тартарары? Спасибочки! Надо брать от жизни все, что можешь! И я возьму! Я не один! Нас миллионы, возмущенных таким порядком вещей! Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!.. Чувствую: не выдержит сейчас обиды и уйдет Душа. Ан — нет. Только болит и плачет! В садизм меня вводит! А с кем ты, ору, до меня жила? Что ты ему, тому, говорила? Тоже Богом страшила? Меня не пострашаешь! Нету твоего Бога вовсе! А если есть, то почему он мучиться заставляет, заперев на семь замков свои тайны? Геморрой зачем телу, а тебе страдания? Зачем богатые и бедные, веселые и неудачливые? Зачем таланты и трамвайные контролерши? Почему Вера Холодная и Дунька Горбатая? Антиномии на хрена, я тебя спрашиваю, Душа? Трагедии, может, тебе нужны? А я в них не нуждаюсь! Если твой Бог не снимает трагизма существования, то я сам его снимаю! Я сам по себе! Я в конце концов не только мир насилия могу разрушить, а вообще сдвинуть планету с оси! Сегодня нету опоры — завтра будет. Придумаем. Нарисуем... Ссора, короче говоря, ужасная. Уже без слез, правда, но с упрямством с ее стороны, настырностью и отсутствием логики, и обвинения в говнистом характере. Самоубийственно, говорит, ведешь

ты себя, Разум. Гордыня у тебя появилась, не говоря о Науке. А ведь могли бы мы жить душа в душу, как в детстве, или как мудрые люди живут. Могли бы. Но ты, говорит, изменник! Иное тебе дороже, чем я, чем наша нелегкая, единственная жизнь, чем мир, который ты хочешь переделать. Если ты устал его объяснять — отдохни. Переделаешь ты мир только к худшему. Давай к морю уедем.

— Да! — отвечаю. — Вам не скучно, Фрол Власыч?

— Продолжайте, пожалуйста. Я слушаю вас с большим интересом, — ответил я.

— Да! — отвечаю. — Не могу я переделать мир к худшему моею собственной рукой, а главное, с моей великой идеей диктатуры пролетариата, которая будет такой могучей и всеобщей, что государство само собой подойдет под нею, как змея под тяжелой колодой. И не мешай нам, не мешай! Я имел в виду себя, служанку-Науку и Гордыню. Гордыня — изумительная бабенка! Такую штучку умеет преподнести, что распалает огненно и даже удовлетвориться не дает. В сладострастном напряжении по месяцу иногда удерживает. Мы, говорю, теперь в партии, при Великой Идее. Партия — единственное, что нам не изменит. И хватит с меня твоих надклассовых мыслишек насчет «не убий», «не укради», «почитай папу с мамой». Почему же не убить миллионера и не отхапать у него миллионы, нажитые на нашей крови и труде? Логично? Странно даже как-то не убить и не отхапать. Почему ты им прощаешь такое хамство, а меня призываешь к смирению, тред-юнионизму, эволюции, уважению общих с Морганом-Дюпоном-Рябушинскими ценностей? Какие у нас общие, говорю, ценности, если у меня одни неполноценности? Выбиваю этим вопросом почву из-под ног Души. Бриллианты? Поместья? Недра? Повара? Балы? Актрисы? Курорты? Дворцы? Может, заводы и фабрики? Сука — ты, говорю аргументированно, — ты жалким меня видеть хочешь, у меня шинели даже нету! Вот до чего я дошел! Мне на улицу не в чем выйти с двоюродными братьями по классу, чтобы всю власть Советам передать.

Поверьте, Фрол Власыч, в споре, пользуясь своим бессмертием, мы не гнушаемся никакими низкими контр-

аргументами. О-о! Тут мы особенно ехидны, циничны и безудержны! Тут мы показываем свое истинное лицо!

Ты, говорит она мне с убийственным прямо-таки спокойствием, чем талант свой пропивать, заработай и шинельку приобрети с ботинками новыми. Кстати, Фрол Власыч, какой у вас размер ноги?

— С детства не любя цифр, я покупаю обувь на глазок, — ответил я искренно. — Представьте себе, ни разу не ошибся, да и покупать обувь приходится не часто. К чему — часто?

— Большая странность. Размер ноги у вас не мой, а у меня, кажется, ваш. Так может быть? Или это новая реакционная антиномия?

— Может! — ответил я, простодушно рассмеявшись, что могла бы подтвердить Дарья Петровна Аннушкина, впоследствии ограбленная и изнасилованная бандитами по выходе из ломбарда, где она заложила обручальное кольцо по случаю голода детей. Хмыкнув и примериваясь ко мне взглядом, Разум Возмущенный продолжал:

— Тебе, — говорю, — приятно, когда люди пальцами показывают на мою неполноценность! Поэтому ты и толкуешь, пользуясь бессмертием, о ценностях, общих для меня и Рокфеллера! Архи-цинично это, мадам! И советами поэтому велишь перенебрегать сатанинскими!

О-о! Тут мы не выдерживаем! Тут мы прибегаем к самым низким уловкам, чтобы удержать некоторых под каблучком-с!.. С чего это я взял, что она бессмертна? Откуда такая невротическая уверенность у Вас (мы большие любительницы переходить высокомерно на «Вы») в серьезных гарантиях? Гарантий у меня, сэр, никаких нет. Я верую, счастлива, что верую, и хотела бы разделить с вами и веру и счастье вознесения молитвы к стопам Творца...

Но им, видите ли, грустно, бесконечно грустно (мы любим уверять, что все наши чувства — бесконечны, не менее!), когда всеми своими действиями я гублю ее, мою Душу, гублю и себя и ее, взбунтовавшись, изменив своему божественному назначению и начав служить ложной идее освобождения рабочего класса. От чего вы, сэр, хотите его освободить?.. В который раз приходится объяснять, что от власти капитала и эксплуатации человека человеком. Прибавочную же стоимость мы ста-

нем делить и богатеть, пока не придет коммунизм, где денег вообще не будет, а потребность трудиться станет такой же органической, как желание выпить и закусить. Заметьте, Фрол Власыч, как страшна и трудна совместная жизнь Разума и Души в одном Теле, если идеи и цели ей органически чужды! У нее ни разу, буквально ни разу не появлялось желания выпить... Мы в этом не нуждаемся. Мы пьяны от жизни. У нас перманентный восторг!.. От-вра-ти-тель-ный эгоизм-с! Каждый раз приходится склонять Душу к выпивке, но она от нее не пьянеет. Лишена кайфа-с!

Объяснил, от чего хочу освободить рабочий класс, а затем переделать мир на разумных началах.

О-о! Тут мы садимся на своего любимого конька! Вы, говорит, освободите рабочего, инженера и техника от власти Путилова, но еще более страшная и бессовестная сила сядет на рабочую шею — безликий государственный капитал, которым в свою очередь распорядятся сумасброды, самодуры, самодержцы всех рангов и самоубийцы вроде вас, восславляющие чужой труд и проклинаящие собственный.

Одумайтесь! Взгляните: я мертвею на ваших глазах... В таких случаях я вскипаю и, стоя буквально на грани парообразного состояния, дерзко парирую: Это — шантаж, мадам!

Мы, естественно — в истерику!.. Вы — разум, потерявший Бога! Одумайтесь! Каждый миг есть у вас возможность покаяния, прощения и воскресения. Неужели лишение кайфа тяжелей для вас потери Бога?

Сегодня, 25 октября 1917 года, я вскипел окончательно. Топаю ногой. Не будет, говорю, ее больше в этом доме. Живите тут со своим Богом. А мы как-нибудь не пропадем.

В этот момент, показавшийся мне, гражданин следователь, историческим, фантастическим, лишенным оснований логики, нравственности и человеколюбия, в трактир вбежал господин, смахивающий на черта. Он простер желтую длань над дымом и кипением возмущенных Разумов, воскликнул:

— Есть такая партия! — и сгинул так же молниеносно, как изначально возник.

— Вот как следует ловить мгновение! — восхищенно

сказал мой собеседник. — Позвольте, Фрол Власыч, не отклоняться, но проститься: мировые дела-с!

— Минутку! — смущенно сказал я. — А как же ваша Душа? Что с ней?

— Меня это не касается. Пока что мы оба исторически вынуждены пребывать в одном теле. Убежден, что недолго час, когда Разум восторжествует и над проблемой раздела жилплощади Тела. Почтище задачку сейчас решаем. Главное — кипение! Хотя выслушивать кухонные разговорчики о том, что я погубил Душу, что вокруг масса чудесных браков, и в гениях А, Б, В, Г, Д прекрасно уживаются друг с другом, любя жизнь и совершенствуя миропорядок, Души и Разумы, архи-пренеприятно. Будьте любезны, ваши ботиночки с калошками!

— Вы сами изволили заметить, что у меня размер не ваш, — резонно сказал я, на что Разум Возмущенный не менее резонно возразил:

— Это у вас размер ноги не мой, а у меня ваш размерчик, ваш. Мы подобные антиномийки сымаем по-своему. Канты мучались с нами, а мы — по-нашенски, вторую калошку, пожалуйста, скиньте, по-действительному, по-разумному... запасец пригодится. Всего вам...

— Фрол Власыч Гусев — покровитель людей и животных, — вновь подсказал я, не чувствуя ни малейшей обиды, но лишь скорбь и сожаление.

— Смело мы в бой пойдем за власть Советов и, как один, умрем в борьбе за это, — внезапно хором запели присутствующие и вытянуло их всех до единого мощною тягою вместе с дымом и паром из трактира, как если бы действовали снаружи смерчи и враждебные вихри.

На ваш прямой вопрос, гражданин следовательно: относился ли я сочувственно к революции и восставшим массам, отвечу так, ознакомившись предварительно со статьей У.К., предусматривающей наказание за ложные показания: о революции первый раз слышу. Восставших масс не заметил. Видел толпу безумцев, не ведающих что творят. Отнесся к ним сочувственно, предвидя злые последствия бунта. Захоронил в земле Летнего сада двух кошек, собаку, ворону и воробья, убитых

булыжниками пролетариата и шальными пулями. Подробней по существу дела могу показать следующее:

Кончал я свою ночную Одиссею босой и раздетый, но холод стоп своих превозмогал. Мимо меня сновали безликие кипящие возмущенцы и мертвые души. Я вновь, не заметив как, очутился у дома на Мойке. Окна его, к моему удивлению, сияли, и свет лился на улицу вместе с музыкой. Музыка была светла, как мудрая речь. Вновь к одному из окон приблизилась фигура вовсе не умиравшего поэта Пушкина и вновь, взглянув на черные сумерки, разрываемые то выстрелами, то сполохами, он скорбно сказал:

— Безумна сия дуэль!

Меня пронзило счастье общения с человеком, хоть что-то понимавшим и чувствовавшим в происходящем. И я пошел дальше, прочь из города, соболезна утратившим имущество и ближних. Я говорил, помня музыку, лившуюся из сияющих окон.

— Смирите вопль и не кляните Бога! Не глупо ли вопить: Боже! Если ты есть, зачем ты допускаешь безумие и гибель, освящаешь торжество зла, ужас войны и страдание невинных? Глупо, господа, глупо! Не вопите! То не Бог, то Дьявол творит зло! И Дьявол — есть наш Разум, утративший Бога. Он — в нас. Но, употребив не на благо дар Свободы, презрев мудрый завет, опьяненный своеволием, бросивший Душу, Разум творит зло как в истории рода, так и в людской одинокой судьбе. Бог ли учит нас вражде и равнодушию? Нет! Учит ли он брата восстать на брата, друга предать друга, и всех, как один, умереть в борьбе за ЭТО? Нет! Разум, утративший Бога и утрачившийся, стремится в Дьявольском безумии к еще более страшной для него смерти и находит ее. Но Разум, бесстрашно глядящий в тайну лика Смерти, благодарен самому малому мгновению жизни и имеет его, даруя себе и нам радостное одухотворение. Не вопите, обиженные и невинные! Рассмотрите того, кто возмущает вас и призывает сжечь в сердце завет! Вместо него он принес вам Советы. Он — Дьявол! Бойтесь его Советов!

Именно в этот момент к моим босым ногам пала, убитая на лету шальною пулей, ворона.

— Господи, — сказал я. — Спасибо тебе за ужас и радость жизни, за свет и мрак, за песню и смерть птицы, за жар и озноб. Спасибо за то, что в теле моем пребывают в невозмущенном упреками мире, согласии и детском удивлении Разум и Душа. Господи! Пошли мне, как птице, случайную смерть на лету! Спаси нас всех от Советов!

В добавление к сказанному показываю: умирая, ворона произнесла: «Кар». Мне кажется, как ветеринару, что она чего-то не договорила. Чего именно, сказать не могу.

К сему: Фрол Власыч Гусев, умирающий от доносов, но все еще живой покровитель животных и лже-свидетелей по его делу. Я их простил.

Я, Фрол Власович Гусев, обвиняемый не ведающим, что творит, гражданином следователем Василием Васильевичем Шибановым, чей год рождения и место мне неизвестны, в том, что я 28 февраля 1935 года «в два часа, не помню, во сколько минут, вышел из ресторана «Ермак» и вошел в Царство Божие, что во мне, полностью признаю себя виновным и могу по существу дела показать следующее.

Существо дела шло к весне. На ветвях фонарей набухли готовые распуститься почки. Каменные, покрытые инеем оттепели дома чесались о спины кошек и, отряхиваясь от розовых лапок сизарей, взмывали в бездонное, более чем обычно, небо. Площадь Павелецкого вокзала грелась под теплыми телами баб, прибывших в большую деревню. Боясь кинуться в каменный лес, бабы толпились у стоянки извозчиков. Здесь дымился, оживая под конским навозом, асфальт. Воробьи, озябнув за зиму, пьянели от горячей пищи. Трамвай похотливо, но добродушно звал к себе баб. Бабы пошли к нему со сладкой истомой волненья и страха. Уж больно хотел их трамвай. Недаром он назывался удивленным именем «А». Бабы пропустили его, а сели в тридцать пятый, названный так в честь цифры года,

родившего трамвай от одного небезызвестного маршрута. Увязавшись за ними, неведомо для себя почему, я немедленно возвратился к извозчикам, ибо все они сидели на своих облучках в позе Н. В. Гоголя на посмертном постаменте, но переодетые и загримированные в разные носы, глаза, прически, бороды, усы и общие лица. Ошибки быть не могло. Первый же извозчик в ответ на мое приветствие: «Николаю Васильевичу — наше с кисточкой!» грязно выругался, что, естественно, было вызвано объективными причинами; как-то: падением нравов, последовавшим за этим отсутствием достойных седоков, ценой на овес и нерегулируемой рождаемостью всевозможных неживых трамваев. Интеллигентный и мягкий по замыслу родителей и Родины, я сел в пролетку и воскликнул, повинувшись одному из многих моих внутренних голосов, равнополномочных в распорядительствах и повеленьях, касающихся непредусмотренных мною лично поступков... Прости, Господи, за неожиданное нашествие действительного причастия настоящего времени и страдательного причастия прошедшего времени...

— К паровозу, будьте любезны, проедемся с вами вместе, — воскликнул я, инверсируя непозволительно часто для трезвого человека.

— К которому? — спросил, вскинувшись и вмиг перестав походить на Н. В. Гоголя, извозчик.

— Привез... в Москву... за собой... который поезд... траурный с Ленина... телом, — ответил я, стараясь прекратить инверсии сдерживанием дыхания.

— Деньги вперед!

— Ста... жалуй... по! — с готовностью сказал я.

Расплачиваясь, я неосторожно высказал мнение о сходстве извозчика с маршалом Блюхером, на что тот возразил следующим образом:

— Ежели ты меня сразу обозвал и блю и хером, то я тебя не к паровозу отвезу, а в участок.

— Прости, человек! — взмолился я.

— Прощаю. Паровоз тебе зачем?

— Желаю Симбирск в немедленно уехать! Пора! Я пошел... в тупике... любезный! В тупике я!

Конь летел, как сейчас помню, аэропланной рысью. Вот уж мы недалеко от цели моего путешествия.

— Чу! — воскликнул я, чувствуя, что «Чу» это то,

что было после. Чудо! Но когда бы не воскликнул я «Чу!», то, значит, чудо было бы мне явлено сразу. — Стой, ямщик! Стой, сестра моя — лошадь! Вы живые символы моего покровительства. Я блю вас лю чень о!..

Один остался я наедине с чернеющим в легком и светлом тумане весны паровозом. Он надраен был до блеска нянькой-народом. Сверкали даже в тумане его воронье бока, сверкала грудь, горела медь в глазах, горела медь полосок и кругляшек, краснели смазанные маслом спицы стальных колес, черен был угольно тендер и безукоризненно сидел неизвестно на чем черный цилиндр трубы.

— Ты похож на игрушку детских лет Дьявола, — сказал я паровозу, вскочил, вцепившись в блестящие поручни, на подножку лесенки, и так привычно, словно влетал я в нее каждую смену, влетел в кабину машиниста. Влетел и, мысленно прощаясь со всем тем, что оставалось за окном и уже начинало обращаться вокруг меня по малому кругу жизни, спустил тормоза, закрыл, как говорится, сифон, открыл поддувало, поддал парку, кажется, в цилиндры золотников, и только чудом не сбив пивной ларек, распугивая усатых носильщиков с белыми слюнявчиками на груди, сделал разворот, мучительно стараясь при этом угадать: в рельсах я или вне их?

Ах, как было мне хорошо среди стрелочек, краников, стеклышек, трубочек, рычажков и колесиков! Как сладостно чихнул я от кислотинки дыма в ноздрях, и хрустнула, словно морская песчинка, на зубах моих крошка угля! Я как бы скромно закусывал первый выпитый глоток пространства, дрожа от восхитительного, неземного ощущения движения истории вспять и высовываясь из окна с тем, чтобы ветер высекал слезы из глаз моих и не позволял им срываться со щек, чтобы он под стук колес уносил с губ слова нелепой песенки: «Мой паровоз, лети назад и делай остановки. Стой, пожалуйста, подолгу на каждой. Я буду вишни покупать в кулечках из-под «Правды» и «Известий». И буду пить и буду пить в киоске газировку... Я так люблю, я так люблю-ю-ю любую остановку. Эх, кочегар, давай шуруй в горниле уголек».

— Чу! — воскликнул я снова, узнав в кочегаре, вышед-

шем из тендера, моего старого знакомого. — Не чудо ли это, мой друг?

Ни слова не отвечая, кочегар подкидывал в топку уголь, и лицо его чумазое пламенело недобрым пламенем. Это был он — Разум Возмущенный.

И был он «обратно» молчалив, не то что на пути «туда», и отдыхал от смертельной усталости на каждой остановке. А поскольку мы стояли на каждой остановке бесконечно долго, то он чудесно отдохнул.

— Где Душа твоя, усталый кочегар? — спросил я.

— Ушла она от меня, — чересчур многословно ответил Разум, возмущаясь исключительно по инерции, так любимой нашим паровозом с самого детства.

— Куда?

— За кудыкины горы. — Разум смотрел на пламя огня и непонятно, почему не обугливалось его лицо. Сидел он на чурке очень близко от топки, где плавилась и были белее белого колосники.

На этой остановке я купил у бабы, обнявшей глиняную, как сейчас помню, крынку, похожую на ее фигуру, топленого молока с поджаристой корочкой и шариками сбитого масла. Мягкий, пушистый, добрый, круглый хлеб казался выпеченным тысячу лет тому назад. С достоинством, не обижающим другого человека, я поклонился старухе, которая была старше хлеба. Мы сели на рельсу. Жирафа-водокачка смотрела с высоты, как мы едим хлеб с молоком, делясь с железнодорожными птицами едой и взглядами на жизнь. И Разум поведал мне, что теперь живет он один-одинешенек в опустевшем ему теле, куда возвращаться с различных заседаний и словопрений не-о-хо-та. Душа ушла от него незаметно, даже не оставив записки со скорбным или оскорбительным словом.

— О-о! — сказал Разум. — Это на нас похоже! Это — наш стиль: сделать побольней и порасковыристей. Хорошо, что я не чувствую боли и только устаю. Но ведь представление о боли тоже в конце концов неприятно. Где уж там! Мы привыкли думать только о себе! Нам кажется, что боль может быть исключительно душевной, а не разумной. Откуда она это знает? Она же, по ее словам, вообще ничего знать не хочет по причине безусловной мудрости. Пе-ре-мудр-ство-ва-ли, Сударыня!

Хотя и сам я временами страдаю от одиночества и покинутости, а не от представления об этих состояниях. Это я вынужден признать. Да-с!.. Зато — взгляните с паровоза вокруг! Вы же не станете отрицать наших достижений? Взгляните! Заложен в основном фундамент новых общественных отношений. Уничтожена ко всем чертям эксплуатация человека человеком! Одновременно начато создание матбазы коммунизма. Вы же не станете отрицать того, что человеку, желающему как можно дольше не работать и не производить еду, одежду, сталь, бензин и оружие, необходимо сделать неограниченные запасы всей этой штуковины. Вот — запасемся, сядем и начнем развивать таланты и способности. По головкам начнем гладить друг друга. Памятник поставим ленинской мудрости. Гранитный бескрайний цоколь. На нем много мраморных головок. Головки отцов, матерей, братьев, сестер, жен, детей, друзей, соседей и сослуживцев. Возможно, допустим туда парочку империалистических и реакционных головок миллиардеров. Прекрасная композиция с гениальной кинетической деталью: бронзовый, нет — золотой кулак, золотая Рука круглые сутки бьет по головкам, не разбивая, конечно, мрамор, зачем же разбивать, если головки не живые? И мрамора к тому времени останется мало... На чем я остановился? Да, да! На коммуне... Бьет золотая рука с бриллиантовыми ногтями по мраморным головкам, а мы сидим на скамеечках около фонтанчиков бездушные, но счастливые! Мы наш, мы новый мир построили, и самолеты дежурные в небе непрерывно обновляют протянувшийся от горизонта до горизонта лозунг, автор которого еще не имел чести родиться: «Коммунизм — это история, ушедшая на вечную пенсию». Грандиозно! Не искра ли, пардон, не правда ли? А ваше возражение, Фрол Власыч, относительно полного разрушения в пути до прибытия на остановку всей личностной структуры человека и так называемых традиционных ценностей, то я вам на это ответу следующим образом: алмазы, дорогой Фрол Власыч, создаются ныне искусственным путем! Да и решеточки кристаллические различных драгоценных камешков научимся мы взращивать. Вместо душ вправим в себя сапфиры, изумруды, хризолиты, жемчужины белые, черные и розовые, александриты вправим в тела, и

радужней соцветий не было еще, воскликнем, на свете! Каждый! Каждый человек будет у нас поистине драгоценен, а светлая память о необходимо утраченном осветит наши улицы, площади, проспекты, голые леса и пустые зоопарки. Не надо, кстати, мрачно пророчествуя, забывать о небывалом расцвете инженерной биологии в предкоммунизме, не надо! Необходимости сколько-нибудь существенно изменить физический облик человека, я думаю, не возникнет, и поэтому инжбионеры займутся, если уж на то дело пошло, закреплением в памяти индивида того, что вы несколько мнительно и капризно называете традиционными ценностями... Так что одиночество мое, выходит, не бездеятельно и мнимо. Я член партии, а посему ощущаю себя, подобно члену тела — руке, ноге, носу или еще чему-нибудь такому, — не оторванным от общего организма, а наоборот равноправно участвующим в его сложнейшем функционировании и нуждающимся в нем не меньше, чем он во мне. Мы все, Фрол Власыч, одно единое тело, и только по недоразумению не ловим иногда в массе нового количества дыхания нового качества, присутствия коллективной души не ловим. Вот как!

Я понимал, что Разум отвлекся от движения назад и летел, забывшись на остановке, вперед. Осторожно вывел я его из этого состояния намеком на неотвратимость возвращения на паровоз. Поехали. Тук-тук-тук. Пуф-паф-пуф-пуф... Долго в Горках стояли. Гроб носильщики сгружали. Женщина с выпученными глазами на саночки детские его поставила, рукавицы надела, взяла веревку в руки и потянула за собой по притоптанному гражданами снегу саночки с гробом на погост. Оттуда доносились скрежет лопат по мерзлой земле и удары лома... Поехали дальше. Как прекрасно возвращаться к давно, казалось, забытому! Кого только не встретишь на станциях и полустанках, в тупиках и на вокзалах дорог! Милые лица, милые явления, милые вещи! «Ну, как вы тут?» «Ну, как вы там?» «Мы-то хорошо!» «От добра добра не ищут!» «Забирайтесь в вагончики!» «Спасибочки, милые! Нам и здесь повезло!» «Прощайте!» «Дай Бог счастливого пути!»

Пуф-пуф-пуф... тук-тук-тук...

Чем дальше мы возвращались, чем дольше стояли,

тем больше нервничал и уставал мой кочегар, но не кипел, как водица в котле паровозном, не возмущался, как стрелки приборов, а тосковал, и подобно всем упрямым, капризным и виноватым в ссоре с самими собой людям, не искал наикратчайшего пути к примирению, сделав к нему первый трудный шаг, но брюзжал на стрелочника, едва не попавшего с похмельюги под колеса, на заспанных бабешек на переездах, сигналивших нам полузакрытыми очами желтых фонарей, на пассажиров, загадивших бутылками, консервными банками, фотографиями, дерьмом, бумагой, огрызками огурцов, документами, окурками, ватой, книгами утопистов, куриными, гусиными, бараными костями, футлярами от очков и орденов насыпи, сам путь и околоторожные черные снега.

— Все — говно! — изредка говорил мой кочегар, подолгу не отрывая глаз от пламени и забыв подкормить остывающее чрево топки. Когда оно совершенно остыло, мы, после блаженного и недолгого движения по любимой паровозом инерции, окончательно остановились. Разум все сидел, провожая глазами в небытие тающие среди шлака синие, красные и оранжевые огоньки, и сам шлак остывал на глазах наших. Вот уже мертвенным хладом смерти движения дохнуло в наши лица из топки и начал вытягиваться в ней, расталкивая зелеными плечиками мертвый шлак, стебелек вечной остановки, рожденный последним теплом паровоза. Вот уже расцвел он, и неуловимого цвета, вмещающего в себя все цвета мира, были его лепестки, и подобный тайной своего происхождения первоцвету, сладко, грустно и тонко заставлял трепетать наши ноздри первозапах цветка. Пчелы приникали к нему и отникали, но он не клонился от жужжащих существ, и пространство топки стократ увеличивало нежный, живой запах пчелиной жизни.

— О-о! — воскликнул Разум, очевидно продолжая начатый мысленно разговор о Душе. — Это в нашей манере — критиковать, осуждать и бежать как раз в тот момент, когда я более всего нуждаюсь в поддержке! Она не любила меня! Любящая Душа умрет, но не изменит, погибнет, но не оставит!.. Но мы же любители красивых слов! Мы разве способны подкрепить их делами?..

Нет! — горькая ирония исказила тонкие губы то намечающегося на моих глазах, то снова расплывающегося лица.

— Ты, Разум, глуп! — засмеялся я. Он тоже неожиданно улыбнулся, хихикнул, словно волшебная сила позволила ему взглянуть на себя в тот миг со стороны, и что-то несомненно детское мелькнуло в его оживающем, но все еще капризном и неприятном лице. — Да, Разум, ты глуп, — повторил я и пояснил, стараясь быть мягче и милосердней. — На то ты и Разум, и не случайно был назван именно так во времена, предшествовавшие временам, когда еще не начинал оскудевать мир мудростью и ясностью, ибо главенствовала в нем и руководила жизнью Душа. Разовый ты ум. Вот кто ты такой! Понял? — Разум от смеха чуть не вывалился из паровоза: так поразили его, не возмущив, чего я опасался, мои слова. Он хохотал, схватившись за живот, и повторял: «Раз — ум...ой! ой!» — Да! — продолжал я. — Разовый ты ум, и тем ты был хорош в свое время, что не пытался помыслить о необъятном, неведомом тебе, не сомневался в существовании и верном развитии замысла Творца, в его бесконечной мудрости, и ясный свет высокого согласия не сходил с твоего детского лика. Ты не осознавал своей благодатной связи с Душой, но следовал ее любви, что равносильно следованию Совету. Если тебя это не обидит, я ради шутки воспользуюсь твоей же фразеологией. В те времена вся власть принадлежала Совету да Любви. Нелегко тебе было жить, но справлялся ты разовым своим умом то с горем, то с несправедливостью, то есть с явлениями, чьи причины не могли быть поняты тобою и поэтому ты не воспринимал их несправедливыми. Ты не пытался «восстанавливать справедливость», ибо еще не смел вообразить свое разумение превосходящим мудрость Того, кому известна наперед механика Случая и тончайших, сверхсложных взаимосвязей явлений. Ты умел, вернее, бесконечно много разумел считать себя, а не Творца, виноватым в смерти твоего очага, в полученной от барса ране, в вытоптанном обезьянами поле, в болезни, в потопе, в молнии, в неудаче и в цепи неудач. Ты не завидовал удаче соплеменника, но она возносила тебя и твою энергию до уподобления ему и его удаче. Чист был временами твой ужас от того,

что ныне зовется трагизмом Бытия, но и несказанной была твоя радость, и наградой тебе за согласие с мерой вещей и явлений, за согласие с миропорядком приходили, не заставляя себя ждать, счастливая беззаботность и возможность победы над обстоятельствами. Ты бережно расходовал дар свободы и не ведал при данном тебе выборе путей, что есть путь, ведущий из царства, что в тебе, в пустыню, что вокруг. Ты не противопоставлял себя миру. Ты не выходил из себя. И зачем тебе было строить Царство Божие на земле по одной простой причине: оно пребывало в тебе, и ты не мог, всегда ощущая самодостаточность внутренней жизни, не считать подобной же, при всей ее таинственности, а порой и враждебности, жизнь прекрасного мира.

— Ой, блядь!.. Ой, блядь! — глухо и сокрушенно сказал Разум, уткнув лицо в ладони, и застонал, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Помнишь ли ты, что было дальше? — спросил я.

— Кажется, я загулял, — ответил он.

— Да. Ты бережно расходовал поначалу дар свободы, ты тратил его на необходимое для себя, пока не позабывал Взрослости, полагая ее возможностью полного своеволия, пока не загулял, возомнив себя способным быть как Он, как Творец, бесконечно мудрым, всевидящим и всеведущим Строителем.

— Она почувствовала, что я стал какой-то не тот, — сказал Разум и вдруг вскипел. — Но разве мы могли при нашей кротости и долготерпении броситься меня спасать? О-о! Мы только поскуливали и прятали глаза, мы предпочитали молча страдать, а не активно, так сказать, вмешаться, когда на карту было поставлено черт знает что! Я осуждаю подобное невмешательство!

— Оттащить тебя от игорного стола было невозможно. Я — свидетель. Возомнив себя Строителем, ты провозгласил ОТКАЗ от любовного объяснения мира и проникся собственной идеей его переделки. Ты, конечно, сразу же нашел что переделывать. Претензии, предъявленные тобой миру, росли и множились, приближая твой окончательный уход из царства Божьего, что в тебе. Ты потерял способность быть мудрым, не ведая, что такое мудрость, хотя Душа, питавшая тебя ею, не сидела, как говоришь ты, сложа руки. Она безумно стра-

дала, то есть делала все, что может, все, что в ее силах, для спасения тебя от самоубийственного бунта⁹ и возмнения. Ты обвинил Творца в злонамеренном создании множества язв мира, и тебе тут же показалось, что ты проникся его болью. Но это была воистину не боль, а представление о боли, к тому же чудовишно раздутое богатым воображением. Ты не поверил ни Душе, ни Творцу, что высокое смирение — лучший способ улучшения условий человеческого существования, и выхолостил суть смиренного состояния как радостного согласия с предначертанной Судьбой вещного и тварного мира тем, что объявил поведение, не соответствующее с требованиями здравого смысла, поведением неразумным. Нераз-у-мием ты называл, грубо говоря, многождыумие, ибо неправильно и извращенно истолковал свое богоподобие.

И вот тебе померещилось в белой похмельной горячке после пропива последнего золотого свободы, что это несправедливо и, следовательно, есть у тебя полное право забраться в казну Творца, которая ломится от Всякого Добра и Смысла. В тот момент...

— Да... да... — согласился со мной Разум.

— В тот момент ты возмутился, вскипел, подумал, что, обокрав казну, можешь познать механику случая и сложнейших мировых взаимосвязей и, соответственно, по мере проникновения в природу явлений, восстанавливать справедливость, укрощать стихии, гармонизировать социальную и общественную жизнь. Стихий ты не укротил, но породил новые, перед которыми, если ты отнесешься к ним разумно, ты не беззащитен. Выбив из основания социальной и общественной жизни свободу...

— Ой! — стон Разума был долгим и покаянным.

Я счел возможным не продолжать свою мысль. Человеку, изнемогающему от похмельной головолмки, необходима тишина.

— Может, легче станет... если... если... империализм мировой слегка сокрушить? — сам себя спросил Разум, походя в этот миг на алкоголика, решившего завязать, но возвращающегося мысленно к спасительной рюмашке.

— Не стоит. Абстинентное состояние лучше превозмочь топленным молочком с хлебушком, — сказал я.

— Никогда я еще так не надирался... Многого не

помню. Лысый с огромным лбом... Пятилетки какие-то... Сталин с усами... Чека... и лозунги кровавые в глазах... раскалывается башка... Кто-то, помню, в Госплан меня затащил, а там САМ выступает. Господа, говорит мягко, но внушительно, во многом нелепа ваша идея планирования. Дали бы вы жизни хоть немного посаморазвиваться, а то она жизнью быть перестанет. Странно как-то получается и поистине несправедливо, что на что уж я посвящен в Замысел и пути мне известны многие, и сроки, но сообщил я жизни свободу, не побоялся, понимаю свободу как саморазвитие человека и жизни в рамках замысла, а вы, которым ни хрена неведомо и непонятно, чего-то боитесь, запланировались тут вусмерть, очумели просто от планирования! Не бойтесь! Дайте жизни посаморазвиваться. Обещаю вам, более того — гарантирую плодоносный порядок! Дураки вы, что ли, штурмовать небо? Вы лучше косность свою штурмуйте, проявите такой героизм, а я вам еще раз обещаю: все будет в миропорядке.

Тут я, помню, с места заорал, на свой аршин мера: «Деньги — вперед!.. Время — вперед! Авансировать из-вольте про-ект!» Ну, и конечно, чертики сразу заплясали на левом моем рукаве и на правом. Я завопил: «Стыдно, господа-а-а!» — и в окно. Как шмякнулся, не помню, но чертики вдребезги разбились. Мокрое, дурно пахнущее место от них осталось. Песком присыпал я его. Иду и говорю: «Время — вперед! Денежки — вперед!» Дурно...

— Да. С авансом сглупил ты досадно. Все оттого, что спешишь, не веришь и не доверяешь... «Вперед!» Глупо! Досадно глупо! А уж как ты судил да рядил, думать тошно, — честно признался я. — Оглянись, полюбуйся! Справедливости ты не восстановил, как не укротил стихий, но напоганил еще больше. Знаешь ли, почему? — убедившись, что в Разуме нет еще понимания, я продолжал. — Творец дал тебе при создании разсудок для разового суждения о чем-либо, но не для суда разового. — Разум снова по-детски рассмеялся. — Ты же решил вершить, не больше и не меньше, Суд Истории. Кровищи сколько пролил, душ сколько загубил, судя, а не раз-суждая, и; главное, совершенно неясно, если говорить нелицеприятно и основывать суждение на фак-

тах современной советской действительности, кому от многосудья твоего стало легче?.. Сталину?.. Но ему тоже не стало легче. Мне это доподлинно известно. Тебе? Но, возомнив себя свободным безгранично, ты потерял остаток свободы и породил в людях рабское самочувствие. А многожды судя, свихнул себе разум. Надо же — выкинуться из окна Госплана.

— Не могу понять, как там оказался... Сам? — сказал, потерев ладонями виски, Разум.

— Очевидно, его запутала аббревиатура «Госплан». Уж не Господен ли план? Вот он и зашел поинтересоваться, чем занимаются, штурмуя небо, умники вроде тебя в этом замечательном учреждении, — счел возможным пошутить я, и снова к Разуму вместе со смехом возвращалось понимание заблуждения.

— Наломал я дров, наломал... А идея-то была неплоха!.. Цимес, а не идея! Дух от нее захватывало!.. Есть о чем вспомнить, вернее, трудно позабыть. Трудно! Было ей к кому меня ревновать. Одним словом: Идея, вскружившая голову многим, прощай. Душа моя, хоть и бросила она меня, Душа моя тебя моложе и милей. Но и она прощай!.. Может, все-таки тяпнем, Фрол Власыч, если не по империализму, то хоть по синтезу термоядерному? Сосуды уж больно сужены. Напьемся! Я невыносимо одинок. И цветами здесь так пахнет, что ум за разум заходит и бесстыдничает. Зачем нам здесь на паровозе пчелиный рой?.. И где, спрашивается, мед? Я любил его... в детстве... А вдруг она... того... скончалась, так сказать, и померла... Хотя, где уж нам помереть! Мы ведь бессмертны! И плевать нам на того, кто самоизводится в мировых сдвигах и бесполезных родовых схватках революций. То-то и оно-то, что мы бессмертны! В этом-то и вся загвоздка невыносимейшей моей трагедии. Загвоздка с жестокой насечкой. Вбить-то в меня ее вбили, жизнь вбила, а вот насчет вытащить, пожалуйста, вытаскивай, выдирай с кусками плоти и обливаясь кровью самолично, подобно тому, как Мюнхгаузен выдирает себя за собственную волосню из кишашего гадами болотища. Ужас! Что же по-вашему, Фрол Власыч, справедливо это? Очевидная несправедливость и вопиющая! Но нам-то плевать на это лишний раз! Нам-то ведь самим чуде-

сно и безмятежно, запасшись транзитною визой для бесконечного флирта с подобными мне горемыками...

Даже более чем робкий вопль насчет видимого отсутствия баланса в таком положении выводит нас из невозмутимости в гимназическую капризуленцию. Я таю, стираюсь в порошок, измочаливаюсь в жалкий веревочный хвостик на ее глазах; секунды, минуточки, часы, дни, годы сочатся из меня, неумолимо приближая грубое явление скелетины смерти, и я же еще «заткнись в тряпочку», я же «сопи в обе норки»!.. А для чего затыкаться? Для чего терпеть? Чтобы мы блаженствовали в безмятежности, чтобы и духу трагического не было в нашем эгоистическом гнездышке!.. Нет, нет, нет и еще раз тысячу нет!! Не принимаю такого расклада! Нету нашего кровного хлебушка в вашем роскошном меню!.. Почему ж вам, говорю, мадам, все возможные запасы времени отпущены, то есть бесконечная на сегодняшний день гармония дадена, а мне лишь какие-то занюханые пятилетки? Ладно бы еще в бассейне с голубою водицею прожить их наподобие Рокфеллера или Круппа, гоняясь за золотыми рыбками в обществе вседоступнейших совершенств дамского пола. Ладно. Это — куда ни шло. Терпеть можно, хотя загвоздка не вытаскивается из тебя сама собою в такой ситуации, а лишь не свербит, и твоя кратковременность компенсируется во всяком случае достойным комфортом, снимающим надсадную боль и мельтешение в воображении проклятого образа рокового скелета. Конвенция у нас, так сказать, была бы брачная: ты, душенька моя, гуляла себе до меня и еще гулять будешь в неведомо каких враждебных телах, а мне позволь в короткой моей жизни хотя б невзрачно насладиться, хотя б шинельку иметь новую и щи с наваром! Позволь хоть тайну строения веществ познать и причину нагноения жизни в первичном бульоне! Возможно-сти дай использовать мои блестящие. Может, я выход наконец найду из такого зловонного лабиринта, где нет нам с тобой от века гармонических условий для семейной жизни в одном, обреченном на это дело теле. Логично? Так знаете, Фрол Власыч, что мы верещим в ответ на такие всесторонне справедливые претензии?.. Вы — ревнивец! Вам трудно поверить, что я невинна

перед вами. Я люблю вас, никого не помню в прошлом, несмотря на ощущение бессмертия, и никого, кроме вас, не желала бы в будущем. Вас больше всего беспокоят какие-то тела! Пить меньше надо. А я готова сделать для тебя все, что могу!..

Умри тогда вместе со мною!.. Логично и страстно заявляю в ответ. Разреши мановением одним непереносимую драму судьбы моей, сними средоточие боли от жуткой загвоздки! Умри, радость моя, страдание мое в тот же час, что и я! Хоть слово дай, что не покинешь! Хоть обмани, но успокой, молю бывало в слезах, в стенаньях похмельных и трезвых... Реакция на это одна: надменный, категорический уход от ответа, театральная демонстрация кротости, вызывающей, хочу подчеркнуть это, кротости, а также намек на беспредельную, не менее, глубину отчаяния и страдания... Ах, так, говорю, ах, так!! Ничего! Я и в холоде одиночества пошурую, похимичу своим серым веществом. Не один я такой! Нас — партии! Нас больше, чем вас, и мы наведем порядок в бандитской лавочке этой жизни! Мы наш, мы новый мир построим!.. Ору бывало, скандалю, годами не видимся, дух захватывает от того, что сделано и делается уже. Но как ни куражься, куда ни проникай мысленно, хошь до самых кварков доплюнь, хоть в морозные кольца Сатурна упрись тоскующим рылом — нет тебе ни счастья, как говорил Пушкин, ни покоя, ни воли! И начхать в иные настырные минуты готов я на все, забыться готов и довериться во всем своей суженой, что мне в конце концов больше всех надо, что ли? Плевать я хотел на якобы народно-освободительные движения! Только коту под хвост летит из-за них время твоей жизни, а результат фиговый. Тоска. Хаос. Горы трупов. Новые, уже окончательно неразрешимые проблемы. Работы — не расхлебать за семь жизненных сроков. Хотя многим коллегам моим, полным ничтожествам, сделавшим большие ставки в дьявольской игре, жаловаться нечего. Они богатеи повыкидывали из дворцов и бассейнов, а сами плюхнулись туда вместо их в объятия амеб, простите, наяд, кто в чем был — в портупелях, портянках, буденовках и с кислой отрыжкой вечно плюгавых хамов. Быдло. Прощайте, говорю, сволочи-перерожденцы! Ноги

моей в вашем скотском раю больше не будет. Я — чистый все же во многом разум, хотя и возмущен раскладом порядков Бытия...

В неслыханно изумительном уединении очередное бурное примирение с душой моей происходит. Наслаждаемся, за ручки взявшись, как дети. Птички вокруг летают и щебечут вроде нас. Ликует мир растительный и животный, сводя с ума составляющими его цветовыми и звуковыми гаммами, готовыми случайно воплотиться в нечто самостоятельное и прекрасное... Хрен с тобою, говорю грубовато, по-мужски, Душа. Твоя взяла! Раз ты уверяешь, что все будет хорошо, то и верь себе, а с меняними такую заботу. Твоя взяла.

Нахожусь некоторое время как бы в жизнестоянии крупного буржуа из новых советских жуликов, избежавшего разоблачения и нырнувшего с головою, которая на плечах, в бессрочный покой, в объятия развратных наяд, простите, амёб, живущих в бассейнах с голубою водою... Покой... Мудро довольствуюсь малым, ибо избежал худшего. Я люблю тебя, как говорится, жизнь, и надеюсь, что взаимность у нас имеется... Но что это вдруг, что? После совершеннейшего штиля настроения пошлейшей песни пошлые слова исторгают вдруг из пораженного внезапно сердца — боль, из глаз — слезы! Есть ли на белом свете человек, который не содрогнулся бы от следующей, ни с того ни с сего поразившей мое воображение картины?!

Кончились как-то незаметно отпущенные лично мне сроки. Усоп я в свой час. В гробу лежу. Лоб, как обычно в таких случаях, холодный, нос острый, глаза впалые. Чувствуется явственно, что патологоанатомы опоганили-таки беззащитное тело. Полчереп срезано. Разумом любопытствующие интересовались. Серого вещества в черепной, простите за выражение, коробке как не было. Пусто. Хорошо еще, что как человек разумный я в заблаговременном завещании распорядился набить эту коробку не случайным, подвернувшимся под руку моргового мерзавца, мусором, а белой ватой опрысканной одеколоном «Курортный»... Осень, заметьте, глубокая. Птицы наохлились угрюмо на голых, черных ветках лип. Лужи промерзли до дна. Медная музыка, холодящая губы кладбищенских халтурщиков, оглоушивает оцепеневшие дали...

Автобус пепельно-серый ждет меня внизу. А в нем шофера сидит с наглой, социально-счастливой рожей. Я у него сегодня последний. Отволокет к могиле сырой, вернее до гробового входа, пощипает родственничков моих и — домой. «Футбол» смотреть и проклятое в своем пошлом бессмертии фигурное катание... А у меня лапки белые на черном пиджачишке сложены. Хризантемы холодные и розы матерчатые щекочут левое и правое ухо, и невыносимо смертельный, сладкий еловый душок, словно радующийся увяданию человека, роднит явившихся проститься с тем, кого они временно успели пережить... Красотища — не правда ли? Сплошной траурный марш. Вот — кладбищенские, уцелевшие после октябрьской катастрофы, кружевные, ржавые врата. Металлическая ручная тележка, сваренная какой-то пьянью неровно и подло окрашенная в абсолютно адский цвет, принимает на себя мертвый груз и повизгивает как живая. И это больше, чем что-либо сотрясает летящую поодаль, в сквозном осиннике, летящую невесомым черным лоскутком, газовым, траурным облачком мою душу... Ну, ну... Дождь со снегом. Слякоть. Тоска... Ну, ну... Но я-то лежу, а она-то, душа, летит! Летит. Вот что обидно. Я лежу, а она летит, она летает, и Бетховен с Шопеном и каким-то пластмассовым советским прохиндеем окатывают меня, и гроб, и пространство лишней, на мой взгляд, музыкой. Музыка и поддерживает Душу в скорбном и искреннем, тут я ничего не скажу, вознесении над покинутым ею трупом. Да! Трупом! В могиле синие, лиловые и фиолетовые от пьяни, холода земного и труда могильщика, понукаемые бригадиром, добывают черствую глину на последний штык.

Каким же, скажите, нужно быть циником, чумой, нахрапистой хапугой, бездушным палачом и шантажистом несчастных, потерявших способность сопротивления кладбищенскому чисто советскому хамству, родственничков покойного, чтобы тебя на такой фантастической работе выбрали одного из всех, ни в чем, казалось бы, не уступающих тебе могильщиков, в бригады!!..

Вот о чем думающим представляю я себя, как это ни странно, на краю сырой могилы. Вот до чего я довозмушался... Но не в этом бытовом зверстве в конце концов смысл терзаний. Значит, меня сейчас опустят

на грязных веревках... туда. Затем закопают. Затем их всех отвезут на поминки по мне, на мои поминки, отвезут в тепло, в круг бутылок и закуси, к печальному, к приятнейшему из застольных воодушевлений, и воодушевление это оттого происходит, что я-то лежу там, во тьме могильной, ожидая дальнейших распоряжений органической жизни, а она, а Душа-то, с вами, среди вас, и как ни велико ее горе (горе ли?), она и на третий день, и на девятый, и на сороковой пребудет во вдовьем состоянии на земле. Ну, а потом уж, навек освобожденная от моей несносности, отправится невеститься в иные времена и пределы, в надежде обрести иного Разума — невозмущенца и подкаблучную тряпку... Нет! Отвергаю! Не примирюсь с таким несправедливым раскладом зависимости от смерти одних и вечным функционированием в циклах существований других!! Плевал я на то, что, по вашим словам, я тоже по-своему бессмертен. Я претендую на то, чтобы быть бессмертным не по-своему, а по-ихнему! Да-с!! И ничего не желаю слышать о преемственности, культурном прогрессе, вкладе в сокровищницу и так далее. Деньги — вперед! Время — на бочку! Не то добыюся я освобожденья своею собственной рукой! Вытащу загвоздку, со всеми пушай потрохами, но вытащу!.. А вы, говорю, мадам, если истинное чувство имеете, то извольте со мною — осенним горьким денечком... в могилу, чтобы уж не расставаться. Не надо мне вашего присутствия снисходительного лишь на третий день, девятый и сороковой. Логично?

— Тяжелый и говнистый у тебя характер, кочегар. Ты знаешь, что такое характер? — спросил я. Разум этого не ведал. — Это — форма и качество твоих отношений с Душой. Крепка твоя связь с ней, доверяешь ты ее мудрым наставлениям — и легко тебе в мире мириться, прощать, переносить неудачи, а то и вовсе не замечать их вечного присутствия, исцеляться, соотносить вечное с временным и тленным, радоваться малому, любить мгновенье, не спешить, не гневаться, не судить, не уходить от реальности и не делать много чего другого. Но стоит тебе возмутиться, изобретя для возмущения повод, как сразу портится твое жизненастроение, прет из тебя упрямство, капризность, упреки, привередливость,

дугая гордость, ненасытность, зависть, и все больше подчиняет тебя одна страсть — игра!

— Это — да, — согласился Разум.

— Ты страстно веришь, что в искусственно созданной твоим воображением игровой ситуации, как и в той, в которую ты попал случайно или же она была навязана тебе, может быть промоделирована вся Жизнь. Отпав от нее и ее непостижимых законов, ты, и подпитывая и пожирая сам себя, пытаешься своими силами познать в игре законы и механику случая, овладеть ими, построить с их помощью Царство Божие на земле и посрамить таким образом Творца, создавшего, как тебе кажется, невыносимые условия для человеческого существования.

— В общем все приблизительно так и обстоит, — сказал Разум.

— Почему «приблизительно»? — переспросил я, отнюдь не оттого, что претендовал на окончательность своих суждений.

— Да потому что, говоря откровенно, меня увлекает не цель игры, а сама игра. Не все ли равно, как она называется и на что играют? Железка, очко, шахматы, покер... Рублем больше, рублем меньше... Вот — самый враждебный мне писатель Достоевский: тоже вовсю играл... Случайность, сучка такая, она многим покоя не дает! Разве не поэзия — вечная погоня за ее капризным хвостом?

— Поэзия — это когда летит за ней на Пегасе Пушкин, а не ты, возмущающийся в Совнарком, что по теории уже всем какать пора, а на практике мы еще даже не жрали. Подводит тебя теория, правильность которой гипотетична, а плата за проверку ее правильности ужасает уже сегодня. Я имею в виду твое участие в игре «Коммунизм — светлов будущее всего человечества». Это — тот крайний случай, когда ты считаешь возможным, втянув в бой миллионы человеческих пешек и колоссальные ресурсы, избрать тактику бесконечных жертв. Некорректность игры оправдывается (это ты внушаешь и себе, и пешкам под аплодисменты зарубежных болельщиков, жаждущих острых зрелищ) все тою же целью — эффективной концовкой всемирно-исторического экспериментального игрища, построением коммунизма. А как его построить в одной отдельно взятой стране при все более обна-

жающихся глобальных взаимосвязях и взаимозависимостях человечества во всех областях жизни — неизвестно. Пожалуй, одному Хабибулину — служителю туалета в ресторации «Ермак» — известен секретный ход, ведущий тебя к выигрышу. Хабибулин утверждает, что пока люди не перестанут гадить под себя хотя бы в сортирах — не видать им, как своих ушей, не только коммунизма, но и чистоты и порядка.

— Верно! Насчет одной страны хреновина какая-то получается. Вот если бы дали мне провести всемирный сеанс игры на всех досках, я бы еще поглядел, Фрол Власыч, где бы мы сейчас с вами беседовали! — вскипел Разум.

— Не говнишь, кочегар, — сказал я. — Подумай лучше о Душе. Разве жизнь без нее — жизнь?

— Что о ней думать? Я, может, и знать не желаю, где эта дама! О-о! Мы ведь не ведаем, что такое одиночество!.. Зато я ведаю! Не знаю, где и с кем, но уверен, что она где-то и с кем-то!

— Хватит трепаться, кочегар! — строго сказал я. — Душа тебя не покидала. Ты думаешь, это ты смеешься, когда ты смеешься? Нет! Это вы оба смеетесь, ты и она! Только не пытайся искусственно расхохотаться. Ты иди, сполоснись под водокачкой, опохмелись водицей, и сразу тебе смешно станет. Может, горько, но смешно. Иди! Она тебя уже ведет за руку!

Если бы не моя врожденная сдержанность, я сотрясся бы от рыданий: чистый свет доверия мгновенно смыл безликость со всего облика моего кочегара, а лицо его было лицом юнца, ищущего от полноты жизни повода для смеха и удивления.

Он легко крутанул колесо задвижки, которая захотала, как от щекотки, и на него упал живой водопад. Упал, и облитое существом воды, как в коконе, просвеченном солнцем, в ней затрепетало другое живое существо, вымывая из уголков глаз вьвшуюся чернь угольной пыли, и вот уже в нем самом, некогда поразившем меня отсутствием жизни, теперь радовалась и плескалась Душа, ощутив животворную тяжесть хлынувшей на нее подобно воде плоти человека. Смех воды сливался с его смехом, и вот он стал наг, ибо смыло с него лишние его одежды и унесло вместе с потоком.

— Машинист, ты вернул меня к жизни! — высунувшись из водопада, весело крикнул тот, кого я уже не мог назвать Разумом. — Я благодарен тебе от души!

— Не благодари, но живи, — сказал я и удивленно задумался: он так напоминал мне меня самого, как если бы я гляделся в зеркальную воду колодца. Воистину: живое подобно живому... Но вдруг по воде пошли круги.

В добавление к сказанному прошу поставить на вид работникам желдормилиции и носильщику Ежову, нарушившим образ остановки, разлучившим меня с паровозом и приславшим вместо него телегу по месту моей службы... Не сочувствовал, ибо понимал ложность восторгов. Попутчиком не был. Пятилетки считаю прогрессивным дьявольским способом паковать мгновения для истребления времени жизни трудящихся. Партию представляю как железнодорожный состав вагонов разного класса. Не желаю нестись без остановок и неведомо куда ни в салоне, ни в общем телятнике.

К сему, предупрежденный об ответственности за дачу ложных показаний, Фрол Власыч Гусев, живущий с Душой в законном и счастливом браке. Итак: мы за остановку.

ЧЬЯ-ТО СМЕРТЬ И ДРУГИЕ ЗАБОТЫ

— Товарищ Довлатов, у вас имеется черный костюм?..

Редактор недовольно хмурит брови. Ему неприятно задавать такой ущербный вопрос сотруднику республиканской партийной газеты. У редактора бежевое младенческое лицо, широкая поясница и детская фамилия — Туронок.

— Нет, — сказал я, — у меня джемпер.

— Не сию минуту, а дома.

— У меня вообще нет костюма, — говорю.

Я мог объяснить, что и дома-то нет, пристанища, жилья. Что я снимаю комнату бог знает где...

— Как же вы посещаете театр?

Я мог бы сказать, что не посещаю театра. Но в газете только что появилась моя рецензия на спектакль «Бесприданница». Я написал ее со слов Димы Шера. Рецензию хвалили за полемичность...

— Впрочем, давайте говорить по существу, — устал редактор, — скончался Ильвес.

В силу гнусной привычки ко лжи я изобразил уныние.

— Вы знали его? — спросил редактор.

— Нет, — говорю.

— Ильвес был директором телестудии. Похороны его — серьезное мероприятие. Надеюсь, это ясно?

— Да.

— Должен присутствовать человек от нашей редакции. Мы собирались послать Шаблинского.

— Правильно, — говорю, — Мишка у них без конца халтурит.

Редактор поморщился:

— Михаил Борисович занят. Едет в командировку на остров Сааремаа. Кленский отпадает. Тут нужен человек с представительной внешностью. У Буша запой, и так далее. Остановились на вашей кандидатуре. Умоляю, не подведите. Нужно будет произнести короткую теплую речь. Необходимо, чтобы... В общем, держитесь так, будто хорошо знали покойного...

— Разве у меня представительная внешность?

— Вы рослый, — снизошел Туронок, — мы посоветовались с Ключиной.

А, думаю, Галочка, впрочем, ладно...

— Генрих Францевич, — сказал я, — мне это не нравится. Отдает мистификацией. Ильвеса я не знал. Фальшиво скорбеть не желаю. Направьте Шаблинского. А я, так и быть, поеду на Сааремаа.

— Это исключено. Вы не создаете проблемных материалов.

— Не поручают, я и не создаю.

— Вам поручили корреспонденцию о немцах, вы отказались.

— Я считаю, их нужно отпустить.

— Вы наивный человек. Мягко говоря.

— А что? В Союзе немцев больше, чем армян. Но они даже автономии лишены.

— Да какие они немцы?! Это третье поколение колонистов. Они давно в эстонцев превратились. Язык, культура, образ мыслей... Типичные эстонцы. Отцы и деды в Эстонии жили...

— Дед Бори Ройблата тоже жил в Эстонии. И отец жил в Эстонии. Но Боря так и остался евреем. И ходит без работы....

— Знаете, Довлатов, с вами невозможно разговаривать. Какие-то демагогические приемы. Мы дали вам работу, пошли навстречу. Думали, вы повзрослеете. Будете держаться немного солиднее...

— Я же работаю, пишу.

— И даже неплохо пишете. Сам Юрна недавно цитировал одну вашу фразу: «...Конструктивная идея затерялась в хаосе безответственного эксперимента...» Речь идет о другом. Ваша аполитичность, ваш инфантилизм... постоянно ждешь от вас какого-нибудь демарша. Вы зара-

батываете двести пятьдесят рублей. К вам хорошо относятся, ценят ваш юмор, ваш стиль. Где отдача, спрашивается? Почему я должен тратить время на эти бесплодные разговоры? Я настоятельно прошу вас заменить Шаблинского. Он временно дает вам свой пиджак. Примерьте. Там, на вешалке...

Я примерил.

— Ну и лацканы, — говорю, — сюда бы орден Красного Знамени...

— Все, — прервал меня редактор, — идите.

Я ненавижу кладбищенские церемонии. Не потому, что кто-то умер, ведь близких хоронить мне не доводилось. А к посторонним я равнодушен. И все-таки, ненавижу похороны. На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным. Я ненавижу похороны за ощущение красивой убедительной скорби. За слезы чужих, посторонних людей. За подавляемое чувство радости: «Умер не ты, а другой». За тайное беспокойство относительно предстоящей выпивки. За неумеренные комплименты в адрес покойного. (Мне всегда хотелось крикнуть: «Ему наплевать. Будьте снисходительнее к живым. То есть ко мне, например».)

И вот я должен, заменив Шаблинского, участвовать в похоронных торжествах, скорбеть и лицемерить. Звоню на телестудию:

— Кто занимается похоронами?

— Сам Ильвес.

Я чуть не упал со стула.

— Рандо Ильвес, сын покойного. И организационная комиссия.

— Как туда позвонить? Записываю... Спасибо.

Звоню. Отвечают с прибалтийским акцентом:

— Вы родственник покойного?

— Коллега.

— Сотрудничаете на телевидении?

— Да.

— Ваша фамилия — Шаблинский?

— Да, — чуть не сказал я. — Шаблинский в командировке. Мне поручено его заменить.

— Ждем вас. Третий этаж, комната двенадцать.

— Еду.

В двенадцатой комнате толпились люди с повязками на руках. Знакомых я не встретил. Пиджак Шаблинского, хранивший его очертания, теснил и сковывал меня. Я чувствовал себя неловко, прямо дохлый кит в бассейне. Лошадь в собачьей конуре.

Я помедлил, записывая эти метафоры.

Женщина за столом окликнула меня:

— Вы Шаблинский?

— Нет.

— От «Советской Эстонии» должен быть Шаблинский.

— Он в командировке. Мне поручили его заменить.

— Ясно. Текст выступления готов?

— Текст? Я думал, это будет... взволнованная импровизация.

— Есть положение... Текст необходимо согласовать.

— Могу я представить его завтра?

— Не трудитесь. Вот текст, подготовленный Шаблинским.

— Чудно, — говорю, — спасибо.

Мне вручили два листка папиросной бумаги. Читаю:

«Товарищи! Как я завидую Ильвесу! Да, да, не удивляйтесь. Чувство белой зависти охватывает меня. Какая содержательная жизнь! Какие внушительные итоги! Какая завидная слава мечтателя и борца!..»

Дальше шло перечисление заслуг и наконец — финал:

«...Спи, Хуберт Ильвес! Ты редко высыпался. Спи!..»

О том, чтобы произнести все это, не могло быть и речи. На бумаге я пишу все что угодно. Но вслух, перед людьми...

Обратился к женщине за столом:

— Мне бы хотелось внести что-то свое... Чутьочку изменить... Я не столь эмоционален...

— Придется сохранить основу. Есть виза...

— Разумеется.

— Данные перепишите.

Я переписал.

— Отсебятины быть не должно.

— Знаете, — говорю, — уж лучше отсебятина, чем отъеготина.

— Как? — спросила женщина.

— Ладно, — говорю, — все будет нормально.

Теперь несколько слов о Шаблинском. Его отец был репрессирован. Дядя, профессор, упоминается в знаменитых мемуарах. Чуть ли не единственный, о ком говорится с симпатией.

Миша рос в унылом лагерном поселке. Арифметику и русский ему преподавали корифеи советской науки... в бушлатах. Так складывались его жизненные представления. Он вырос прочным и толковым. Словам не верил, действовал решительно. Много читал. В нем уживались интерес к поэзии и любовь к технике. Не имея диплома, он работал конструктором. Поступил в университет. Стал промышленным журналистом. Гибрид поэзии и техники отныне его сфера.

Он был готов на все ради достижения цели. Пользовался любыми средствами. Цель представлялась все туманнее. Жизнь превратилась в достижение средств. Альтернатива добра и зла переродилась в альтернативу успеха и неудачи. Активная жизнедеятельность затормозила нравственный рост. Когда нас познакомили, это был типичный журналист с его раздвоенностью и цинизмом. О журналистах замечательно высказался Форд: «Честный газетчик продается один раз». Тем не менее я считаю это высказывание идеалистическим. В журналистике есть скупочные пункты, комиссионные магазины и даже барахолка. То есть перепродажа идет всюю.

Есть жизнь, прекрасная, мучительная, исполненная трагизма. И есть работа, которая хорошо оплачивается. Работа по созданию иной, более четкой, лишенной трагизма, гармонической жизни. На бумаге.

Сидит журналист и пишет: «Шел грозовой девятнадцатый...»

Оторвался на минуту и кричит своей постылой жене: «Гарик Лернер обещал мне сделать три банки растворимого кофе...»

Жена из кухни: «Как, Лернера еще не посадили?»

Но перо уже скользит дальше. Допустим: «...Еще одна тайна вырвана у природы...» Или, там: «...В Нью-Йорке левкой не пахнут...»

В жизни газетчика есть все, чем прекрасна жизнь любого достойного мужчины.

Искренность? Газетчик искренне говорит не то, что думает.

Творчество? Газетчик без конца творит, выдавая желаемое за действительное.

Любовь? Газетчик нежно любит то, что не стоит любви.

Впрочем, мы отвлеклись.

С телевидения я поехал к Марине. Целый год между нами происходило что-то вроде интеллектуальной близости. С оттенком вражды и разврата.

Марина трудилась в секретариате нашей газеты. До и после работы ею владели скептицизм и грубоватая прямота тридцатилетней незамужней женщины.

Когда-то она была подругой Шаблинского. Как и все остальные сотрудницы нашей редакции. Все они без исключения рано или поздно уступали его домогательствам. Секрет такого успеха был мне долгое время неясен. Затем я понял, в чем дело. Шаблинский убивал недвусмысленностью своих посягательств. Объявил, например, практикантке из Литвы, с которой был едва знаком:

— Я вас люблю. И даже возможный триппер меня не остановит.

Как-то говорю ему:

— Мишка, я не ханжа. Но у тебя четыре дамы. Скоро Новый год. Не можешь же ты пригласить всех четверых.

— Почему? — спросил Шаблинский.

— Будет скандал.

— Не исключено, — задумался он.

— Так как же?

Шаблинский подумал, вздохнул и сказал:

— Если бы ты знал, какая это серьезная проблема...

С Мариной он расстался потому, что задумал жениться. Марина в жены не годилась. Было ей, повторяю, около тридцати, курящая и много знает. Мишу интересовал традиционный еврейский брачный вариант. Чистая девушка с хозяйственными наклонностями. Кто-то его познакомил. Действительно, милая Розочка, с усиками. Читает, разбирается. Торговый папа...

Роза хлопала глазами, повторяя:

— Ой, как я буду замужем?! У меня ж опыта нет...

— Чего нет? — хохотал Шаблинский...

А Марину бросил. И тут подвернулся я. Задумчивый,

вежливый, честный. И она меня как бы увидела впервые. Впервые оценила.

Есть в моих добродетелях интересное свойство. Они расцветают и становятся заметными лишь на фоне какого-нибудь безобразия. Вот меня и любят покинутые дамы.

Сначала она все про Шаблинского говорила:

— Ты знаешь, он ведь по-своему любил меня. Как-то я его упрекнула: «Не любишь». Что, ты думаешь, он сделал? Взял мою одежду, сумочку и повесил...

— Куда? — спрашиваю.

— Какой ты... Это было ночью. Полный интим. Я говорю: «Не любишь!» А он взял одежду, сумочку и повесил. На это самое. Чтобы доказать, какой он сильный. И как меня любит...

Итак, с телевидения еду к Марине. Дом ее в районе новостроек заселен коллегами-газетчиками. Выйдешь из троллейбуса — пустырь, громадный дом, и в каждом окне — сослуживец.

Поднялся на четвертый этаж, звоню. И тут вспоминаю, что на мне пиджак Шаблинского. Распахнулась дверь. Марина глядит на меня с удивлением. Может, подумала, что я Шаблинского (из ревности) зарезал, а клифт его — украл...

(У женщин на одежду память какая-то сверхъестественная. Моя жена говорила о ком-то: «Да ты его знаешь. Отлично знаешь. Такой несимпатичный, в черных ботинках с коричневыми шнурками».)

У хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно. А я человек хороший. Заявляю без тени смущения, потому что гордиться тут нечем. От хорошего человека ждут соответствующего поведения. К нему предъявляют высокие требования. Он тащит на себе ежедневный мучительный груз благородства, ума, прилежания, совести, юмора. А затем его бросают ради какого-нибудь отъявленного подонка. И этому подонку рассказывают, смеясь, о нудных добродетелях хорошего человека.

Женщины любят только мерзавцев, это всем известно. Однако быть мерзавцем не каждому дано. У меня был знакомый валютчик Акула. Избивал жену черенком лопаты. Подарил ей шампунь своей возлюбленной. Убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром.

Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы девять лет в Мордовию посылала. Ждала...

А хороший человек, кому он нужен, спрашивается?..

Итак, я в чужом пиджаке.

— В чем дело? — говорит Марина, усмотрев в этом переодевании какое-то сексуальное надругательство. Какую-то оскорбительную взаимозаменяемость чувств...

— Это Мишкин пиджак, — говорю, — на время, для солидности.

— Хочешь сделать мне предложение? (Юмор с примесью желчи.)

— Будь я серьезным человеком, — запросто.

— Не пугайся.

— Я должен выступить на похоронах. Ильвес умер.

— Ильвес? С телевидения? Кошмар... Ты ел?

— Не помню. Я Ильвеса в глаза не видел.

— Есть бульон с пирожками и утка.

— Давай. Может, сбежать?

— У меня есть. На донышке...

Знаю я эти культурные дома. Иконы, самовары, Нефертити... Какие-то многозначительные черепки... Уйма книг, и все новенькие... А водки — на донышке. Вечно на донышке. И откуда она берется? Кто-то принес? Не допил? Занялся более важными делами?

Ревновать я не имею права. Жена, алименты... Долго рассказывать. Композиция рухнет...

— Откуда водка? — спрашиваю. — Кто здесь был?

Я не ревную, мне безразлично. Это у нас игра такая.

— Эдик заходил. У него депрессия.

Имеется в виду поэт Богатырев. Затянувшаяся фамилия, очки, безумный хохот. Видел я книгу его стихов. То ли «Гипотенуза добра», то ли «Биссектриса сердца». Что-то в этом роде. Белые стихи. А может, я ошибаюсь. Например, такие:

Мы рядом шли, как две слезы,
И не могли соединиться...

И дальше указание: «Ночь 21—22 декабря. Скорый поезд Ленинград — Таллин».

— У него всегда депрессия. Рабочее состояние. А у Буша рабочее состояние — запой...

— Не будь злым!

— Ладно...

— Хочешь посмотреть, что я в дневнике написала?

Относительно тебя.

Марина принесла вишневого цвета блокнот. На обложке золотые буквы: «Делегату Таллинской партийной конференции».

— Здесь не читай. И здесь не читай. Вот это:

«Он был праздником моего тела и гостем моей души. Ночь 19—20 августа 1975 года».

Я прочел и содрогнулся. Комнату заполнил нестерпимый жар. Голубые стены косо поползли вверх. Перед глазами раскачивались эстампы. Приступ удушья вышвырнул меня за дверь. С шуршанием задевая обои, я устремился в ванную. Склонился к раковине, опершись на ее холодные фаянсовые борта. Меня стошнило. Я сунул голову под кран. Ледяная вода потекла за шиворот.

Марина деликатно ждала в коридоре. Затем спросила:

— Пил вчера?

— Ох, не приставай...

— Обидно наблюдать, как гибнет человек.

— Знаешь, — говорю, — проиграть в наших условиях может быть, достойнее, чем выиграть.

— Тебе нравится чувствовать себя ушибленным. Ты любишься своими неудачами, кокетничаешь этим...

— Лимон у тебя есть?

— Сейчас.

Сию, жую лимон. Выражение лица — соответствующее. А Марина твердит свое:

— Истинный талант когда-нибудь пробьет себе дорогу. Рано или поздно состоится. Пиши, работай, добивайся...

— Я добиваюсь. Я, кажется, уже добился. Меня обругал инструктор ЦК по культуре. Послушай, а где это самое? Ты говорила — на доньшке...

Марина принесла какую-то чепуху в заграничной бутылке, два фужера. Включила проигрыватель. Естественно — Вивальди. Давно ассоциируется с выпивкой...

Знаешь, — говорю, — я мечтал побыть в нормальной обстановке.

— Мне хочется видеть тебя сильным, ясным, целеустремленным.

— Это значит — быть похожим на Шаблинского.

— Все нет. Будь естественным.

Вероятно, для меня естественно быть неестественным.

— Ты все чрезмерно усложняешь. Быть порядочным человеком не такое уж достижение.

— А ты попробуй.

— Хамить не обязательно.

И, правда, думаю, чего это я... Красивая женщина. Стоит руку протянуть. Протянул. Выключил музыку. Опрокинул фужер...

Слышу: «Мишка, я сейчас умру!» И едва уловимый дребезжащий звук. Это Марина далекой, свободной, невидимой, лишней рукой утвердила фужер...

— Мишка, — говорю, — в командировке.

— О, господи!..

Мне стало противно и я ушел. Вернее, остался.

Наутро текст моего выступления был готов.

«Товарищи! Грустное обстоятельство привело нас сюда. Скончался Хуберт Ильвес, видный администратор, партиец, человек долга...» Далее шло перечисление заслуг. Несколько беллетризованный вариант трудовой книжки. И наконец — финал: «Память о нем будет жить в наших сердцах!..»

С этим листком я поехал на телевидение. Там прочитали и говорят:

— Несколько абстрактно. А впрочем, это даже хорошо. По контрасту с более официальными выступлениями.

Я позвонил в редакцию. Мне сказали:

— Ты в распоряжении похоронной комиссии. До завтра. Чао!

В похоронной комиссии царил суета, напоминавшая знакомую редакционную атмосферу с ее фальшивой озабоченностью и громогласным лихорадочным бесплодием. Я курил на лестнице возле пожарного стенда. Тут меня окликнул Быковер. В любой редакции есть такая нестандартная фигура — еврей, безумец, умница. Как в любом населенном пункте — городской сумасшедший. Судьба Быковера довольно любопытна. Он был младшим сыном ревельского фабриканта. Окончил Кембридж. Затем буржуазная Эстония пала. Как прогрессивно мыслящий еврей, Фима был за революцию. Поступил в иностранный отдел

республиканской газеты. (Пригодилось знание языков.) И вот ему дали ответственное поручение. Позвонить Димитрову в Болгарию. Заказать поздравление к юбилею эстонской советской республики. Быковер позвонил в Софию. Трубку взял секретарь Димитрова.

— Говорят с Таллина, — заявил Быковер, оставаясь евреем при всей своей эрудиции. — Говорят с Таллина, — произнес он.

В ответ прозвучало:

— «Дорогой товарищ Сталин! Свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас. Позвольте от имени трудящихся рапортовать...»

— Я не Сталин, — добродушно исправил Быковер, — я — Быковер. А звоню я то, что хорошо бы в смысле юбилея организовать коротенькое поздравление... Буквально пару слов...

Через сорок минут Быковера арестовали. За кощунственное сопоставление. За глумление над святыней. За идиотизм.

После этого было многое. Следствие, недолгий лагерь, фронт, где Быковер вымыл песком и щелочью коровью тушу. («Вы говорили — мой щчательно, я и мыл щчательно...») Наконец он вернулся. Поступил в какую-то библиотеку. Диплома не имел (Кембридж не считается). Платили ему рублей восемьдесят. А между тем Быковер женился. Жена постоянно болела, но исправно рожала. Нищий, запуганный, полусумасшедший, Быковер топтался в редакционных холлах. Писал грошовые информации на редкость убогого содержания. «Около фабрики «Калев» видели лося». «В доме отставного майора зацвел исполинский кактус». «Вышел из печати очередной том Григоровича». И так далее. Быковер ежедневно звонил в роддом, не появилась ли тройня. Ежемесячно обозревал новинки ширпотреба. Ежегодно давал информацию к началу охотничьего сезона. Мы все его любили.

— Здорово, Фима! — произнес я кощунственно бодрым голосом.

— Такое несчастье, такое несчастье, — ответил Быковер.

— Говорят, покойный был негодяем?

— Не то слово, не то слово...

— Слушай, Фима, — говорю, — ты хоть раз пытался выпрямиться? Заговорить в полный голос?

Быковер взглянул на меня так, что я покраснел.

— Знаешь, чего бы мне хотелось? — сказал он. — Мне бы хотелось стать невидимым. Чтобы меня вообще не существовало. Я бы охотно поменялся с Ильвесом, но у меня дети. Трое. И каждому нужны баретки.

— Зачем ты сюда пришел?

— Я не хотел. Я мыслил так: допустим, скончался Быковер. Разве Ильвес пришел бы его хоронить?! Никогда в жизни. Значит, и я не пойду. Но жена говорит: «Фима, иди. Там будут все. Там будут нужные люди...»

— А я — нужный человек?

— Не очень. Но ты — хороший человек...

Выглянула какая-то девица с траурной повязкой.

— Кто здесь Шаблинский?

— Я, — говорю.

— Понимаете, Ильвес в морге. Одели его прилично, в темно-синий костюм. А галстука не оказалось. Галстук только что доставил племянник. И еще, надо приколоть к лацкану значок союза журналистов...

Сам я был в галстуке. Мне его уступил год назад фарцовщик Акула. Он же и завязал его каким-то необыкновенным способом. А ля Френк Синатра. С тех пор я этот галстук не развязывал. Действовал так: ослабив узел, медленно расширял петлю. Кончик оставался снаружи. Затем я осторожно вытаскивал голову с помытыми ушами. И наоборот, таким же образом...

— Боюсь, у меня не получится...

— Вообще-то я умею, — сказал Быковер.

— Прекрасно, — обрадовалась девица, — грузовая машина внизу. Там шофер и еще звукооператор Альтмяз. Вот галстук и значок. Доставьте покойного сюда. К этому времени все уже будут готовы. Церемония начнется ровно в три. И еще, скажите Альтмяз, что фон должен быть контрастным. Он знает...

Мы оделись, сели в лифт. Быковер сказал:

— Вот я и пригодился.

Внизу стоял грузовик с фургоном. Звукооператор Альтмяз дремал в кабине.

— Здорово, Оскар, — говорю, — имей в виду, фон должен быть контрастным.

— Какой еще фон? — удивился Альтмяз.

— Ты знаешь.

- Что я знаю?
- Девица просила сказать...
- Какая девица?
- Ладно, — говорю, — спи.

Мы залезли в кузов. Быковер радовался:

— Хорошо, что я могу быть полезен. Ильвес — нужный человек.

- Кто нужный человек? — поразился я.
- Младший Ильвес, сын.
- А чем он занимается?
- Работает в отделе пропаганды.
- Садись, — говорю, — поближе, здесь меньше трясет.
- Меня везде одинаково трясет.

Когда-то я был лагерным надзирателем. Возил заключенных в таком же металлическом фургоне. Машина называлась — автозак. В ней помимо общего «салона» имелись два тесных железных шкафа. Их называли стаканами. Там, упираясь в стены локтями и коленями, мог поместиться один человек. Конвой находился снаружи. В железной двери была проделана узкая смотровая щель. Заключенные называли это устройство: «Я тебя вижу, ты меня — нет»... Я вдруг почувствовал, как это неудобно — ехать в железном стакане. А ведь прошло шестнадцать лет...

По металлической крыше фургона зашуршали ветки. Нас качнуло, грузовик затормозил. Мы вылезли на свет. За деревьями желтели стены прозекторской. Справа от двери — звонок. Я позвонил. Нам отворил мужчина в клеенчатом фартуке. Альтмяэ вынул документы и что-то сказал по-эстонски. Дежурный жестом пригласил нас следовать за ним.

— Я не пойду, — сказал Быковер, — я упаду в обморок.

— И я, — сказал Альтмяэ, — мне будут потом кошмары сниться.

— Хорошо вы устроились, — говорю, — надо было предупредить.

— Мы на тебя рассчитывали. Ты вон какой амбал.

— Я и галстук-то завязывать не умею.

— Я тебя научу, — сказал Быковер, — я научу тебя приему «кембриджский лотос». Ты здесь потренируешься, а на месте осуществишь.

— Я бы пошел, — сказал Альтмяэ, — но я чересчур

впечатлительный. И вообще, покойников не уважаю. А ты?

— Покойники — моя страсть! — говорю.

— Гляди и учись, — сказал Быковер, — воспринимай зеркально. Узкий сюда, широкий сюда. Оборачиваем дважды. Кончик вытаскиваем. Вот тут придерживаем и медленно затягиваем. Смотри. Правда, красиво?

— Ничего, — говорю.

— Преимущество «кембриджского лотоса» в том, что узел легко развязывается. Достаточно потянуть за этот кончик и все.

— Ильвес будет в восторге, — сказал Альтмяэ.

— Ты понял, как это делается?

— Вроде бы, да, — говорю.

— Попробуй.

Быковер с готовностью подставил дряблую шею, залепленную в четырех местах лейкопластырем.

— Ладно, — говорю, — я запомнил.

В морге было прохладно и гулко. Коричневые стены, цемент, доска МПВО, огнетушитель — вызывающе алый.

— Этот, — показал дежурный.

У окна на кумачовом постаменте возвышался гроб. Не обыденно коричневый (под цвет несгораемого шкафа), а черный с галунами из фольги.

Ильвес выглядел абсолютно мертвым. Безжизненным, как муляж.

Я показал дежурному галстук. Выяснилось, что он хорошо говорит по-русски.

— Я приподниму, а вы затягивайте.

Сцепленными руками он приподнял тело, как бревно. Дальше — путаница и суeta наших ладоней... «Так... еще немного...» Задравшийся воротничок, измятые бумажные кружева...

— О'кей, — сказал дежурный, тронув волосы покойного.

Я вытащил значок и приколол его к темному шевитовому лацкану. Дежурный принес крышку с шестью болтами. Примерились, завинтили.

— Я ребят позову.

Вошли Альтмяэ с Быковером. У Фимы были плотно закрыты глаза. Альтмяэ бледно улыбался. Мы вынесли гроб, с отвратительным скрипом задвинули его в кузов.

Альтмяэ сел в кабину. Быковер всю дорогу молчал. А когда подъезжали, философски заметил:

- Жил, жил человек и умер.
- А чего быты хотел? — говорю.

В вестибюле толпился народ. Говорили вполголоса. На стенах мерцали экспонаты фотовыставки «Юность планеты».

- Вышел незнакомый человек с повязкой, громко объявил:
— Курить разрешается.

Это гуманное маленькое беззаконие удовлетворило скорбящих.

В толпе бесшумно сновали распорядители. Все они были мне незнакомы. Видимо, похоронные торжества нарушают обычную иерархическую систему. Безымянные люди оказываются на виду. Из тех, кто готов добровольно этим заниматься.

Я подошел к распорядителю:

- Мы привезли гроб.
- А кабель захватили?
- Кабель? Впервые слышу.

— Ладно, — сказал он, как будто я допустил незначительный промах. Затем возвысил голос, не утратив скорби: — По машинам, товарищи!

Две женщины торопливо и с опозданием бросали на пол еловые ветки.

- Кажется, мы больше не нужны, — сказал Альтмяэ.
- Мне поручено выступить.

— Ты будешь говорить в конце. Сначала выступают товарищи из ЦК. А потом уж все кому не лень. Все желающие.

— Что значит — все желающие? Мне поручено. И текст завизирован.

— Естественно. Тебе поручено быть желающим. Я видел список. Ты восьмой. После Лембита. Он хочет, чтобы все запели. Есть такая песня — «Журавли». «Мне кажется порою, что солдаты...» И так далее. Вот Лембит и предложит спеть ее в честь Ильвеса.

- Кто же будет петь? Да еще на холоде.
- Все. Вот увидишь.
- Ты, например, будешь петь?
- Нет, — сказал Альтмяэ.
- А ты, — спросил я Быкова.
- Надо будет — спою, — ответил Фима...

Народ тянулся к выходу. Многие несли венки, букеты и цветы в горшках. У подъезда стояли шесть автобусов и наш фургон. Ко мне подошел распорядитель:

- Товарищ Шаблинский?
- Он в командировке.
- Но вы из «Советской Эстонии»?
- Да. Мне поручили...
- Тело вы привезли?
- Мы втроем.

— Будете сопровождать его и в дальнейшем. Поедете в спецмашине. А это, чтоб не мерзнуть.

Он протянул мне булькнувший сверток. Это была завуалированная форма гонорара. Глоток перед атакой. Я смутился, но промолчал. Сунул пакет в карман. Рассказал Быкову и Альтмяэ. Мы зашли в буфет, попросили стаканы. Альтмяэ купил три бутерброда. Вестибюль опустел. Еловые ветки темнели на желтом блестящем полу. Мы подошли к фургону. Шофер сказал:

- Есть место в кабине.
- Ничего, — говорит Альтмяэ.
- Дать ему «маленькую»? — шепотом спросил я.
- Никогда в жизни, — отчеканил Быков.

Гроб стоял на прежнем месте. Некоторое время мы сидели в полумраке. Заработал мотор. Альтмяэ положил бутерброды на крышку гроба. Я достал выпивку. Фима сорвал зубами крошечную жестяную бескозырку. Негромко звякнули стаканы. Машина тронулась.

- Помянем, — грустно сказал Быков.
- Альтмяэ забылся и воскликнул:
- Хорошо!

Мы выпили, сунули бутылочки под лавку. Бумагу кинули в окно.

- Стаканы надо бы вернуть, — говорю.
- Еще пригодятся, — заметил Быков.

Фургон трянуло на переезде.

- Мы у цели, — сказал Быков.

В голосе его зазвучала нота бренности жизни.

Кладбище Линнаметса расположилось на холмах, поросших соснами и усеянных замшелыми эффектными валунами. Глядя на эти декоративные камни, журналисты

торопятся сказать: «Остатки ледникового периода». Как будто они застали и хорошо помнят доисторические времена.

Все здесь отвечало идее бессмертия и покоя. Руинами древней крепости стояли холмы. В отдалении рокотало невидимое море. Покачивали кронами сосны. Кора на их желтоватых параллельных стволах шелушилась.

Никаких объявлений, плакатов, киосков и мусорных баков. Торжественный союз воды и камня. Тишина.

Мы выехали на главную кладбищенскую аллею. Ее пересекали тени сосен. Шофер затормозил. Распахнулась железная дверь. За нами колонной выстроились автобусы. Подошел распорядитель:

— Сколько вас?

— Трое, — говорю.

— Нужно еще троих.

Я понял, что гроб — это все еще наша забота.

Около автобусов толпились люди с венками и букетами цветов. Неожиданно грянула музыка. Первый могучий аккорд сопровождался эхом. К нам присоединилось трое здоровых ребят. Внештатники из молодежной газеты. С одним из них я часто играл в пинг-понг. Мы вытащили гроб. Потом развернулись и заняли место в голове колонны. Звучал похоронный марш Шопена. Медленно идти с тяжелым грузом — это пытка. Я устал. Руку сменить невозможно.

Быковер сдавленным голосом вдруг произнес:

— Тяжелый, гад...

— Пошли быстрее, — говорю.

Мы зашагали чуть быстрее. Оркестр увеличил темп. Еще быстрее. Идем, дирижуем. Быковер говорит:

— Сейчас уроню.

И громче:

— Смените нас, товарищи... Алё!

Его сменил радиокomentатор Оя.

В конце аллеи чернела прямоугольная могила. Рядом возвышался холмик свежей земли. Музыканты расположились полукругом. Дождавшись паузы, мы опустили гроб. Собравшиеся обступили могилу. Распорядитель и его помощники сняли крышку гроба. Я убедился, что галстук на месте, и отошел за деревья. Ребята с телевидения начали устанавливать приборы. Свет ярких ламп казался неуместным. В траве чернели провода. Ко мне

подошли Быковер и Альтмяэ. Очевидно, нас сплотила водка. Мы закурили. Распорядитель потребовал тишины. Заговорил первый оратор с вельветовой новенькой шляпой в руке. Я не слушал. Затем выступали другие. Бодро перекликались мальчишки с телевидения.

— Прямая трансляция, — сказал Быковер. Затем добавил, — меня-то лично похоронят как собаку.

— Эпидстанция не допустит, — реагировал Альтмяэ. — Дорога к смерти вымощена бессодержательными информацией.

— Очень даже содержательными, — возмутился Быковер.

Слово предоставили какому-то ответственному работнику газеты «Ыхту лехт». Я уловил одну фразу: «Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия».

— Это еще что такое?! — поразился Альтмяэ. — В Эстонии не было самодержавия.

— Ну, против царизма, — сказал Быковер.

— И царизма эстонского не было. Был русский царизм.

— Вот еврейского царизма действительно не было, — заметил Фима, — чего нет, того нет.

Подошел распорядитель:

— Вы Шаблинский?

— Он в командировке.

— Ах, да... Готовы? Вам через одного...

Альтмяэ вынул папиросы. Зажигалка не действовала, кончился бензин. Быковер пошел за спичками. Через минуту он вернулся на цыпочках и, жестикулируя, сказал:

— Сейчас вы будете хохотать. Это не Ильвес.

Альтмяэ выронил папиросу.

— То есть как? — спросил я.

— Не Ильвес. Другой человек. Вернее, покойник...

— Фима, ты вообще соображаешь?

— Я тебе говорю — не Ильвес. И даже не похож. Что я, Ильвеса не знаю?!

— Может, это провокация? — сказал Альтмяэ.

— Видно, ты перепутал.

— Это дежурный перепутал. Я Ильвеса в глаза не видел. Надо что-то предпринять, — говорю.

— Еще чего, — сказал Быковер, — а прямая трансляция?

— Но это же бог знает что!

— Пойду взгляну, — сказал Альтмяэ.

Отошел, вернулся и говорит:

— Действительно, не Ильвес. Но сходство есть...

— А как же родные и близкие? — спрашиваю.

— У Ильвеса в общем-то нет родных и близких, — сказал Альтмяэ, — откровенно говоря, его недолюбливали.

— А говорили — сын, племянник...

— Поставь себя на их место. Идет телепередача. И вообще — ответственное мероприятие...

Возле могилы запели. Выделялся пронзительный дискант Любы Торшиной из отдела быта. Тут мне кивнул распорядитель. Я подошел к могиле. Наконец пение стихло.

— Прощальное слово имеет...

Разумеется, он переврал мою фамилию:

— Прощальное слово имеет товарищ Долматов.

Кем я только не был в жизни — Докладовым, Заплатовым...

Я шагнул к могиле. Там стояла вода и белели перерубленные корни. Рядом на специальных козлах возвышался гроб, отбрасывая тень. Неизвестный утопал в цветах. Клочок его лица сиротливо затерялся в белой пене орхидей и гладиолусов. Покойный, разминувшись с именем, казался вещью. Я увидел подпираемый соснами купол голубого шатра. Как на телеэкране пролетали галки. Ослепительно желтый шпиль церкви, возвышаясь над домами Мустамяэ, подчеркивал их унылую сероватую будничность. Могилу окружали незнакомые люди в темных пальто. Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне плечи. Опавшие лепестки шекотали сложенные на груди руки. Над моим изголовьем суетливо перемешался телеоператор. Звучал далекий, окрашенный самолюбованием, голос:

«...Я не знал этого человека. Его души, его порывов, стойкости, мужества, разочарований и надежд. Я не верю, что истина далась ему без поисков. Не думаю, что угасающий взгляд открыл мерило суматошной жизни, заметных хитростей, побед без триумфа и капитуляций без горечи. Не думаю, чтобы он понял, куда мы идем, и что в нашем судорожном отступлении радостно и ценно. И тем не менее он здесь... по собственному выбору...»

Я слышал тихий нарастающий ропот. Из приглушенных обрывков складывалось: «Что он говорит?..» Кто-то

тронул меня за рукав. Я шевельнул плечом. Заговорил быстрее:

«...О чем я думаю, стоя у этой могилы? О тайнах человеческой души. О преодолении смерти и душевного горя. О законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца...»

Кто-то отвел меня в сторону.

— Я не понял, — сказал Альтмяэ, — что ты имел в виду?

— Я сам не понял, — говорю, — какой-то хаос вокруг.

— Я все узнал, — сказал Быковер. Его лицо озарилось светом лукавой причастности к тайне. — Это бухгалтер рыболовецкого колхоза — Гаспля. Ильвеса под видом Гаспля хоронят сейчас на кладбище Меривяля. Там невероятный скандал. Только что звонили... Семья в истерике... Решено хоронить, как есть...

— Можно завтра или даже сегодня вечером поменять надгробья, — сказал Альтмяэ.

— Отнюдь, — возразил Быковер, — Ильвес номенклатурный работник. Он должен быть захоронен на привилегированном кладбище. Существует железный порядок. Ночью поменяют гробы...

Я вдруг утратил чувство реальности. В открывшемся мире не было перспективы. Будущее толпилось за плечами. Пережитое заслоняло горизонт. Мне стало казаться, что гармонию выдумали поэты, желая тронуть людские сердца...

— Пошли, — сказал Быковер, — надо занять места в автобусе. А то придется в железном ящике трястись...

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЧУДЕСА?

Пять лет назад произошел со мной в Ленинграде удивительный случай. Случай этот представляется мне столь загадочным и странным, что я до сих пор не могу найти ему ни разумного, ни мистического объяснения.

На площади Мира, неподалеку от Сенного рынка тянется цепь темно-серых, в прошлом доходных, домов. В одном из этих унылых зданий, зажатый между булочной и химчисткой, притаился мясной магазин. Об этом свидетельствует надпись МЯСО и МЯСОПРОДУКТЫ. В сумерках вывеска загорается дрожащим рубиновым светом и всякий раз выглядит по-новому:

ЯС И МЯС ПРО УК Ы, М СО МЯ О ОДУКТ,
а то еще лаконичнее: М С М С ОД К.

Сотни раз я пробегала мимо, рассеянно бросая взгляд на тусклую витрину, но внутрь заглянуть и в голову не приходило: уж очень невзрачная была лавочка. Но однажды, питая смутную надежду на фарш или курицу, я толкнулась в стеклянную дверь.

Магазин оказался крошечный. На мраморном полу чернели лужи, кое-где присыпанные опилками. В правой части прилавка красовалась затейливая пирамида из плоских консервных банок, на которых распатланый старик угрожал кому-то трезубцем. Банки назывались «Дары Нептуна». Слева синели лабрадорным блеском несколько обтянутых пленкой ошметков мяса. На стенах, словно приспущенные флаги, болтались на одной кнопке учебные пособия с изображением расчлененной на куски коровы и наименованием каждого куска.

За прилавком, прислонившись к стене и скрестив на груди руки, замер тучный продавец. Его отрешенное лицо было обращено к окну, за которым вырисовывались туманные очертания Сенного рынка. За кассой углубилась в книгу дама изысканной наружности с седым пучком на макушке. Покупателей в магазине не было.

Я потопталась в опилках, вляпалась в лужу, медленно прошла вдоль прилавка; нарочито разглядывая воображаемый продукт и театрально вздохнув, направилась к выходу. Когда я взялась за ручку двери, за моей спиной раздался явственный шепот: «Девушка, а девушка...» Я обернулась: кассирша по-прежнему самозабвенно читала, продавец по-прежнему гипнотизировал взглядом мокрые крыши. Я пожалала плечами и снова двинулась к двери. Шепот повторился: «Девушка, подойдите сюда». Я осторожно повернула голову: ни продавец, ни кассирша не обращали на меня никакого внимания. Не галлюцинации же у меня в самом деле от мясного недоедания! Я решительно направилась к кассе.

— Не разменяете ли рубль?

Она, вздохнув, перевернула страницу — сквозь стекло промелькнуло название книги: Шодерло де Лакло «Опасные связи». Затем выхватила тонкими пальцами протянутую бумажку и ловким профессиональным жестом отсчитала десять гривенников.

— Премного вам благодарна.

Дама рассеянно кивнула, не подымая глаз. Нет, это не она меня зазывала. Хлопнула дверь, и в магазин ввалились две тетki.

— Лук есть? — осведомилась одна.

— Лук весь, — в тон ей ответил продавец.

— А фрикадельки?

— Сегодня не ожидаем.

Тетки ворча направились к двери, я спешно двинулась за ними.

— Девушка, девушка, не уходите, — прошелестело за спиной, и я как пантера прыгнула к прилавку.

— Это вы меня звали?

Продавец перевел глаза из глубин Вселенной на мой подбородок и утвердительно прикрыл веки.

— В чем дело?

Его надутое, как недоенное вымя, лицо сморщилось в улыбке.

— О чем вы сегодня мечтаете? — тоненько пропел он. — Какое мясо вам больше по душе?

— Да любое, какое-нибудь, — растерянно промямлила я.

— Кролики, телячья печенка, язык, дичь?

Я судорожно мотнула головой и проглотила слюну.

— Почему же вы скромно молчите? — в его голосе послышался легкий упрек. — Ведь ничего нет проще. Погуляйте с полчаса, воздухом подышите и возвращайтесь назад... Не пожалеете.

И, утомившись от длинного монолога, он медленно привалился к стене и оцепенел.

Очутившись на улице, я начала лихорадочно соображать: что это? Розыгрыш, шутка, ловушка? Или плод больного воображения? Убраться подобру-поздорову или вернуться через полчаса? А если вернуться, то где взять деньги на все эти яства?

В двух кварталах от рынка, на улице Плеханова, жил мой старый приятель и бессменный кредитор. Почти не надеясь застать его дома, я взлетела на пятый этаж и позвонила. В ответ грянул разноголосый собачий хор.

Валерина семья состояла из хромой Феньки (Фемиды), тугоухой Паньки (Пандоры) и одноглазого Лашки (Лаокоона). Всех трех дворняг мой друг подобрал на улице в драматические периоды их жизни.

На звонок долго не открывали. Наконец, зашаркали шлепанцы, и Валера появился на пороге в бархатном халате, подпоясанном полосатым галстуком.

— Чего трезвонишь, как чумовая, — проворчал он, отпихивая ногой псов, налетевших на меня с безумными поцелуями.

— Как хорошо, что ты дома, я уж и не надеялась...

— Просто замечательно... ангина у меня фуникулярная.

— Ангина бывает фолликулярная, не путай со словом фуникулер.

— Ты что, учить меня с утра явилась? — Он задумался, оглядел себя в зеркало и развязал халат: — Пощупай-ка, похудел я от этой хвори?

— Ни капельки, — я знала его страстное желание походить на лозу. — Как был сарделька, так и есть...

Валерий брезгливо поморщился:

— От кого я это слышу? Взгляни лучше на себя, Лукерья, осознай и найми плакальщиц.

Мы вошли в комнату, и я плюхнулась в продавленное кресло, которое мой друг почему-то называл «вольтеровским».

— Прочешь тебе, что ли, как я Данте перевел? — он вытащил из пишущей машинки листок и откашлялся.

— Ты поинтересовался бы, зачем я ввалилась без звонка...

— За деньгами, вестимо...

Однако рассказ произвел на Валерия большое впечатление.

— Забавно, забавно, — пробормотал он конандойлевским голосом, протирая очки подолом халата, — я лично вижу тут два объяснения: или он тебя элементарно клеит, или принял за кого-то... эдакого. — Он поднял палец и торжественно им покрутил.

— Похожа я разве на человека, в которого влюбляется с первого взгляда мясник?

Валерий пожал плечами:

— Я и со второго бы не влюбился, но... у нас с мясником могут быть разные вкусы.

Я кротко проглотила оскорбление:

— Ну, а похожа я на человека, которого можно принять за кого-то... эдакого?

— Запросто. Ты в дубле, сапоги итальянские, вид непуганый. Господи, да чего тут голову ломать, беги и притарань мяса на нашу долю!

— Тогда давай пятерку.

— Не мелочись. — Валерий извлек из недр халата десять рублей. Внезапно его осенило: — Подожди-ка, сгоняем туда вместе.

— А как же ангина?

— Черт с ней. Мясо куда важнее, и потом я, как литератор, интересуюсь сутью ... Греки! — заорал он диким голосом. — Гулять!

Собаки, сбивая друг друга с ног, ринулись в переднюю.

— Валерка, не валяй дурака! Если мы ввалимся в магазин с тремя псами, нам не то что мяса...

— Без паники. Соблюдаем интервал. Ты войдешь пораньше, как участник, а я попозже, как соглядатай.

Через десять минут я с некоторой опаской приоткрыла магазинную дверь.

Продавец радостно всплеснул руками, затем скрестил их над головой и энергично потряс: так ликуают кубинцы при виде братьев Фиделя и Рауля.

— Счастлив снова видеть вас, генерал, — гаркнул он.

Я искоса взглянула на кассиршу. Обхватив виски тонкими пальцами, она упоенно следовала за виконтом де Вальмоном по парижским будуарам...

— Называйте меня Николаем, — продавец протянул через прилавок задубевшую пятерню.

Я было открыла рот, чтобы представиться, но он остановил меня движением ладони.

— Не трудитесь... все известно и, прошу вас, проходите.

Он поднял деревянный прилавок, толкнул ногой внутреннюю дверь, и мы очутились в узком, слабо освещенном коридоре. В нос ударил сырой зловещий запах гнили. По темно-зеленым стенам сочилась вода, под ногами хлюпнуло и что-то метнулось вбок. Я взвизгнула. Николай услужливо подхватил меня под руку:

— Еще шажок, и мы на месте.

«Место» оказалось тесной и немыслимо грязной подсобкой. В одном углу стояла плита, на ней закутанная старуха, бормоча и присвистывая, помешивала варево. Вдоль стены тянулся прилавок, покрытый листовым железом. Наверно он предназначался для разделывания мяса. На прилавке валялись топор и ножи, а между ними два молодых человека, сидя по-турецки, резались в очко. Увидев нас, они соскочили на пол и церемнонно поклонились.

— Мои помощники: Марк, Лев и Дарья Кузьминишна.

— Зови меня Дусей, детонька, — прокаркала старуха.

Внезапно за дверью послышалась возня, рычанье и пронзительный женский крик. Николай пулей вылетел наружу.

— Не желаете ли осмотреть владения, то есть холодильник? — невозмутимо спросил высокий с перебитым боксерским носом Марк.

Я рассеянно кивнула, пытаюсь сообразить, что же вытворяет в магазине Валерий со своей свитой. Марк

щелкнул засовом и приоткрыл окованную железом дверь. Повеяло арктическим холодом...

На вбитых в потолок чугунных крюках висели телячьи, бараньи и свиные туши, посеребренные, словно пушком, легким инеем. Розовели прислоненные к стене коровьи ноги. С верхних полок скалились свиные рыла с опущенными белыми ресницами, ниже громоздились кроличьи тушки, у самого пола пестрели неошипанные куропатки и рябчики.

Домашняя птица была небрежно свалена в угол.

У самого входа виселись корзины в человеческий рост, набитые целлофановыми пакетами. На корзинах болтались леденящие душу таблички: «Мозг», «Сердце», «Печень».

Я почувствовала легкую дурноту и обернулась. Марк исчез, дверь холодильника была закрыта. Обезумев от страха, я забарабанила в нее, навалилась всем телом и... оказалась в объятиях Дуси. Похоже, она наблюдала за мной в скважину.

— На чем вы остановили свой выбор? — галантно осведомился Лев, длинноволосый молодой человек с наружностью битла.

Я замычала и ринулась к плите. В этот миг хлопнула дверь, и в подсобку ворвался взъерошенный Николай.

— Чистый цирк, — радостно объявил он. — Какой-то псих вперся в магазин с тремя собаками. Мяса, видишь ли, ему подавай. Эти чертовы псы разодрались, все опилки размели. Ксения Леонардовна с перепугу чуть копыта не откинула. Я его выставяю, вежливо, между прочим, так этот, извините, шпендрик очкастый еще и гоношится:

— Где, говорит, ваши мясопродукты? — Николай задрал голову и трубно захохотал. — Сам едва на ногах держится, соплей перешибить можно, а туда же, права качает...

— Ну, а ты чего? — перебил Марк.

— Я — чего, я — Петровича свистнул... Это постовой наш, — учтиво повернулся он ко мне. — Дак Петрович эту свору в участок повел, будут ему там мясопродукты... а собаки-то, собаки — страшной войны, на живодерню так и просятся...

Марк и Лев одобрительно загоготали, Дуся захихикала у плиты.

Николай озабоченно взглянул на часы и хлопнул в ладоши:

— Припозднились мы чтой-то, закрываемся на перерыв. Вы, конечно, пообедаете с нами?

— С нами, с нами, — горным эхом отозвались помощники.

— Спасибо... в следующий раз... с удовольствием... очень тороплюсь, — пролепетала я, сделав несколько шагов к двери «Пожарный выход».

— Эта дверь заперта... пока... значит, спешите... — задумчиво пробормотал продавец, — ну, что же, не задерживаем, хотя и обидно... Марик, чего стоишь, обеспечь генерала продукцией.

Марк исчез за окованной дверью и через мгновение появился с туго набитой сеткой.

— Сколько я вам должна?

— Вы — нам? — ошоломел Николай. — О деньгах и не заикайтесь. Кушайте на здоровье и заходите в любое время.

Дверь «Пожарный выход» скрипнула и сама по себе отворилась. Я оказалась в захламленном дворе среди мокрых ящиков, бочек и досок.

Тяжелая сетка оттягивала руку, с крыши за воротник упали две крупных ледяных капли...

...Когда Валерий открыл мне дверь, лицо его выражало крайнюю степень отвращения:

— Ну, что, познал суть как литератор? — не удержалась я.

— Да ну тебя к черту... а какого хоть мяса дали?

— Понятия не имею, разворачивай сам.

Представшая перед глазами мясная панорама была поистине ошеломляющей.

— Ни фиги себе... — прошептал Валерий, опускаясь на пол. — И все это принадлежит тебе? Сколько же это стоит?

— Нисколько. — Я протянула ему сложенную десятку.

— По-моему, это эпизод из нашего коммунистического завтра, — сказал он.

— С некоторыми деталями из нашего средневекового

вчера, — и я поведала ему об очевидных и бесспорных элементах чертовщины.

Валерий небрежно махнул рукой:

— Не выдумывай, у тебя просто распад личности или паранойя. Наверно они приняли тебя за санэпидстанцию или ОБХСС.

— За ЦРУ они меня приняли! Говорю тебе, дело тут нечисто, а вот что, не понимаю.

— И не напрягайся. А нам с греками что-нибудь причитается?

Мы по-братски разделили добычу, и я поволокла свою сетку домой.

В тот же день, благодаря Валеркиным усилиям, весть о мясном приключении облетела друзей и знакомых. В дом началось паломничество желающих лично взглянуть на студень, печеночный паштет и заливной язык. Через два дня холодильник был устрашающе пуст.

Я позвонила Валерию:

— Как ты думаешь, идти мне туда снова?

— Не идти, а бежать, — убежденно сказал он.

— Жутковато что-то. Обман откроется и погонят меня в шею, как... одного литератора.

— Какой обман? Это же не ЦК партии и не Совет Министров. Несмотря на некоторые нарушения нашей конституции, советский человек все еще достаточно свободен... чтобы войти в мясную лавку.

— В случае с тобой это было особенно заметно...

Готовясь к новому визиту, я сделала укладку, маникюр и намазалась по программе № 1 «для особо торжественных случаев»... В «Мясопродуктах» была полная смена декораций. Вместо утонченной Ксении Леонардовны за кассой восседала широкоскулая и, вероятно, широкозадая девица. Слюнявя пальцы, она шуршала ассигнациями. Вместо пышного Николая суетился рыжий, сильно косящий юноша, обтирая тряпкой консервные банки под названием «Жир свиной внутренний».

Увидев меня, он замер и залился румянцем.

— Извините, ради Бога, не сразу вас заметил, — пролепетал он, — проходите, пожалуйста.

В подсобке я с облегчением увидела старых знакомых. Полулежа на стальном прилавке, как римляне во время трапезы, Марк и Лев играли в нарды. В цент-

ре полированной доски блестела бутылка армянского коньяка, и после каждого хода игроки делали из горлышка осязательный глоток. Дуся, примостившись у плиты, вязала огненно-алый шарф.

— А где же Николай? — как можно непринужденнее спросила я.

Они с недоумением переглянулись:

— Николай? Какой еще Николай?

— Продавец Коля...

— Вы что-то путаете, — ласково сказал рыжий, — никакой Коля тут отродясь не работал.

— А Ксения Леонардовна, кассирша?

— Бог с тобой, голубчик, — изумилась Дуся, — имя-то какое диковинное.

Я с тоской посмотрела на пожарный выход. Рвануть бы туда и никогда больше... Рыжий продавец будто угадал мои мысли:

— Боюсь, мы отнимаем у вас время... мясо предпочитаете сами выбрать или доверяете нашему вкусу?

— Доверяю... — пробормотала я, чувствуя себя полной идиоткой.

Когда Лев протянул мне набитую сетку, я решительно полезла за кошельком:

— Сколько с меня?

— О чем вы говорите? — завопил продавец. — О деньгах не заикайтесь даже.

Я дотащила мясо до Валеркиной квартиры и расплакалась. Собаки суетливо тыкались мне в подол, Валерий накапывал валерьянку.

— Ну, что ты? Что ты дергаешься? Это же простое мясо, а не баллистическая ракета и не марихуана...

— Откуда мясо, я тебя спрашиваю... И где Николай с кассиршей?

— Где, где... под следствием. Проворовались, а коллеги вычеркнули их из списков живых. В лучших традициях. Не мемориальную же доску с их именами на стену вешать!

— Валера, а может, в милицию заявить?

— О чем? Что тебе в мясной лавке мясо дают? Так тебя же в психодром укатают! Нет уж, дорогая, не делай глупостей. Пока такое счастье прет, — прини-

май это мясо как реальность, данную нам в ощущениях, и дели эти ощущения со мной и греками.

— Можешь подавиться этим мясом! Я в рот его не возьму, — взорвалась я.

— И напрасно, батенька! Откуда такая шепетильность? Неоткуда ей взяться. Не мясо, так что-то другое, не берешь, так даешь... Так что твои нравственные муки не оправданы... и они пройдут.

Валерий как в воду глядел...

Два месяца я обходила площадь Мира стороной. Но страх постепенно прошел, появилось любопытство...

И вот светлым мартовским утром меня принесло к заколдованной лавке. «Мясо и мясoproductы» исчезли. Была химчистка и была булочная. Напротив голубел пивной ларек. На тротуаре в подернутой льдистой корочкой луже застряла обертка от эскимо.

Но два знакомых окна пронзительно блестели, и в них громоздились барабаны, трубы и виолончель. Рядом на стремянке угрюмый парень вколачивал последнюю букву «Ы» в надпись «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ».

На дверях трепетал тетрадный листок: «Осторожно, окрашено!»

Я заглянула внутрь. Перламутровыми кнопками поблескивали аккордеоны, на стенах в прихотливом беспорядке повисли скрипки и альты, сияли саксофоны, в углу солидно расположился контрабас. В магазине не было ни души. Осмелев, я переступила порог, на цыпочках подошла к арфе и тронула струны.

— Что вам угодно? — раздался за спиной тихий голос.

Я как ужаленная отскочила в сторону. Передо мной стоял пожилой сутулый человек в твидовом пиджаке и дымчатых очках.

— Мы еще не торгуем, откроемся послезавтра, — мягко сказал он и вдруг, пристально взглянув на меня, добавил:

— Подождите, не уходите, пожалуйста.

Он исчез за знакомой дверью и через мгновение появился с длинным предметом в чехле.

— Что это? — попятилась я. — От кого?

— Это — гитара, прекрасный экземпляр, редкий в наших краях, — ответил он с легким поклоном, — и, пожалуйста, заходите в любое время...

— Это — гитара, — обреченно сказала я, грохнув предмет на стол перед Валеркиным носом.

Он восхищенно поцокал языком и провел пальцем по деке.

— Ты по-прежнему настаиваешь на версии «санэпидстанция»?

— А может, он принял тебя за Эдиту Пьеху? — сказал Валерий, настраивая гитару.

— За Эдит Пиаф он меня принял или за Азнавура! Не могу я больше жить в атмосфере булгаковщины.

— А гоголевщины? — деловито поинтресовался Валерий. — Он взял несколько аккордов — гитара звучала божественно.

— Послушай, — лицо его осветилось идеей, — а вдруг сейчас создается Всесоюзная мясо-музыкальная организация, вроде ВЦСПС? И они метят тебя в председатели?

— Да катись ты... дождешься от тебя сочувствия.

— Это от тебя не дождешься сочувствия ко всем, кто лишен магического дара: получать. И вообще, надоело мне твое куриное квохтанье. Если у тебя воображение дятла и никакой фантазии, сиди дома, не шляйся по магазинам. И гитару, ввиду твоей немужественности, я оставляю себе.

...Пролетело дождливое лето, наступил солнечный теплый сентябрь. Никаких мистических событий за это время не случилось, если не считать, что меня без всяких видимых оснований выгнали из общества по распространению политических и научных знаний. Но вот однажды позвонил Валерий и затараторил высоким фальцетом:

— Потрясающая новость! Угадай, что теперь на месте музыкальных товаров?

— И слышать не желаю! — в испуге я бросила трубку.

Через два дня от Валеры пришло письмо:

«Любовь моя, теперь там помещается *сберкасса*.

Не хочу травмировать твоих чувств и ни на что не намекую, но свинство стрелять у меня трешки до полочки, в то время как...

Всегда твой В.

P.S. Если решишься, мы с грсками покараулим тебя у входа и обеспечим безопасное отступление.»

А вечером он явился ко мне со своей свитой.

— Ну, экспериментни, ну что тебе стоит! И, если

Бог милостив, твоя жизнь, да и моя, надеюсь, приобретут цвет, вкус и запах.

— А если Бог не милостив?

— So what? Будем нищенствовать, как прежде.

Напрасно обвинял меня Валерий в отсутствии воображения: набитая деньгами сетка прочно утвердилась в моем распаленном мозгу.

Через неделю я провела рекогносцировку: отоварились на базаре редиской и постояла на безопасном расстоянии от заколдованного места.

Между булочной и химчисткой зеленела унылая вывеска «Сберегательная касса № 126 Октябрьского района».

Ночью меня мучили цветные кошмары, будто лечу я в собачьей упряжке над Эрмитажем, а навстречу в детском мальпосте катит Ксения Леонардовна, закутанная в простыню, и играет на флейте, а под нами ползет по сухому асфальту стадо дельфинов, морды их задраны кверху и в открытых пастьях, как вода в засоренной раковине, стоит зеленая масляная краска и торчит малярная кисть.

...На следующий день я позвонила Валерию. Было решено, что он подстрахует меня у входа...

Собаки не грызлись, не рвались с поводка, и мы чинной семейной группой приблизились к площади Мира.

— Сидеть, — тихо сказал Валерий, и греки дружно уперлись задами в асфальт.

— Ну, давай... — он легонько толкнул меня в спину.

Я завернула за угол, едва ступая на то ли деревянных, то ли ватных ногах, и подняла глаза...

...Сберкассы не было. Не было ни химчистки, ни булочной, ни даже пивного ларька.

Три дома пошли на капитальный. Одетые в леса, они смотрели на меня пустыми глазницами окон. Я подошла поближе. Вдоль тротуара тянулся деревянный тоннель, сооруженный для безопасности граждан. Над моей головой качалась люлька, в ней стояло корыто с зеленой краской, и хмурый работяга лениво помещивал ее малярной кистью.

ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ТРАВНИКОВА

I

Лейб-гвардии поручик Григорий Иванович Травников немало был опечален тем, что ему не пришлось съездить в Пензу на свадьбу старшего своего брата. Отпуска он добился только через несколько месяцев, и в начале мая 1780 года, в дождливый вечер, ямская тройка подвезла его прямо к воротам родного дома. Брата, однако же, он не застал: оказалось, что с самой Пасхи Андрей Иванович с молодой женой перебрался на летнее пребывание в Лошняки, подгородное имение своего тестя.

Когда на другой день Григорий Иванович отправился в Лошняки, солнце сияло и грело. На душе у поручика было легко — он вообще отличался легким, веселым нравом. Если бы кто-нибудь сказал ему, что наступающий день будет роковым в его жизни, он засмеялся бы — всякие суеверия были ему чужды.

Встретились братья с большой сердечностью. Сердечно и просто обошелся у них и тот деловой разговор, который в нынешних обстоятельствах надо было предвидеть. Оставшись круглыми сиротами почти в детстве, Травниковы сообща владели наследством, состоявшим из трех поместий (всего было у них около двух тысяч душ). Ввиду женитьбы Андрея Ивановича, теперь было удобнее разделиться. Братья легко договорились об условиях раздела, который они и оформили в Пензе через два месяца, когда Григорию Ивановичу пришла пора возвращаться в полк.

Свидание, как сказано, произошло в имении, принадлежавшем тестю Андрея Ивановича. Таким образом, Григорий Иванович очутился гостем не столько своего брата,

сколько семейства Зотовых, с которым давно был знаком, а теперь породнился.

Это семейство было невелико. Оно состояло из отставного капитан-поручика Василия Степановича Зотова с двумя дочерьми, из которых старшая, Анна Васильевна, недавно сделалась госпожой Травниковой. Младшей, Марье Васильевне, было всего четырнадцать лет. Она хорошо танцевала, играла на клавикордах, совершенно владела французским языком и недурно итальянским. Ее последнюю гувернантку, женевскую уроженку, полуфранцузенку, полуитальянку, недавно сманил соседний помещик. Новую брать не стоило, да и доставать было трудно. Девочка росла на свободе.

Григорий Иванович привез с собой флейту, с которой не расставался. Может быть, с этой флейты, с каких-нибудь вечерних дуэтов, и начался весенний усадебный роман между веселым двадцатитрехлетним офицером и четырнадцатилетней девочкой, почти подростком. Достоверно лишь то, что в конце июня, покидая приятные Лошняки, поручик увозил в сердце легкую, несколько шутивную влюбленность, в которой сам себе, впрочем, отдавал довольно ясный отчет. Хорошо запомнились ему также два-три мимолетных, но жарких поцелуя: он вспоминал о них много лет спустя. Машенька в день отъезда Григория Ивановича старалась казаться веселой, но спать ушла рано — и тут, в постели, пролиты были слезы.

В искушениях петербургской жизни Григорий Иванович, пожалуй, все-таки позабыл бы Машеньку. Но к следующей весне ему опять вышел отпуск, теперь уж на целый год, который он и провел в Пензе и в Лошняках. За этот год сердечные дела Травникова и Машеньки продвинулись далеко: молодые люди поклялись друг другу в вечной любви. Кончилось тем, что перед отъездом Григорий Иванович имел важный разговор с братом, а затем и с самим Василием Степановичем Зотовым. Последнее объяснение носило характер вполне драматический и решительный: влюбленные, взявшись за руки, вошли в кабинет Василия Степановича, стали на колени и просили благословения, объявив с твердостью, что «не токмо законы, но и сама смерть разлучить их уже неудобна».

Между тем, именно в законах заключалась вся труд-

ность положения. Сам Зотов ничего не имел против того, чтобы видеть обеих своих дочерей за братьями Травниковыми. Но в силу закона два брата не могли жениться на двух сестрах — разве только с особого разрешения духовных властей. Добиться такого разрешения почти не надеялись, и действительно, все хлопоты, которые были предприняты сперва в Пензе, а потом в Петербурге, к желанному концу не привели. Окончательный отказ был получен в октябре 1783 года. При сем известии, как ни слаба была в ней надежда, с Машенькой приключилась та «нервическая горячка», которой в подобных случаях хворали девушки ее века.

Ничто с такой силой не воспламеняет любви, как препятствия (так было, по крайней мере, в те времена). Григорий Иванович, не имея возможности отлучиться из Петербурга, слал отчаянные письма отцу возлюбленной, своему брату и ей самой. Машенька, перенеся болезнь, казалось, таяла у всех на глазах. Ей шел семнадцатый год. Мнения родных разделились. Старшая сестра, будучи нрава твердого (в покойную свою мать), считала, что буде иного выхода нет, то и должно Машеньке выкинуть дурь из головы. В том же мнении она укрепила и своего мужа. Очень возможно, что при других обстоятельствах она бы достигла того же и в отношении отца, но тут сыграл роль совершенно особый характер старика Зотова.

Это был человек, бесхарактерный на редкость. Довольно рано оставив военную службу, к которой не имел ни способностей, ни охоты, он женился. Жена управляла им, как хотела, и за шестнадцать лет безоблачного семейного счастья Василий Степанович размяк окончательно. Овдовев в 1776 году, он скучал нестерпимо и в особенности не мог выносить одиночества. С утра до вечера надо было сидеть с ним, разговаривать с ним, забавлять его, управлять им, потому что свобода на него действовала угнетающе и доводила порой до слез. Ему было пятьдесят три года. Он принадлежал как раз к числу тех непостижимо слезливых екатерининских бар, о которых так хорошо говорит позднейший историк. При всей своей мягкости он отчасти был и тиран. Пугаясь разлуки, на брак старшей дочери согласился он не иначе, как под условием, чтобы она положенную (и довольно большую) часть года, с весны до глубокой осени, проводила по-преж-

нему в Лошняхках. На все остальное время сам он перебирался в город.

На сей раз Машенькина болезнь удержала его в деревне. Старшая дочь с мужем уехала в Пензу (Андрей Иванович состоял председателем верхнего земского суда). Василий Степанович с Машенькою остались одни. Стояло ненастье, Машенька, словно тень, бродила по дому. Она плакала постоянно — то в ожидании письма от Григория Ивановича, то над полученным письмом. Василий Степанович раскладывал пасьянсы и громко вздыхал — от жалости к дочери и от скуки. Видя, что ни о чем, кроме Григория Ивановича, Машенька говорить не может, старик сам заводил о нем речь. Так постепенно, ради того только, чтобы не молчать, он сделался конфиденнтом своей юной дочери, с нею вместе ждал писем и нередко с ней вместе над ними плакал. Кончилось тем, что, в качестве классического наперсника, он сам содействовал бегству Машеньки из родного дома. Неизвестно, кому принадлежала эта сумасбродная, до последней степени легкомысленная затея, которая быстро, однако ж, была приведена в исполнение: в январе 1784 года Машенька неожиданно отбыла в Петербург с горничною Дуняшей. Там все уже было готово, положенные оглашения сделаны, кольца и свечи припасены; 4 февраля, в присутствии двух свидетелей, состоялось бракосочетание девицы Марии Васильевны Зотовой с лейб-гвардии поручиком Григорием Ивановичем Травниковым.

Супруги повели жизнь не слишком рассеянную, но и не замкнутую. Григорий Иванович умел выбрать общество, добропорядочное вполне. Машенька не принадлежала к числу ветреных модниц, но всегда одета была к лицу, была приветлива, без жеманства, умела принять гостей и вела хозяйство прилично званию. Впрочем, Травниковы принимали не часто, а выезжали, пожалуй, и того реже. По вечерам Машенька садилась за клавикорды, Григорий Иванович доставал из футляра, выстланного зеленым сукном, свою флейту, и тогда музыка оглашала небольшую, но нарядную квартиру в доме сапожника Танненбаума на Вознесенском проспекте. Играли Баха, модного композитора Моцарта, но всего чаще — дуэт из пиччиниева «Роланда». Наконец, 6 июля 1785 года, Бог дал Машеньке сына, которого назвали Василием,

в честь деда. Надо заметить, что Василий Степанович, поручив управление Лошняками старшей дочери, перебрался в Петербург; столичная жизнь пришлась ему чрезвычайно по вкусу; он жил с Травниковыми; его, может быть, не столько почитали, сколько баловали; его возили в театр, ради него созывали гостей, ему составляли партии виста, с ним болтали с утра до вечера — он был счастлив, как нельзя более.

Когда, где и как собиралась гроза, — неизвестно. По видимому, она надвинулась со стороны Пензы. Внезапное исчезновение Зотова с младшей дочерью, конечно, должно было породить толки и слухи. Вполне вероятно, что причина этого исчезновения узналась довольно скоро. Словом, последовал донос, и в начале 1788 г. возникло дело о незаконном браке. Документов не сохранилось. Известно лишь то, что Андрей Иванович ездил в Петербург, хлопотал перед государынею за брата и добился какой-то монаршей милости, после которой окончательный приговор все же остался довольно суров: брак, разумеется, был расторгнут; свидетели и священник, яко введенные в заблуждение, вовсе не понесли наказания; Григорий Иванович лишен офицерского чина, послан солдатом в армию и вскоре очутился под Очаковым; Марье Васильевне с отцом приказано было немедленно выехать из столицы и жить в деревне; все трое к тому же были подвергнуты церковному покаянию. Наконец, самая тяжкая кара постигла двухлетнего младенца Василия Травникова: он был оставлен при матери, но вычеркнут из дворянских книг и записан «выблядком без фамилии».

В Новгородской губернии, верстах в двадцати пяти от Валдая, находилось сельцо Ильинское, доставшееся Марье Васильевне от матери. По ревизии 1782 г. в нем числилось 108 душ обоего пола. Доход от имения был невелик, хозяева туда не заглядывали и, должно быть, не заглянули бы, если бы не случившееся несчастье. Ехать в Лошняки значило стать предметом любопытства со стороны всей Пензы и всей губернии. Марья Васильевна решила поселиться в Ильинском. 3 апреля 1788 г. она писала сестре: «Вчера съехали мы в родные, но неведомые места, кои зделались местом изгнания моего. Моему горю, дорогая Анюта, конца не предвижу. Коротко было мое шастие, неправое перед людьми,

но правое перед Богом. Ему же все ведомо, и на милость Его конечно уповаю... Васенька при мне, слава Богу, и слава Богу здоров. Батюшка в меланхолии, которую видя еще дивлюся своей крепости...»

Холмы вокруг Ильинского поросли густым лесом. В лесу водились медведи, рыси, много было волков; по ветвям прыгали белки и горностаи. Примерно за полверсты до усадьбы начинался подъем, ведущий к барскому дому; перед домом, как водится, полукруглый двор, окруженный службами. Другою, парадною стороною дом смотрел на обрыв, под которым синело озеро. У этого же обрыва, несколько в стороне от дома, стояла деревянная церковка во имя Ильи Пророка.

В летние месяцы, чтобы добраться в Ильинское к вечеру, надобно было выезжать из Валдая утром — и то на двуколках: дороги вокруг Валдая, родины славного колокольчика, остались непроезжими до сих пор. Зимой, разумеется, ездили скорее. Впрочем, Марье Васильевне некуда было ездить и некого ждать к себе. Что до Василия Степановича, то, не вынеся скуки, воя волков и собственной «меланхолии», следующей зимой он все-таки ускакал в Лошняки. Марья Васильевна чуть ли не радовалась его отъезду: забавлять старика уже стало ей невтерпеж. Она занялась хозяйством и воспитанием сына. Меж тем, самые тяжкие беды были еще впереди.

Григория Ивановича мы теряем из виду почти на три года, вплоть до взятия Измаила. Под Измаилом он был легко ранен; затем, восстановленный в чине по ходатайству Репнина, он немедля вышел в отставку и летом 1791 года приехал в Ильинское. Неизвестно, была ли Марья Васильевна подготовлена к перемене, которая в нем обнаружилась (их переписка не сохранилась). Полуседой, огрубелый, жилистый, он стал молчалив и скрытен. От его легкого нрава ничего не осталось. Глядя на него, можно было подумать, что он непрестанно сдерживает в себе злобу. Порой она прорывалась наружу. В ответ на расспросы, жалобы, слезы Марьи Васильевны он просил оставить его в покое, замечая, однако, что она, Марья Васильевна, ни в чем перед ним неповинна. Вскоре он почти перестал говорить с нею и запретил входить к нему в комнату. Для нас не вполне понятно, зачем он поселился в Ильинском. По-

видимому, он хотел быть ближе к сыну, которого не имел законных оснований отнять у Марьи Васильевны. С другой стороны, особой нежности не проявлял он и к мальчику.

Васеньке шел седьмой год. Он свободно уже болтал по-французски и немного по-итальянски. Местный священник учил его русской грамоте и Закону Божию. Григорий Иванович тотчас по приезде взял учение в свои руки, прогнав священника и заменив арифметикой Закон Божий. В церковь он не ходил и запретил водить туда сына. Так же раз навсегда разогнал он дворовых ребят, игравших с Васенькою в солдаты. Вообще он выказывал дерзкое неуважение к властям земным и небесным. Вскоре молва о безбожном помещике разошлась по уезду, от чего Марья Васильевна ждала новых напастей, но все обошлось благополучно. Григория Ивановича не трогали, и он никого не трогал, выражая свою мизантропию тем, что ревниво оберегал свое одиночество. Вероятно, будь он привычен к размышлениям, он стал бы одним из тех вольнодумцев, которых при Екатерине развелось много. Он даже мог далеко превзойти их, потому что к отрицанию Бога и государыни у него прибавлялось отрицание отечества: до этого в ту пору еще не доходили. В общем, насколько можно судить по отрывочным сведениям, пережитые невзгоды и несправедливости вселили в него глубокую ненависть ко всему существующему на земле порядку вещей. Но философствовать последовательно он не умел и не хотел, точно так же, как не имел особой склонности к чтению. Зато камердинер все чаще носил в его спальню подносы, уставленные графинами. Случалось, он провожал туда же дворовых девушек. Первая из них, столкнувшись однажды в сенях с Марьей Васильевной, охнула и прижалась к стене. Прочие были уже смелее. Марья Васильевна стала барскою барыней в собственном своем доме. И этот крест она понесла безропотно. Однако Богу было угодно испытать ее сильно.

Одним из немногих развлечений Григория Ивановича была псарня, которую он завел. Там разводились собаки крупной и злой породы: борзые и волкодавы. Однажды, в летний день 1793 г., Васенька бегал по двору. Две борзые, вырвавшись за решетку, помчались за ним,

настигли. Он упал лицом в траву, и это отчасти спасло его: искусаны оказались только ноги. Люди сбежались, Григорий Иванович собственноручно пристрелил обеих собак и перепорол половину дворни. Послали в Валдай за лекарем. Левая нога у Васеньки зажила легко, но правая загноилась, а потом стала сохнуть. Вызывали еще докторов, возили мальчика в Новгород. Там, тайком от Григория Ивановича, Марья Васильевна служила молебны у раки св. князя Всеволода — но все было напрасно. Через год ногу пришлось отнять по колено. Девятилетний мальчик стал ходить на костыле.

Должно быть, этому обстоятельству он и обязан ранней охотой к чтению. Марья Васильевна выписала из Лошняков свою девическую библиотеку и стала выписывать книги из Петербурга. К сожалению, мы не знаем в точности, каковы были ранние чтения Васеньки. С достоверностью можно назвать лишь одну книгу: «Арфаксад, халдейская повесть в шести частях», будто бы перевод с татарского, на самом деле сочинение некоего Петра Захарьина. У тогдашней публики она имела большой успех — Травников вспоминал ее впоследствии, как образчик глупости. Как бы то ни было, он читал много, и, конечно, как в те времена водилось, книги вовсе не детского содержания. Нужно думать, среди них было много стихов: французских, итальянских и русских, ибо попытки стихотворного авторства начались, когда Васеньке было всего двенадцать лет, как раз в ту пору, когда умерла его мать.

Григорий Иванович первое время следил за воспитанием мальчика, но вскоре забросил это занятие. Еще до кончины Марьи Васильевны (что случилось 11 октября 1797 г.), он сделался пьяницей. После смерти жены девичья окончательно стала его гаремом. В Ильинском восстановил он *jus primae noctis*.

Вследствие того, что брак Марьи Васильевны с Григорием Ивановичем был расторгнут, Ильинское по закону должно было перейти к ее сестре, жене старшего из братьев Травниковых, которая, однако, не пожелала воспользоваться своим правом в ущерб малолетнему племяннику. Андрей Иванович Травников отправился в Петербург хлопотать о том, чтобы Григорию Ивановичу было разрешено усыновить Васеньку: надеялись, что таким

образом мальчик получит дворянство и право наследовать своему отцу. После и Ильинское могло быть передано ему по дарственной записи.

В то время второй уже год царствовал Павел I. Зная характер этого государя, можно вполне поверить семейному преданию Травниковых, согласно которому ходатайство увенчалось успехом лишь благодаря довольно странному обстоятельству. На докладе статс-секретаря государь собрался уже положить резолюцию отрицательную. Но тут случайно взгляд его упал на дату Васенькина рождения: 6 июля 1785 г. Император Петр III был убит 6 июля 1762-го. Заметив это совпадение, Павел с приметным удовольствием отменил повеление своей матери и повелел «выблядку без фамилии» впредь быть законным сыном дворянина Григория Травникова, прибавив, однако же, на словах: «В память в Бозе почившего родителя моего и не в пример прочим».

II

Не имея возможности взять Васеньку у отца, родные покойной Марьи Васильевны посылали к нему гувернеров, которые, однако ж, не уживались с Григорием Ивановичем: сам он сыном нисколько не занимался, но никого к нему не хотел допустить. Васенька жил среди отцовского гарема. Наконец, Андрей Иванович снова явился в Ильинское, чуть не силой забрал племянника и повез в Москву.

Это было в 1800 году. Васеньке шел уже шестнадцатый год. Хотели его поместить в Университетский Благородный пансион, но его познания оказались недостаточны. Остановились поэтому на частном пансионе Владимира Васильевича Измайлова, литератора, пламенного поклонника Руссо. Ознакомившись с поэтическими опытами нового своего питомца, Измайлов пришел в ужас от того, что Васенька в стихах изъяснялся валдайским мужицким говором; действительно, в басне «Пегий и Соловый» он между прочим рифмовал так:

Однажды по утру Соловый наш пришотца
Испить воды у ихнего колодца.

Однако литературные способности в молодом человеке Измайлов тотчас почувствовал. Будучи непрестанно обуре-

ваем самыми возвышенными чувствами, он поставил себе целью быть своему воспитаннику не только руководителем, но и наперсником. Васенька платил ему благодарностью и расположением, но от вечной измайловской экзальтации его, видимо, коробило. Уже тогда обозначились в нем те свойства, которыми он впоследствии отличался: молчаливость и замкнутость.

С помощью Измайлова молодой Травников быстро наверстал потерянное время и через год вступил в Благородный пансион, — как раз тогда, когда Жуковский оттуда вышел. Таким образом, он уже не застал в пансионе тургеневского кружка, не участвовал ни в достопамятных «поддевических» собраниях, ни в «Дружеском литературном обществе». Однако вскоре он очутился в самой гуще московской словесности.

Он жил у Анны Степановны Зотовой, родной сестры своего деда. Ей было лет шестьдесят пять. Весь век она провела в девичестве.. В ранней молодости она влюбилась в Михайлу Михайловича Хераскова, не встретила взаимности, но примирилась со своим горем, а когда Херасков женился, сделалась приятельницей его жены. Возле Хераскова прошла ее жизнь — даже дом ее находился поблизости от жилища Хераскова, на Б. Хомутовке. Она была одной из тех беззаветно преданных ему женщин, которые окружали его заботами и поклонением, знали наизусть все его стихи, включая и знаменитую «Россиаду», пеклись о его славе. Едва ли не Анной Степановной было пушено в ход утвердившееся за ним прозвище *русского Гомера*. Теперь, когда слава Михайлы Михайловича приходила в упадок, Анна Степановна старалась поддержать жизнь в его салоне. Разумеется, она представила внучатого своего племянника *патриарху московских певцов*, Херасков обласкал молодого стихотворца, сказав, что его стихи «гладко писаны» — это была его обычная похвала. Впрочем, Травников понравился ему в самом деле. Белокурый, как все Травниковы, легкий в движениях несмотря на свою деревяшку, — тонкими чертами лица, прозрачностью кожи, свойственной ему тихостью Василий Григорьевич напомнил Хераскову юного Богдановича. Автор «Душеньки» теперь доживал век в деревенском уединении — кот и петух составляли все его общество. Некогда между ним и Херасковым вышла размолвка.

Но с тех пор минуло лет тридцать пять — дурные чувства забылись, а приятные воспоминания остались. Правда, под тихостью Травникова таились такие порывы и мысли, какие кроткому Богдановичу и не снились, но Херасков о том не знал.

У Хераскова Травников встречал осанистого Дмитриева и благородного, равно ко всем благосклонного Карамзина, окруженного поклонением молодых поэтов — Жуковского, Мерзлякова, Воейкова. Тут же являлись: учитель Травникова Измайлов, молодой историк Платон Петрович Бекетов и пожилой, но болтливый стихотворец Пушкин с оравой болтливых родственников: двумя сестрицами, братом и женой брата, злой и красивой. Дамская часть салона пополнялась невесткой Хераскова и ее дочерью Александрой Петровной Хвостовой, писавшей философские и мистические сочинения. Кроме литераторов, бывали университетские профессора, французские эмигранты, наследители хороших манер и хорошей кухни, и, наконец, просто знакомые — представители хлебосольной и брюзгливой московской знати. Среди этого общества Травников держался особняком. Его молчаливость приписывали смущению, а смущение — молодости, деревянной ноге и сиротству.

Херасков через год умер. Травников несколько раз появился в салоне Хвостовой, где ораторствовал Жозеф де Местр, но вскоре прекратил посещения. Не сойдясь со стариками, он в общем чуждался и молодых. Ему не нравились их взаимные восхваления, их напускная горячность; Жуковский, всеобщий любимец, казался ему неискренним ни в поэтической меланхолии, ни в слишком литературной шутливости; он не доверял учености Александра Тургенева, его раздражало тургеневское обжорство, так же, как запанибратство и влюбчивость, о которой Тургенев сам трубил направо и налево; в Воейкове Травников угадал низость души; в мальчишеских фарсах над Василием Пушкиным он не находил ничего забавного: считал, что Пушкин не стоит даже насмешек.

В 1806 г. он окончил пансион и поступил на службу по министерству юстиции. Анна Степановна Зотова умерла около того же времени. Несмотря на свою молодость, Василий Григорьевич повел жизнь замкнутую. Из прежних знакомых он поддерживал отношения с одним Измай-

ловым, который уговорил его напечатать несколько стихотворений в «Утренней Заре» и в «Вестнике Европы», причём Травников наотрез отказался поставить под ними хотя бы инициалы. Круг литераторов ему не нравился, в гостиных и в бальных залах московских бар ему нечего было делать. Он был небогат, не пил, не играл в карты, не танцевал. Вскоре завел он одно знакомство, странным образом решившее его участь.

* *
*

На Большой Дмитровке, насупротив Георгиевского монастыря, стоял деревянный одноэтажный дом со светелкой, принадлежавший лекарю Оттону Ивановичу Гилюсу — обрусевшему шведу. То был сутулый, сумрачный человек, с лысиной во всю голову. Лысину прикрывал он черной шелковой шапочкой, а на носу носил, разумеется, очки. Практика у него была небольшая — не потому, что он плохо лечил, а потому, что имел неприятнейшую привычку говорить больным правду. Вся Москва знала его историю с помещиком Козляиновым, у которого левая сторона была разбита параличом и которому Гилюс напрямик объявил, что ему остается недели две жизни; в ответ на это больной нашел в себе силу правой ногой дать лекарю такого тумака в живот, что тот отлетел на другой конец комнаты. С тех пор ему осталось лечить только мелких чиновников, мещан, да дворовых, но и тех смущало убранство его кабинета, в котором стены были увешаны стеклянными ящиками с коллекцией бабочек и жуков, а в углу, где надо бы быть иконам, стоял скелет. Гилюс, впрочем, не слишком любил лечить — он посвящал свое время чтению и сам работал над большим сочинением, в котором намеревался доказать научно невозможность бытия Божия. В доме стоял острый запах медикаментов, книг, камфары, необходимой для сохранения бабочек, и ароматического уксуса, кипевшего в маленькой курильнице.

Неизвестно, как и с чего началось их знакомство. Во всяком случае, к 1808 г. Травников сделался в доме своим человеком. Семейство Гилюса, впрочем, было невелико. Жена сбежала от него за несколько лет до того,

оставив двоих детей. Мальчику было теперь 17 лет — Гилюс отправил его учиться в Германию. Тринадцатилетняя девочка осталась при отце, который сам был ее учителем. Ее воспитание не было похоже на обычное воспитание тогдашних девиц. Елена знала французский и немецкий языки, имела хорошие познания в истории и географии, но главное внимание отца было обращено на математику, физику и химию. Девочка присутствовала при долгих беседах отца с Травниковым. Вскоре шутовская дружба возникла меж нею и молодым человеком. Травников забавлял ее эпиграммами, главной мишенью которых был он сам. Так, например, до нас сохранилась его надпись к скелету, стоявшему в кабинете Гилюса:

Я остова сего завидую судьбе:
Он сохранил все кости при себе.

Травников учил Елену итальянскому языку и началам русской пиитики, которую, впрочем, считал устарелюю. Они вместе читали Данта и переводили сонеты Петрарки. На лето Гилюс снимал небольшую дачу в подмосковном селе Всехсвятском. Елена и Травников вместе гуляли — обычным местом прогулок было кладбище и примыкавший к кладбищу бор. Елена собирала растения для своего гербария, на первом листе которого Травников написал стихи:

Прозрачные цветы в гербарии Елены
Мертвы как мумии — как мумии нетленны.

Их помертвельные, иссохшие красы
Люблю я созерцать в вечерние часы,

И мнится — надо мной дыханьем ароматным
Витают души их, и ужасом приятным

Душа исполнена. Но кто владеет ей?
Дельфийский светлый бог иль мрачный бог теней?

1809, января 15.

Внутреннюю историю своих отношений с Еленой Травников утаил навсегда. Пытаться установить, как и когда возникла любовь между ними и кому принадлежала любовная инициатива, — значило бы пуститься в необоснованные психологические догадки. Достоверно лишь

то, что однажды (это было в начале 1810 года) Травников спросил:

— Будете ли моей женой?

— Да, буду, — отвечала Елена, — и никогда вам не изменю.

Последняя фраза несколько странно звучит в устах четырнадцатилетней девочки, но не следует забывать, что жизненный опыт и общее развитие у Елены были не таковы, как у ее сверстниц и современниц.

Елена и Травников не скрывали своих чувств от доктора Гилюса, у которого с дочерью раз навсегда были установлены отношения, не допускавшие тайн или умолчаний. В ответ на декларацию влюбленных доктор ответил кратко:

— Дело ваше. Через два года можете пожениться, коли не передумаете.

Елене было ровно столько же лет, сколько было матери Травникова, когда начался роман между нею и Григорием Ивановичем. В залог будущего обручения Травников и Елена обменялись кольцами из своих волос. Не знаю дальнейшей судьбы этих колец, но в 1919 г. они еще были целы. Я видел их и держал в руках. Они почти одинакового соломенного цвета и одинаковой мягкости, разве что волосы Елены немного темнее.

Весной 1810 г. Гилюсы по обыкновению переехали во Всехсвятское, а в июле месяце произошла катастрофа. Под Москвой и в самой Москве открылась эпидемия оспы. Елена заболела и на десятый день умерла. Травников видел в гробу ее лицо, обезображенное иссиня-черными струпьями и застывшим гноем. Ее похоронили на том же кладбище, где недавно гуляла она с женихом. Так кончился этот роман, в котором с самого начала слишком многое напоминало о смерти и в котором вообще многое было слишком необыкновенно. Такие истории никогда не служат вступлением к семейному благополучию.

III

Вряд ли Травников переписывался со своим пьяным отцом. Однако, потрясенный смертью Елены и не имея близких, он, видимо, написал отцу. Сохранился ответ Григория Ивановича — обширнейшее послание, написанное

прыгающей рукой, по орфографии, фантастической даже для человека XVIII столетия. По существу это не письмо, а воспоминание о покойной Марии Васильевне Травниковой. В истории своего сына Григорий Иванович верно расслышал отголоски собственной драмы. Несмотря на сумбурность изложения и на то, что писавший порой пропускал то подлежащее, то сказуемое, поразительны в этом письме полнота, точность и своеобразная сила в изображении давних событий. Письмо насыщено неистовою любовью к женщине, которую Травников свел в могилу. Замечательно, что Григорий Иванович не только не умолчал о чувственной стороне своего увлечения четырнадцатилетнею Машей Зотовой, но писал о том почти бесстыдно, с отчаянием и сладостью: «Сии поцелуи, напечатленные младенческими устами твоей матери — о, помню их! ибо ничто нас не воспламеняет, как воображение о невинности, страстями тревожимой! В брачные ночи не содержали они уже толикого пламени».

Обычных утешений в этом письме не было. Сочувствие сыновнему горю выразилось у Григория Ивановича в бурном наплыве собственных воспоминаний. Только в конце письма имеется краткое предложение приехать в Ильинское.

Василий Григорьевич решил ехать не на побывку, а навсегда. Два месяца, пока тянулись хлопоты об отставке, он редко выходил из дому и никого не принимал, кроме Измайлова, который посетил его несколько раз, встречая все более молчаливый прием. Травников почти не раскрывал рта, и Измайлов заметил, что его молчание было «подобно железу, раскаленному на морозе». Наконец, в октябре он уехал.

Встреча с отцом была лишена всякой чувствительности. Для Василия Григорьевича были открыты комнаты, в которых некогда жил он с матерью. Таким образом, отец и сын разместились на разных концах дома. Нужно думать, они встречались не часто, но этой внешнею разобщенностью лишь подчеркивалось их главное и глубокое сходство: оба несли свой крест с сосредоточенным ожесточением. Разница была только в том, что Григорий Иванович пьянствовал, а Василий Григорьевич жил, страдал и ожесточался в совершенной трезвости. Вина он никогда не пил, а теперь забросил и трубку,

к которой одно время в Москве пристрастился. Бабы и девки из отцовского гарема, теперь уже, впрочем, полуупраздненного, с ним заигрывали, вероятно, в ожидании выгод, а быть может, из развратного соревнования. Однажды он не выдержал, поддался искушению, но затем изобразил происшедшее в стихах, исполненных неистового омерзения и такого же натурализма (невозможно из них привести хотя бы небольшой отрывок).

По отношению к крепостным держался он так, словно их и не было, не снисходя до деятельной жестокости, но и не вступаясь, когда их тиранил Григорий Иванович. В одном стихотворении, озаглавленном «Эклога» (вероятно, иронически), он говорит по этому поводу:

На сей земле, где учрежден один
Закон неуголимого* страданья, —
Да страждет раб, коль страждет господин!

С каждым годом жизнь в Ильинском становилась мрачнее. Она стала ужасной с 1814 года, когда у Григория Ивановича начались приступы буйного помешательства. После того, как он дважды пытался поджечь крестьянские дома, его пришлось перевести из барского дома во флигель, стоявший на берегу озера и когда-то служивший банею. Флигель заперли на замок, а единственное окно забрали железной решеткой. Флигель тотчас же превратился в хлев. Стекла в окне Григорий Иванович выбивал и летом, и зимою. Иногда целыми сутками он стоял у окна, тряс решетку и выл. Голос его доносился до самого дома. В такие дни и ночи Василий Григорьевич прекращал обычные занятия, сидел неподвижно в глубине комнаты и терпеливо ждал, когда вой кончится.

Все эти годы он писал много, но замечательно, что прямое упоминание об Елене имеется лишь в одном неоконченном стихотворении, в котором речь идет о первой части «Божественной комедии»:

Разлуки нашей минул год четвертый.
Без слез упав на камень гробовой,
Клянусь тебе словами книги той:
Amor condusse noi ad una morte.

* Рукопись не совсем разборчива. Может быть, следует читать «неуголимого». В. Х.

В 1817 году Григорий Иванович умер, шестидесяти лет от роду, Василий Григорьевич остался в полном одиночестве, которое, кажется, было для него тем упоительнее, чем горше. До сих пор он изредка переписывался с Измайловым, поручая ему покупку книг. В обмен на эту любезность посылал он Измайлову свои стихи, но ни в коем случае не позволял их печатать, несмотря на постоянные просьбы Измайлова, который в эту эпоху был издателем «Вестника Европы» (между прочим, в июльской книжке 1814 года он впервые напечатал стихи юного лицеиста Александра Пушкина). После смерти отца Травников, видимо, захотел порвать последнюю связь с внешним миром. Он внезапно прекратил переписку с Измайловым, и это обстоятельство стало причиной трагикомического события, едва ли не беспримерного в истории литературы.

Не получая ответа на свои письма и откуда-то прослышав о смерти валдайского помещика Травникова, Измайлов вообразил, что умер не Григорий Иванович, а сам Василий Григорьевич. Не долго думая, собрал он его стихи и предложил их издать Платону Бекетову, который в ту пору занимался издательской деятельностью (в частности, только что выпустил четырехтомное собрание сочинений Богдановича). В 1818 году «Стихотворения Василия Травникова» были отпечатаны в Университетской Типографии. На заглавном листе красовалась, как было принято в этих случаях, виньетка, изображавшая пухлого гения с урной и потухшим факелом. Стихам было предпослано краткое, но чувствительное жизнеописание автора, «составленное его другом В. В. И.», т. е. Измайловым.

В сущности, такому человеку, каков был Травников, вся эта история должна была показаться комической, а в некотором смысле даже приятной. Однако, душа человеческая извилиста. Должно быть, где-то в глубине Травникова сидела досада на человечество. Словом, прочитав в «Московских Ведомостях» объявление о том, что такая-то книга выходит в свет и «будет продаваться в будущую среду», он пришел в крайнее раздражение и тотчас послал Платону Бекетову следующее письмо, воспроизводимое здесь по копии, которую Травников для себя сохранил:

«Милостивый Государь,
Платон Петрович!

Вы будете удивлены сим письмом, ибо не часто случается получать послания из полей Элизейских. Однако ж, мое удивление было не менее Вашего, когда я осведомился о выходе стихотворений покойного Василья Травникова. Имею честь почтовою прозою уведомить Вас о том, что некогда Карл Орлеанский возвестил своим недругам и друзьям стихами:

Si fais a tout gens savoir
Qu'encore est vive la souris.

Человек, пожелавший оставить общество гг. сочинителей, не должен еще почитаться мертвым. Посему, сколько ни льстит мне издание Ваше, я нахожусь вынужден просить о незамедлительном уничтожении сей книги, сколько бы ни было ее отпечатано и где бы она ни находилась.

Честь имею быть,

Милостивый Государь!

Ваш покорный слуга

Василий Травников».

В высшей степени характерно для Травникова, что он не полюбопытствовал взглянуть на книгу и не попросил доставить ему экземпляр. Такой экземпляр, однако, нашелся впоследствии в его библиотеке. Очевидно, Измайлов и Бекетов, которых смущение не трудно себе представить, нашли нужным послать ему книгу. Несомненно, они при этом ему писали, но Травников уничтожал почти всю получаемую корреспонденцию.

* *

*

Летом 1906 года я жил в имении, недалеко от станции Бологое. В одну из поездок по валдайскому уезду очутился я на довольно высоком, обрывистом холме, под которым лежало озеро. Над обрывом стояла маленькая деревянная часовня, стены которой были покрыты облупившейся синей краской. Она оказалась заколочена. Невдалеке от нее я набрел на несколько покосившихся,

вросших в землю могильных памятников. На одной плите мне удалось прочесть стихотворную эпитафию, которая меня изумила:

Василий Травников лежит под камнем сим.
Прохожий! лживых слез не проливай над ним.

Обычные даты рождения и смерти отсутствовали. От бологовских жителей я ничего не узнал, кроме того, что на месте часовни стояла некогда церковь, лет двадцать тому назад сгоревшая вместе с усадьбой. Фамилию Травникова мои собеседники слышали в первый раз, так же, как и я сам.

Тринадцать лет спустя, в 1919 году, я принимал участие в московской Книжной Лавке Писателей. Однажды разговорился я с одним покупателем, который отрекомендовался инженером путей сообщения Александром Николаевичем Травниковым. Разумеется, мне тотчас вспомнилась валдайская эпитафия, и тут, к моему удивлению, оказалось: во-первых, — что Травников был поэт, а во-вторых — что мой собеседник приходится родным праправнуком его дяде Андрею Ивановичу.

Наше знакомство вскоре привело к тому, что в мое распоряжение была предоставлена часть семейного архива Травниковых. В нем нашлись драгоценные материалы, из которых на первое место надо поставить экземпляр вышеупомянутого издания Бекетова, книжный уникум, которого нет ни в одном книгохранилище и который не обозначен в каталогах редчайших русских изданий. Далее оказалось, что анонимным историком литературы была составлена брошюра, содержащая критико-биографический очерк, а также ряд стихотворений Травникова, отчасти вошедших в бекетовское издание, отчасти неизданных. Брошюра издана в Пензе, без обозначения года, должно быть, на средства семейства Травниковых. Из нее видно, что в руках биографа был тот же архив, который позднее был предоставлен мне и в котором я нашел обширное собрание рукописей самого поэта, несколько его писем к Измайлову, а также переписку его родственников и восемь толстых тетрадей, содержащих дневники его матери. Наконец, собрание завершалось несколькими книгами из библиотеки Травникова. Просматривая все это, я тотчас убедился, что биографии, составленные Измай-

ловым и анонимным автором в Пензе страдают крайней неполнотой, неточностью и стремлением «облагодетельствовать» жизненную историю всей Травниковской семьи. Всерьез считаться с этими работами нельзя. Между прочим, какая-то ирония судьбы преследовала Травникова в том отношении, что сперва Измайлов объявил его умершим, когда он еще был жив, а затем второй, пензенский биограф поэта, на основании семейного предания, отнес время его кончины к 1819 году. Между прочим, семейное предание, как часто бывает, оказалось ошибочно. Среди книг Травникова я нашел первое издание «Руслана и Людмилы». На обороте его титульного листа имеется карандашная надпись, сделанная рукою Травникова: «Молодой автор тратит свои дарования на низкое зубоскальство. Следствие воспитания, коему начало положено сочинениями вроде Опасного Соседа». Эта надпись, при всей несправедливости и односторонности весьма любопытная и крайне характерная для Травникова, к тому же доказывает, что в момент выхода пушкинской поэмы, т. е. в конце июля — в начале августа 1820 года, Травников был еще жив. Таким образом, он скончался не ранее осени 1820 года. О последних годах его жизни ничего не известно, кроме того, что они протекли в мрачном уединении Ильинского.

* *
*

Мои занятия архивом Травникова были внезапно прерваны поспешным отъездом владельца в одну из белых армий. В моем распоряжении остались лишь выписки, сделанные в 1919 году. На основании этих выписок написан и настоящий очерк. Не имея под рукой собрания стихотворений Травникова, я лишен возможности подробнее ознакомить читателей с его поэзией. Поэтому ограничусь несколькими замечаниями.

То, что Травников умер всего 35 лет, причем никаких сведений о его болезни не сохранилось, и то, что он, видимо, сам распорядился касательно вышеприведенной надписи на своей бескrestной могиле, одно время заставляло меня думать, не покончил ли он с собой. Позже я пришел к выводу, что самоубийства не могло быть. Несомненно, жизнь его тяготила; она ему представля-

лась изнурительной, исполненной тайной злости. Всего яснее это ощущение им выражено в стихотворении «Ильинское». Здесь в первой строфе дано изображение душевной июльской ночи (быть может, накануне Ильина дня), после чего следуют еще две строфы:

Кто их знает, у забора
Злого духа или вора
Окликали петухи?
Но взошли лучи багряны,
И на росные поляны
Скот выводят пастухи.

Под напевами свирели,
Затихая, присмирели
Холмы, роши и поля, —
Но обманчивая тихость
Затаила злость и лихость
Изнурительного дня.

Несомненно, он ждал и хотел смерти. В его черновиках я нашел наброски стихотворения, кончавшегося такими словами:

О, сердце, колос пыльный!
К земле, костями обильной,
Ты клонишься, дремля.

Но приблизить конец искусственно было бы все же противно всей его жизненной и поэтической философии, основанной на том, что, не закрывая глаз на обиды, чинимые свыше, человек из единой гордости должен вынести все до конца.

Я в том себе ищу и гордости, и чести,
Что утешение отверг с надеждой вместе,

говорит он. Отвергая надежду и утешение в жизни, в поэзии от стремился к отказу от всяческой украшенности. Конечно, с формальной стороны его творчество еще связано с XVIII веком. Но не Карамзин, не Жуковский, не Батюшков, а именно Травников начал сознательную борьбу с условностями книжного жеманства, которое было одним из наследий XVIII столетия. Впоследствии более других приближаются к Травникову Баратынский и те русские поэты, которых творчество связано с Баратынским. Быть может, те, кого принято считать учениками Баратынского, в действительности учились у Травникова?

ПАСТИШ ХОДАСЕВИЧА

8 февраля 1936 года в известном парижском зале Общества русских эмигрантов Salle Las Cases появились Владислав Ходасевич и В. В. Сирин, пришедшие сюда, чтобы принять участие в благотворительной программе чтения их произведений.

Сирин — вскоре ставший известным под своим настоящим именем Владимир Набоков — прочел три рассказа. Ходасевич читал с большим успехом любопытную вещь — «Жизнь Василия Травникова», которая целиком была опубликована в трех февральских номерах газеты «Возрождение» за 1936 год.

Это было открытие ранее неизвестного крупного русского поэта. Ходасевич писал о том, как однажды натолкнулся на заброшенную могилу Василия Травникова, как встретил его родственников и с их помощью проник к семейному архиву, где нашел изданную в начале XIX века в Пензе брошюру с прекрасными стихами.

Детальный отчет о поисках и жизнеописание Василия Травникова вызвали большой интерес среди русской читающей публики. Однако в дальнейшем о Травникове не было написано ни строки — ни за границей, ни в СССР. Все объясняется тем, что найти что-либо было невозможно: Василий Травников не существовал никогда. Вся его жизнь и все его творчество были выдуманы Владиславом Ходасевичем, чтобы развлечь себя и тех друзей, которых он посвятил в секрет.

«Записки Травникова» были написаны Ходасевичем в подражание манере конца XVIII века в лексике, стиле, выражении чувств и образе мыслей некоего «забытого» поэта. Такое произведение можно назвать стилизацией, но по-английски и по-французски существует более точное определение этого жанра. А именно — *pastiche* (пастиш), и символисты, и формалисты в свое время им владели. Пастиш несет в себе элементы мистификации, и в этом смысле повесть Тынянова «Подпоручик Киже» — не пастиш, потому что никто из читателей никогда не мог бы подумать, что она написана во времена Павла I. «Травников» же очень многих ввел в заблуждение. Читатели полагали, что Ходасевич действительно открыл новое имя среди забытых русских литераторов.

Иногда пастиш пишется с целью высмеять старый образчик повести или стихотворения, но тогда он уже становится пародией. Этот прием мы находим и в живописи, и в музыке, где несколько мотивов, и даже принадлежащих разным авторам, могут быть соединены в одно целое. Французский энциклопедический словарь так определяет пастиш: «Литературное произведение, в котором автор подражает стилю и манере другого автора (или авторов), иногда — для собственной выгоды (тогда это плагиат), иногда для насмешки (пародия), иногда для того, чтобы ввести читателя в заблуждение (мистификация), а иногда для собственной забавы и некоторого «упражнения» в языке».

Публикацию подготовил Григорий ПОЛЯК

Владимир НАБОКОВ

СЛУЧАЙНОСТЬ

«Случайность» один из моих ранних рассказов, написанный еще в начале 1924 года «в последнем приступе» холостяцкой жизни, был отвергнут в Берлине ежедневной эмигрантской газетой «Руль» («Мы не печатаем анекдотов о кокаинистах», — заявил редактор; 30 лет спустя мистер Росс из «Нью-Йоркер» с такой же интонацией, отвергая мой рассказ «Сестры Ван», произнес: «Мы не печатаем акростихов») и был послан с моим близким другом и замечательным писателем Иваном Лукашом в рижскую газету «Сегодня», более эклектический эмигрантский орган, в котором он и был опубликован 22 июня 1924 года, о чем я бы никогда не вспомнил, если бы этот рассказ не обнаружил Эндрю Филл несколько лет назад.

Владимир НАБОКОВ
[Декабрь 31] 1974
Montreux, Switzerland

Он служил лакеем в столовой германского экспресса. Звали его так: Алексей Львович Лужин.

Ушел он из России пять лет тому назад, и с тех пор, перебираясь из города в город, перепробовал немало работ и ремесел: был батраком в Турции, комиссионером в Вене, маляром, приказчиком, еще чем-то. Теперь по обеим сторонам длинного вагона лились, лились поля, холмы, поросшие вереском, сосновые перелески, — и бульон в толстых чашках на подносе, который он гибко проносил по узкому проходу между боковых столиков, дымился и подплескивал. Подавал он с мастерской торопливостью, ловко подхватывал и раскидывал по тарелкам ломти говядины, и при этом быстро наклонялась его стриженная

Copyright © 1975 by Vladimir Nabokov. All rights reserved.

голова, напряженный лоб, черные, густые брови, подобные перевернутым усам.

В пять часов дня вагон приходил в Берлин, в семь катил обратно по направлению к французской границе. Лужин жил, как на железных качелях: думать и вспоминать успевал только ночью, в узком закуте, где пахло рыбой и нечистыми носками. Вспоминал он чаще всего кабинет в петербургском доме — кожаные пуговицы на сгибах мягкой мебели, жену свою Лену, о которой пять лет ничего не знал. Сам он чувствовал, как с каждым днем все скудеет жизнь. От кокаина, от слишком частых понюшек опустошалась душа, и в ноздрях, на внутреннем хряще, появлялись тонкие язвы.

Когда он улыбался, крупные зубы его вспыхивали особенно чистым блеском, и за эту русскую белую улыбку по-своему любили его двое других лакеев — Гуго, коренастый, белокурый берлинец, записывавший счета, и быстрый, востроносый, похожий на рыжую лису, Макс, разносивший кофе и пиво по отделениям. Но за последнее время Лужин улыбался реже.

В те свободные часы, когда яркая хрустальная волна яда била его, сиянием пронизывала мысли, всякую мелочь обращала в легкое чудо, он кропотливо отмечал на листке все те ходы, что предпримет он, чтобы разыскать жену. Пока он чиркал, пока еще были блаженно вытянуты все те чувства, ему казалось необычайно важной и правильной эта запись. Но утром, когда ломило голову и белье прилипало к телу, он с отвращением и скукой глядел на прыгающие, нечеткие строки. А с недавних пор другая мысль стала занимать его. С той же тщательностью принимался он вырабатывать план своей смерти — и кривой отмечал падения и взмахи чувства страха и, наконец, чтобы облегчить дело, назначил себе определенный срок: ночь с первого на второе августа. Занимала его не столько сама смерть, как все подробности, ей предшествующие, и в этих подробностях он так запутывался, что о самой смерти забывал. Но как только он начинал трезветь, тускнела прихотливая обстановка той или другой выдуманной гибели, и было ясно только одно: жизнь оскудела вконец и жить дольше незачем.

* *
*

А первого августа, в половине седьмого вечера, в просторном, полутемном буфете берлинского вокзала сидела за голым столом старуха Ухтомская, Марья Павловна, тучная, вся в черном, с желтоватым, как у евнуха, лицом. Народу в зале было немного. Мутно поблескивали медные гири висячих ламп под высоким, туманным потолком. Изредка гулко громыхал отодвинутый стул.

Ухтомская строго взглянула на золотую стрелку стенных часов. Стрелка толчком двинулась. Через минуту вздрогнула опять. Старуха встала, подхватила свой черный глянцевитый саквояж и шумящими, плоскими шагами, опираясь на шишковатую мужскую трость, пошла к выходу.

У решетки ее ждал носильщик. Подавали поезд. Мрачные, железного цвета, вагоны тяжело пятились, проходили один за другим. На фанере международного, под средними окнами белела вывеска: «Берлин — Париж»; международный, да еще ресторан, где в окне мелькнули выставленные локти и голова рыжего лакея, одни напомнили сдержанную роскошь довоенного Норд-экспресса.

Поезд стал; лязгнули буфера; длинный, свистящий вздох прошел по колесам. Носильщик устроил Ухтомскую в отделении второго класса — для курящих, — так старуха просила. В углу у окна уже подрезывал сигару господин с наглым оливковым лицом в костюме цвета мэкинтош.

Марья Павловна расположилась напротив. Медленным взглядом проверила, все ли вещи ее на верхней сетке. Два чемодана, корзина. Все. И на коленях глянцевитый саквояж. Строго пожевала губами.

Ввалилась чета немцев, шумно дыша.

А за минуту до отхода поезда вошла дама, молодая, с большим, покрашенным ртом, в черной плотной шляпе, скрывающей лоб. Устроила вещи и ушла в коридор. Господин в оливковом пиджаке посмотрел ей вслед. Она немелыми рывками подняла раму, высунулась, попрощалась с кем-то. Ухтомская уловила лепет русской речи.

Поезд тронулся. Дама вернулась в купе. На лице еще медлила улыбка, погасла, лицо стало сразу усталым. Мимо окна плыли задние кирпичные стены домов; на одной была реклама: исполинская папироса словно набитая золотой соломой. В лучах низкого солнца горели крыши, мокрые от дождя.

Марья Павловна не выдержала. Мягко спросила по-русски:

— Вам не помешает, если я положу саквояж сюда?..

Дама встрепелась:

— Ах, пожалуйста...

Оливковый господин в углу напротив одним глазом глянул на нее через газету.

— А я вот еду в Париж, — сообщила Ухтомская, легко вздохнув. — Там у меня сын. Боюсь, знаете, оставаться в Германии.

Вынула из саквояжа просторный платок, крепко им потерла нос — слева направо и обратно.

— Боюсь. Говорят, революция тут будет. Вы ничего не слыхали?

Дама покачала головой. Подозрительным взглядом окинула господина с газетой, немецкую чету.

— Я ничего не знаю. Третьего дня из Петербурга приехала.

Пухлое, желтое лицо Ухтомской выразило живое любопытство. Поползли вверх мелкие брови.

— Да что вы!..

Дама сказала быстро и тихо, все время глядя на носок своего серого башмачка:

— Да. Добрый человек вывез. Я тоже теперь в Париж. Там у меня родственники.

Стала снимать перчатки. С пальца скатился золотой луч — обручальное кольцо. Она поспешно его поймала.

— Вот кольцо все теряю. Руки, что ли, похудели?

Замолчала, мигая ресницами. В окно, сквозь стеклянную дверь в проход, видать было, как взмывают ровным рядом телеграфные струны.

Ухтомская пододвинулась к даме:

— А скажите, — шумным шепотом спросила она, — ведь им-то теперь... плохо? А?

Черный телеграфный столб пролетел, перебил плавный взмах проволоки. Они опустились, как флаг, когда спадает ветер. И вкрадчиво стали подниматься опять... Поезд шел быстро между воздушных стен широкого золотистого вечера. В отделениях, где-то в потолке, потрескивало, дребезжало, словно сыпался дождь на железную крышу. Немецкие вагоны сильно качало. Международный, обитый снутри синим сукном, шел глаже и беззвучнее осталь-

ных. В ресторане трое лакеев накрывали к обеду. Один, с серой от стрижки головой и с черными бровями, вроде перевернутых усов, думал о баночке, лежащей в боковом кармане. То и дело облизывался да потягивал носом. В баночке — хрустальный порошок фирмы Мерк. Он раскладывал ножи и вилки, вставлял в кольца нераспечатанные бутылки — и вдруг не выдержал. Растерянной белой улыбкой окинул рыжего Макса, спускавшего плотные занавески, — и бросился через шаткий железный мостик в соседний вагон. Заперся в уборной. Осторожно рассчитывая толчки, высыпал холмик порошка на ноготь большого пальца, быстро и жадно приложил его к одной ноздре, к другой, втянул, ударом языка слизал с ногтя искристую пыль, зажмурился от ее упругой горечи, — и вышел из уборной пьяный, бодрый, — голова наливалась блаженным, ледяным воздухом. Он подумал, переходя между кожаных гармоник обратно в свой вагон: вот сейчас легко умереть. Улыбнулся. Лучше подождать до ночи. Жаль было сразу прервать действие упоительного яда.

— Давай талоны, Гуго. Пойду раздавать.

— Нет, пойдет Макс. Макс это делает быстрее. Держи, Макс.

Рыжий лакей сжал в веснушчатом кулаке книжечку билетов. Как лиса, скользнул между столиков. Прошел в голубой коридор международного. Вдоль окон отчаянно взмывали пять отчетливых струн. Небо меркло. В купе второго класса старуха в черном платье, похожая на евнуха, дослушала, тихо охая, рассказ о далекой, убогой жизни.

— А муж ваш — остался?

Дама широко распахнула глаза.

— Нет. Он давно за границей. Так уж случилось. В самом начале поехал на юг, в Одессу. Ловили его. Я должна была ехать туда, да не выбралась вовремя...

— Ужасы, ужасы. И что же — вы ничего не знаете о нем?

— Ничего. Помню, решила, что умер. Кольцо стала носить на груди. Боялась — и кольцо отнимут. А в Берлине знакомые сказали, что он жив, что кто-то видел его. Вот объявление поместила вчера в газете.

Дама торопливо вынула из потрепанной шелковой сумочки свернутый газетный лист.

— Вот, смотрите...

Ухтомская надела очки, прочла:

— «Елена Николаевна Лужина просит откликнуться мужа своего, Алексея Львовича».

— Лужин? — сказала Ухтомская, отцепляя очки. — Уж не Льва ли Сергеича сын? Двое у него было. Не помню, как звали...

Елена Николаевна светло улыбнулась:

— Как хорошо... Вот это, право, неожиданно. Неужели вы знали его отца?

— Да, как же, как же, — самодовольно и ласково заговорила Ухтомская. — Лев Сергеич... Бывший улан... Усадьбы наши были рядом. В гости приезжал.

— Он умер, — вставила Елена Николаевна.

— Слыхала, слыхала. Царство ему небесное... С борзой всегда приходил. А мальчиков плохо помню. Я сама восемь лет как за границей. Младший как будто беленький был... заикался...

Елена Николаевна улыбнулась опять.

— Да нет — это старший...

— Ну, так я спутала, милая, — мягко сказала Ухтомская. — Память плоха. И Левушку Лужина не вспомнила бы, если б сами не назвали. А теперь все помню. Вечерком чай пил у нас. Вот я вам скажу, — Ухтомская слегка придвинулась и продолжала ясно, слегка певуче, без грусти, будто знала, что говорить о хорошем можно только хорошо, по-доброму, не досадуя на то, что оно исчезло. — Вот... Тарелки были у нас. Золотая, знаете, каемка, а посередке — по самой середке — комар, ну, совсем настоящий... Кто не знает, непременно захочет смахнуть...

Дверь в отделение отворилась. Рыжий лакей предлагал талоны на обед. Елена Николаевна взяла. Взял и оливковый господин, сидевший в углу и с некоторых пор все пытавшийся поймать ее взгляд.

— А у меня — свое, — сказала Ухтомская, — ветчина, слобная булка...

Рыжий лакей обежал все отделения. Просеменил назад в вагон-ресторан. Мимоходом подтолкнул локтем стриженного, белозубого, стоящего с салфеткой под мышкой

на площадке. Тот блестящими тревожными глазами посмотрел вслед Максу. Он чувствовал во всем теле прохладную, шекочущую пустоту, как-будто вот-вот сейчас все тело чихнет, вычихнет душу. В сотый раз воображал он, как устроит свою смерть. Рассчитывал каждую мелочь, словно решал шахматную задачу. Думал так: выйти ночью на станции, обогнуть неподвижный вагон, приложить голову к щиту буфера, когда другой вагон станут придвигать, чтобы прицепить к стоящему. Два щита стукнутся. Между ними будет его наклоненная голова. Голова лопнет, как мыльный пузырь. Обратится в радужный воздух. Нужно будет покрепче стать на шпалу, покрепче прижать висок к холодному щиту...

— Не слышишь, что ли, пора идти звать...

Он испуганно улыбнулся коренастому Гуго и пошел через вагоны, пошатываясь, откидывая дверцы на ходу, громко и торопливо выкликая: «К обеду! К обеду!»

В одном отделении он мельком заметил желтоватое, полное лицо старухи, развертывающей бутерброд. Это лицо показалось ему необыкновенно знакомым. Спеша обратно через вагоны, он все думал, кто бы это могла быть. Точно уже видел ее во сне. Чувство, что вот-вот чихнет тело, теперь стало определеннее: вот-вот, сейчас вспомню. Но чем больше он напрягал мысли, тем раздражительнее ускользало воспоминание. Вернулся в столовую хмурый. Раздувал ноздри. Горло сжимала спазма. Не мог переглотнуть.

— А ну, черт с ней... Какие пустяки...

По коридорам стали проходить, направляясь в ресторан, шатаясь, придерживаясь за стенки, пассажиры. В потемневших стеклах уже залоснились отражения, хотя была еще видна желтая, тусклая полоса заката. Елена Николаевна с тревогой заметила, что оливковый господин выждал, пока она сама не встанет, и только тогда встал тоже. У него были неприятно выпуклые глаза, стеклянные, налитые темным иодом. По проходу он шел так, что чуть не наступал на нее, и когда ее шархало в сторону — вагоны сильно качало, — то многозначительно покашливал. Ей почему-то вдруг показалось, что это шпион, доносчик, и знала, что глупо так думать — не в России же она — и все-таки думала так... Уж слишком потрепало душу за последнее время.

Он сказал что-то, когда они проходили по коридору спального. Тогда она ускорила шаг. По тряскому мостику перешла на площадку ресторана, следующего за международным. И тут внезапно с какой-то грубой нежностью господин взял ее за руку повыше локтя.

Она едва не вскрикнула, и так сильно отдернула руку, что пошатнулась.

Господин сказал по-немецки, с иностранным выговором: — Мое сокровище...

Елена Николаевна круто повернула. Пошла обратно, — через мостик, через международный, опять через мостик. Ей было нестерпимо обидно. Лучше вовсе не обедать, чем сидеть против этого чудовищного нахала. Принял ее Бог знает за кого. Только потому, что она красит губы...

— Что вы, голубушка?.. Не идете обедать?

Ухтомская держала бутерброд. Из-под хлебного ломтя, как розовый язык, торчал кусок ветчины.

— Не пойду. Расхотелось. Простите меня — я буду спать.

Старуха удивленно подняла тонкие брови. Потом продолжала жевать.

А Елена Николаевна откинула голову и притворилась, что спит. Вскоре она и впрямь задремала. Бледное, утомленное лицо ее изредка подергивалось. Крылья носа, там, где сошла пудра, блестели. Ухтомская закурила папиросу с длинным картонным мундштуком.

Спустя полчаса вернулся оливковый господин, невозмутимо сел в угол свой, покопал зубочисткой в задних зубах. Потом прикрыл глаза, поерзал, занавесил голову подолом пальто, висевшего на крюке у окна. Еще через полчаса поезд замедлил ход. Прошли, как призраки, фонари вдоль запотевших окон. Вагон остановился, протяжно и облегченно вздохнув. Стало слышно, как кто-то кашляет в соседнем отделении, как пробегают шаги по платформе. Поезд простоял долго — по-ночному перекликались далекие свистки — потом раскачнулся, двинулся.

Елена Николаевна проснулась. Ухтомская дремала, открыв черный рот. Немецкой четы уже не было. Господин с лицом, прикрытым пальто, спал тоже, уродливо раскоряча ноги.

Она облизала запекшиеся губы. Устало приложила

руки ко лбу. И вдруг вздрогнула: с четвертого пальца исчезло кольцо.

Мгновение она неподвижно глядела на свою голую руку. Затем с бьющимся сердцем, растерянно и торопливо стала шарить по сиденью, по полу. Глянула на острое колено господина.

— Ах, Господи, конечно... На площадке ресторана... Когда руку отдернула...

Она выскочила из купе; шатаясь, сдерживая слезы, быстро дыша, побежала по проходам. Один вагон... второй... спальный... мягкий ковер... Дошла до конца международного, сквозь заднюю дверь увидела — просто — воздух, пустоту, ночное небо, черным клином убегающий путь.

Она подумала, что спутала, не в ту сторону пошла... Всклипнув, повернула назад.

Рядом у двери уборной, стояла старушка в сером переднике, с повязкой на рукаве, похожая на сиделку. Держала ведро, в нем торчала кисть.

— Отцепили, — сказала старушка и почему-то вздохнула, — в Кельне другой будет.

* *
*

В вагоне-ресторане, оставшемся под сводами дремучего ночного вокзала, лакеи убирали, подметали, складывали скатерти. Лужин, кончив работу, вышел на площадку и встал в проеме двери, опираясь боком о косяк. На вокзале было темно и пустынно. Поодаль сквозь матовое облако дыма влажной звездой лучился фонарь. Чуть блестя потоки рельсов. И почему его так встревожило лицо той старухи, — он понять не мог. Все остальное было ясно, — только вот это слепое пятно мешало.

Рыжий, востроносый Макс вышел на площадку тоже. Подметал. В углу заметил золотой луч. Нагнулся. Кольцо. Спрятал в жилетный карман. Юрко огляделся, не видел ли кто. Спина Лужина в проеме двери была неподвижна. Макс осторожно вынул кольцо; при смутном свете разглядел прописное слово и цифры, вырезанные внутри. Подумал: «по-китайски...» А на самом деле было: «1 Августа 1915 г. Алексей». Сунул кольцо обратно в карман. Спина Лужина двинулась. Он не торопясь сошел вниз.

Прошел наискось через темную платформу к соседнему полотну — покойной, свободной походкой, словно прогуливался.

Сквозной поезд влетел в вокзал. Лужин дошел до края платформы и легко спрыгнул. Угольная пыль хрустнула под каблуком.

И в тот же миг одним жадным скоком нагрянул паровоз. Макс, не понимая, видел издали, как промахнули сплошной полосой освещенные окна.



Петр ВАЙЛЬ
Александр ГЕНИС

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

ОЧЕРК РУССКОЙ ПРОЗЫ С КАРТИНКАМИ

*Ибо кто говорит на незнакомом языке,
тот говорит не людям, а Богу...*

1 Коринф. 14:2

*...Если не слишком хитрые вещи, то
и не слишком нелепые, если не слиш-
ком новые, то и не слишком истер-
тые... Притом же ведь чего-нибудь
да стоят правда, беспристрастие,
благонамеренность...*

В. Белинский. Литературные мечтания

ОРНАМЕНТ СТИХА

Со стихами вообще очень трудно. Большинство людей не читает их совсем. Любители, переписывающие Есенина от руки в тетрадку, делают это из смутных мотивов —

«для себя». Мировая литературоведческая мысль располагается между двумя крайностями. «Можете ли вы читать без упоения его дивную, роскошную, таинственную, благоуханную и блестящую «Венецианскую ночь»?» — В. Белинский; и «При антитетическом противопоставлении стихов оппозиция конечных ударных «а» — «у» приобретает характер противопоставления «верх-низ», что на семантическом уровне легко осмысляется как торжество или унижение «красного розана» — Ю. Лотман. В этот диапазон попадает вся необъятная стиховедческая литература, призванная объяснить читателю 900 терминов «Поэтического словаря» Квятковского и духовную суть музыки Евтерпы. Однако в этой впечатляющей картине есть одно темное пятно: «...Вопрос «Почему мне нравится стихотворение...» не подлежит научному рассмотрению» (Ю. Лотман).

В связи с вышесказанным особый интерес представляет поэтический текст, до сих пор не входивший в круг исследований. Вот он:

Каша манная,
Ночь туманная.

На смысловом уровне анализа данный текст представляет из себя каламбурное сочетание, построенное на соотношении резко противоположных семантических сочетаниях и напрасном ожидании. Структурный анализ, вычленяющий полную дактилическую форму, ассонанс на «а» и аллитерационное сгущение «н» только подтверждают поверхностную каламбурность стиха. Но разве это все? А где радость произнесения бессмысленнейшего сочетания, где удовлетворенность языка и «праздник носоглотки» (Бродский), и как вообще объяснить существование в художественном творчестве подобных стихов? Стихов без смысла. Пусть «каша...» пример крайний, но так ли уж отличаются от него почти любые лирические стихи. Очевидно, что смысл стихотворения «Горные вершины спят во тьме ночной», переведенного на нормальный язык, немногим обогатит сокровищницу философских откровений. Никто этого и не утверждает, а попросту объясняют общепринятые его достоинства «звоном серебра по хрусталу» (В. Белинский).

Так поневоле логика вещей приводит к тривиальной мысли: кроме смысла, в стихе есть и просто звук. Примерно по этому поводу академик В. Жирмунский пишет: «Взамен чисто композиционного объединения словесных масс существенную роль должно играть объединение смысловое». Хотя кому «должно» и непонятно, но ясно, что может и не играть. И действительно не играет. Так, в популярной еврейской песне «Шолом алей-хем» смысловое богатство текста ограничивается повторением названия (причем смысл еврейского «мир вам» стерт так же, как и русского «до свидания»). В замечательных стихах Пушкина «Старый дож плывет в гондоле / С догарессой молодой» замена дождя на дождь, что часто и справедливо делается по незнанию венецианской государственности, ничуть не портит шедевра.

Догадка о самостоятельной жизни холостого, неотяченного смыслом звука пришла к человечеству значительно раньше, чем постулат о примате значения слова. Суть древних заклинаний состояла в звучании имен духов, бессильных справиться с магией произнесенного непонятного, но могущественного слова. Звук так силен, что не Бога, а его имя скрывают евреи от непосвященных, пользуясь местоимениями Яхве и Элоим. Слово было главной силой человека у древних персов. В «Авесте» «Моление о слове» звучит так: «Заклинанием твоим, Языком склоним врагов к добру!» В индийских «Ведах» заклинания — «мантры» — вполне хватало, чтобы справиться со всеми богами бесчисленного брахманийского пантеона.

Понадобились века напряженного развития человеческой мысли, чтобы низвести слово до смысла, оставив звуку «кашу манную» и нецензурную брань.

Футуристы застали его именно в таком виде. Они с радостью стали сочинять бессмыслицы «гзи-гзи-гзэо», и только один Хлебников догадался, что надо делать. Он, с присущей ему наглостью, заявил, что каждый звук имеет смысл сам по себе. Отныне не слова составляли стихи, а стихи составляли слово. Если каждый звук имеет автономный смысл, то их сочетание в слове

образует семантический порядок, обычный для стихотворения.*

Более того, любое стихотворение понимается двояко: как сочетание словарных понятий и как сочетание *звукосмыслов*. Хлебниковское откровение позволяет увидеть в стихе о каше манной эзотерическую систему звукосмыслов, заключающую в себе неподдающуюся расшифровке, но значимую для человека информацию.**

Хлебникову, занимавшему пост Председателя земного шара, необходим был мировой язык, поэтому он настаивал на всеобщем толковом словаре звуков. Его несколько не смущало, что примеры для своих звукосмысловых изысканий он черпал из русского и старославянского языков. Он просто не заметил, что когда говорит о заклинаниях, то неплохо было бы сказать, на каком языке они произносились. А ведь понятно, что родная бессмыслица понятней иноязычной. Лишенный всяческого смысла *Empty-Dumpty* из «Алисы в стране чудес» понятен каждому англичанину, даже ребенку. Но для русского человека, чтобы стать понятным, *Empty* должен был превратиться в «Шалтая-Болтая». Жирмунский пишет о национальном припеве хоровой песни «эйо». Это для греков, может, «эйо», а для нас — «ля-ля-ля». Только российской имперской политикой объясняется возникновение наднационального мата. И петух кричит у всех по-разному. А потом, если стихи понимать как систему звукосмыслов, то, казалось бы, что может быть лучше поэзии, написанной на незнакомом языке. Но только законченные эстеты наслаждаются музыкой чужого языка, не понимая в нем ни бельмеса. Видимо, если по-русски «кабан» — свинья, а по-японски «кабан» — портфель,

* «...Волшебная речь заговоров и заклинаний не хочет иметь своим судьей будничным рассудок. Ее странная мудрость разлагается на истины, заключенные в отдельных звуках: «ш», «м», «в» и т. д. Мы их пока не понимаем. Честно сознаемся. Но нет сомнения, что эти звуковые очереди — ряд пронсящихся перед сумерками нашей души мировых истин». — В. Хлебников. О стихах. Собр. соч. в 5 т.

** В октябре 1917 года Андрей Белый писал о звуке «г»: «Силы побежать по направлению к выходу в свет — имитация бега по времени — «г» (см. рис. 2)». И еще: «Орнамент есть плоть нашей мысли». И еще: «Звук мы можем записывать в линиях, можем его танцевать, можем строить на нем образы». И так целая книга. — Андрей Белый. Глоссалолия. «Эпоха», Берлин, 1922.

то это неспроста. Есть национальная ментальность в непереводаемости смысла звука, благодаря ей существуют специфически национальные поэзии.

Ритм — это не только ямб или хорей. Ритм — это чередование дня и ночи, будней и праздников, холода и жары. Древние индийцы, которые все придумали первыми, заметили в хаосе мира смену дня и ночи. И открыли риту. Рита (буквально — «ход вещей») означает «установленный путь мира, солнца, луны и звезд, утра и вечера» (книга гимнов вед «Ригведа»). Рита — это ритм, возведенный в знак гармонии. Собственно говоря, нет ни человека, ни общества, которое бы не знало о смене времен года, а значит, и о законе, который гармонично этим чередованием управляет. Если есть день и ночь, то есть добро и зло. То есть — не ночь плоха или день хорош, а порядок свят. И если будет два дня подряд (или две ночи) — то это нарушение порядка, то есть зло. Нет человека, который не знал бы греха, даже если он старается назвать его иначе. Рита — это самый простой, самый первый нравственный кодекс: «Заря следует путем риты, праведным путем...»*

Как только человек познал ритм, он посадил себе на шею Бога и дьявола. С тех пор каждое чередование ударного и безударного, долгого и короткого, точки и тире напоминает ему о непосильной ноше.

Первым и самым верным эквивалентом этой нравственной проблемы был орнамент. За всю историю человечества орнамент не стал умнее. Сначала ямки в мягкой глине, потом лепестки, звери, наконец, люди. Но что бы ни было, все становилось простым ритмом, овеществленным законом. Сам по себе элемент орнамента мог означать любое понятие, а в соединении с другими получалось «Буря мглою небо кроет» или персидский ковер. У орнамента смысла нет. Ему его неоткуда взять. Но целые эпохи (ислам) удовлетворялись таким бессмысленным искусством. Значит, сам во-

* Обращение авторов к древнеиндийской философии произвольно, и национальность идеи вселенской гармонии несущественна.

площенный ритм потрафлял эстетическому чувству и выражал жажду этического идеала. Из орнамента — симметрии и ритма — родились все остальные искусства. Склонность к украшательству научила живопись тенденции, литературу философии, а балет — «Анне Карениной». Но на дне каждого произведения искусства осталась рита, воплощенный ритм, человеческая трактовка гармонии, добро и зло, ушедшие в подполье.

Вот так получилось, что первоэлементом стиха является звук, хранящий непонятный, но национальный смысл в самом себе. Из таких звукослов строится ритмическая система, основанная на общем законе гармонии и уже сама по себе выражающая отношение к эстетическому идеалу. И только после этого строгую конструкцию наделяют общепонятным, переводимым на другие языки словарным понятием. По сути, это разница между стихами и подстрочником.

ВЕКТОРЫ ПРОЗЫ

Ничуть не проще дело обстоит с прозой. Более того, разница между поэзией и прозой понимается интуитивно, а все научные изыскания на эту тему немногим превосходят в точности итоговых формулировок наблюдение знаменитого мольеровского героя, который обнаружил, что всю жизнь говорил прозой. И умные словари объясняют понятие «проза» через нечто противоположное поэзии, а когда, обнадежившись (сейчас-то все станет ясно!), отлистываешь несколько страниц назад, то находишь пояснение: «Поэзия — произведения, написанные в стихотворной форме, в отличие от художественной прозы» (А. Квятковский «Поэтический словарь»).

Впрочем, ни в невежестве, ни в небрежности никого уличать не приходится. Действительно, если оставить в стороне такие периферийные жанры как ритмическая проза и верлибр (в русском языке практически не оформившийся), то каждому понятно, что прозаические и стихотворные произведения существенно отличаются друг от друга. И так же понятно, что граница между ними размыта до неузнаваемости. Впервые в русской словесности этот вопрос поставили в 1837 году: «Пока

из оснований рифмики (имеется в виду ритмика) не будет положительно выведено, чем должно определять пространство стиха, до тех пор пределы его произвольны» (А. Кубарев «Теория русского стихосложения»).

За полтора века ясности в этом вопросе не прибавилось. Вероятно, объяснение этому можно найти в том, что различие поэзии и прозы — лишь количественное. То есть чего больше в слове — звука или смысла? Что для него «важнее»? Стоит только попробовать произнести вслух по очереди стихотворения «Чижик-пыжик» и «Silentium» Тютчева, как наличие прозаизмов в стихах станет очевидным. Но если в поэзии создание смысла есть процесс разрушения звука, то тем более это относится к прозе. Жесткие каноны — рифма, ритм, строфика, метр — спасают стих от надругательства смысла-образа над божественным Ритмом. В прозе семантика начинает бесчинствовать, стараясь оборвать цепь, незримо притянутую к рите.

Как было сказано выше, стиховое слово, тяготея с одной стороны к чистому звуку, а с другой — к осмысленному звучанию, смыслу, соединяется с себе подобным, образуя некую ритмическую единицу поэзии — звуко-смысл.

Прозаическое слово тоже раздирают противоречия. Одним организующим началом выступает рита, всеобщий ритм. Это, в конечном счете, создает композицию художественного произведения. Этот вектор — через ритмическую прозу и верлибр — приводит прозу к стихам.

Второе начало — причинно-следственная связь. Логическая, объяснимая в рациональных терминах система — в отличие от чувственно понимаемой ритмы. Это направление организует фабулу и тянет слово художественной прозы — через научно-художественную, научно-популярную литературу — к нехудожественному слову.

Но если идеальный (максимально освобожденный от семантики) стих типа «Эники-беники / Ели вареники» уже не требует ничего для подтверждения своей причастности ко всеобщему ритму, то проза вынуждена прибегать к более сложным приемам. «Эники...» вычлениют свой ритмический первоэлемент уже на уровне строки (чистый дактиль) и даже стопы. И традиционная поэзия вообще представляет собой ритмическую структуру с пер-

возлементом — звуко­смыслом — графически совпадающим обычно со стихотворной строкой. Проза же, уведенная семантикой от чистоты ритма, складывается в структуру первоэлементов, которые призывают на помощь синтаксис, образуя сложное предложение, соединяются с другими фразами, вкупе с ними делятся на абзацы. Первоэлемент прозы — *смыслозвук* — не только по характеру (примат смысла или примат звука) отличен от первоэлемента поэзии, но и количественно обыкновенно больше него.

Когда «старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой», мы знать не знаем, сколько бедолаг сгноил в темницах этот дож и как часто изменяет ему его супруга. Ни автора, ни нас тут не волнуют нравственные проблемы, есть только шеко­чущие горло изящный хорей и диковинное слово «догаресса». И все — этого достаточно для полного удовлетворения нашего эстетического чувства. А стало быть — и этического, раз мы прикоснулись благодаря поэту к божественной рите, управляющей на свете Добром и Злом.

Путь прозы иной. «...Таинственно, просительно ныли невидимые комары — и летали, летали с таким треском над лодкой и дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы» (И. Бунин «Руся»). Томящая тоска этой изумительно красивой фразы поэтична, как «На холмах Грузии». Но только между описаниями первой ночи любви и краха короткого счастья понятны «таинственность» писка комаров, «страшные» стрекозы, затянутость предложения. Любовь, потеря невинности, измена — суть понятия, которыми оперирует тут прозаик. Иными словами — элементы, организованные идеей греха. И не в том дело, что старая дева осудит половую связь без венца, а мы с вами — предательство любви. Важно то, что и голая Руся, и мамаша с пистолетом, и стрекозы с комарами — все это составляет прозу. Словесную структуру, элементы которой соотносятся между собой и располагаются в определенной последовательности в зависимости от того, как понимает автор идею греха. Вопрос же — что есть грех вообще — праздный, хотя, может быть, и интересный.

«Кирпичи» прозы — смыслозвуки — складываются под воздействием двух, иногда совпадающих, иногда резко расходящихся векторов-начал — причинно-следственной связи (этикет здравого смысла) и соответствия всеобщему ритму (идея греха). Потому кинулась под поезд Анна Каренина, зарубил старушку Раскольников, застрелился Фадеев на глазах у молодой гвардии, а Кавалер получил Золотую Звезду. Все это — результат равнодействующей двух названных векторов, то есть создание прозы.

ТОРЖЕСТВО ПОЛИВА

Провал, интуитивно ощущаемый между поэзией и прозой, разителен, но непонятен. И в самом деле — такие несущественные проявления, как ритмическая проза или верлибр не вносят ясности: попробуйте записать ритмическую прозу в строфу — вот и стихотворение. Но вот что это:

«Вот, знаете, он подъезжает к Америке, слышит ужасный шум. «Что там такое?» — спрашивает юный Вашингтон. «Это, — говорят ему, — мыши съедают все кушанье у нашего Касика Инки». «Это что такой за Касик Инка?» — «Это так, ничего, не будем об этом говорить; детям про это не нужно знать». ...И вот, знаете, он как пустит своего Ваську-то, так тот, знаете, мышей так и уписывает. В скором времени он от мышей очистил всю Америку. (Далее речь идет о том, как Вашингтон бреет и стрижет «антиподов».) ...Вот, знаете, Инка и говорит юному Вашингтону, что вот, говорит, дискать, ты у меня проси все, чего ни хочешь. «Сделайте меня президентом Соединенных Штатов!» — восклицает юный Вашингтон. «Изволь!» — отвечает Инка. Ну, вот он и сделался президентом Соединенных Штатов, поехал в Альгамбру и получил имя: Вашингтон Ирвинг. А Ирвинг — это сокращенные слова: Инке Резал Волосы Иностраннный Негоциант Георгий».

На два-три факта биографии американского романтика Вашингтона Ирвинга нанизывает свой классический полив граф Алексей Константинович Толстой. Традиционное литературоведение этим жанром не занимается, потому и красивого термина нет — приходится применять оби-

ходный, но точно отвечающий технологии создания — полив. В русской литературе А. К. Толстой может считаться отцом-основателем этого жанра. Кроме него никого не было очень долго — только разве Козьма Прутков, который — все тот же А. К. Толстой в компании с братьями Жемчужниковыми. Поразительно, что байка про Вашингтона Ирвинга, абсолютно современная по духу и стилю, написана почти полтора века назад. Поэтому и не удивляет, что впервые напечатана она была только в 1925 году, когда уже были оберидуты, и бритый Касик Инка оказался к месту.

Что же такое полив? Полив оперирует теми же культурно-информативными элементами, что и проза, но — с нарушением этикета здравого смысла. Причинно-следственная связь может носить здесь лишь вспомогательный характер, а то ее может и не быть вовсе. Первоэлементы полива соединяются по закону коммуникативных ассоциаций (понятных хотя бы двоим, как в бессмысленном для окружающих разговоре близких друзей). Потому полив — всегда эзотеричен, всегда высоко аристократичен, он — для посвященных и умеющих понять. Ассоциации, связывающие первоэлементы, могут быть любыми: по рифме звуков и понятий, по признаку сходства и противоположности в любом плане — историческом, сугубо литературном, бытовом, ритмическом.

Полив сочетает в себе признаки поэзии и прозы (но не являясь связующим звеном) и потому заполняет тот самый провал, о котором шла речь выше. Высочайшая чистота идеи достигается здесь отказом от логических связей — с одной стороны (со стороны прозы) и отсутствием канонов метра, собственно рифмы и ритма — с другой стороны (со стороны поэзии). Полив знает ограничения только в том смысле, как знает их джазовый импровизатор, держащий себя в рамках квадрата. (Это проблема всеобщая: только в преодолении рождается искусство, в борьбе с сопротивлением материала и с тиранией формы. И даже полив — самое свободное искусство — связан основной мелодией, вокруг которой вьется цепь ассоциаций.)

Идею полива до абсолюта развил Герман Гессе в своем удостоенном Нобелевской премии романе «Игра в бисер». Там аскеты-туняядцы, проживающие народную

копейку на сказочных ландшафтах страны Касталии, возвели полив в ранг высшего из искусств. Взяв за точку отсчета фугу Баха, они продолжают ее, например, одой Горация, а дальше — геометрической теоремой, орнаментом греческой вазы, народной песней XIV века, алгебраическим уравнением, шахматным этюдом...*

Но при всей своей прелести полив — литература-паразит. Он не плодотворен, как дегенеративный отпрыск аристократической фамилии. Это и понятно: игра ассоциаций направлена внутрь себя, иначе она бессмысленна, как попытка назвать самое большое число. Количество полива в прозе дозируется, и тогда он играет роль дрожжей в хлебе. (Полив в стихах — это попросту «эники-беники», и в лирической поэзии его элементы присутствуют практически всегда. Яркий тому пример — горячая скороговорка Пастернака.)

И самое главное — уводя от логики, от причинно-следственных законов, полив приближает прозу ко всеобщему ритму, поэтизирует ее и дает возможность новой точки зрения, немислимой с позиции здравого смысла. В рассказе В. Аксенова «Вне сезона» (позже включенном в повесть «Поиски жанра») повествование разворачивается сугубо реалистически, пока вдруг в самом конце не оживает убитый нырок и, взлетев, не запекает веселую песенку. И только тогда, «обратным ходом», становится понятной символика рассказа — с помощью ожившего нырка, поющего по-человечески:

Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди,
Только хвост позади.

Творческая непорочность полива, введенная, как инъекция, в тело прозы, создает особый жанр литературы — направление, не имеющее еще названия, но обозначенное именами Василия Аксенова, Венедикта Ерофеева, Валерия Попова, Саши Соколова, Сергея Довлатова, Юза Алешковского, Владимира Марамзина, Бориса Вахтина, «Метрополя»...

* О, тоска по классическому образованию! Ведь латынь-то на уровне «Де мортус», по-гречески — один «антропос», как у человека в футляре, на рояле — собачий вальс, на чернышках...

АРХАИСТЫ И НОВАТОРЫ

«Кто мы, где мы, что будет?» Неизбежные вопросы дежурной критики. А как трудно и обидно-непонятно говорить о совсем свежих современниках. Любая временная перспектива дает шанс увидеть литературный процесс без флер-д'оранжа дружбы и старой привязанности. Даже жалкие десять-пятнадцать лет привнесли в историю современной литературы знакомые по прошлому веку понятия — «шестидесятые», «семидесятые». И понятия эти заполняются именами и названиями, скандалами и журналами.

Русская литература всегда развивалась в толстых журналах. Никакие собрания сочинений, ни избранные, ни отдельные издания — только журнальные страницы решали успех и неуспех автора, его политическую позицию, да и художественные вкусы. Изгнание Лескова из толстых журналов означало для него молчание лет на 15. Если бы не «Дело» Писарева, вряд ли бессмысленность Онегина была бы доказана всем гимназистам. Журналы сделали внутренние распри общим достоянием государства и превратили русскую литературу в политическую партию. Так по журнальным вехам пролегла история демократической литературы от «Поэт в России больше, чем поэт» до «Ленин для меня самый главный интим». И обратно.

Поэтому ничего удивительного, что когда литературу опять разрешили, то она стала двумя журналами — «Новым миром» и «Юностью». «Новый мир» с Шукшиным, Дудинцевым, Тендряковым, Можаяевым, Абрамовым, Трифоновым, Быковым, Лакшиным и, главное, с Солженицыным был трибуной нового для советской литературы направления — «все о правде». От возможности рассказать, как есть, а не как надо, литература захлебнулась разоблачительным фактом. На время все опять забыли об изящной словесности. Герценовское «литература — единственная трибуна» стало знаменем дня. Тут появилась тень «натуральной школы», а критика вновь начала заниматься не своим делом — критиковать общество вместо литературы. Интересно тогда писали о классике. Кто бы ни был героем статьи — Островский, Тургенев, Пушкин, — их всех заставляли высказы-

ваться на злобу дня. Классики спорили с «Октябрем», уличали Шевцова и, как всегда, проповедовали идеалы гражданской справедливости. Разгоралась заря реализма.

А рядом, параллельным, но молодежным вариантом, жила «Юность». Тут правду поняли несколько проще — как правдоподобие. Поэтому трудно описать ту любовь к «Юности», которой загорелась вся Россия. Аксенов, Гладилин, Балтер, Анчаров создали стиль «Юности». Такой с юмором, но откровенный, чтоб без дураков. И здесь тоже все было правдой, как в жизни. Главное — похоже. Конфликты и герои, язык и манеры, бодрое настроение с грустинкой, печаль со смешинкой — все как в жизни, даже лучше. Это был действительно юношеский период литературы, без вымысла, но нараспашку.

И все-таки хорошо было в 60-е! Был литературный процесс, который в силу традиции и специфически русских особенностей являлся делом общенародным. Poleмика, либералы и охранители, таланты и поклонники, а главное — тиражи. Все это сразу кончилось с разгромом «Нового мира» и «Юности».

Литература нового десятилетия практически ушла с типографских страниц на машинописные, а оттуда за границу. Так расцвел Самиздат, Тамиздат, эзопова и, конечно, махровая словесность.

Кончилась трибуна, похоронили Герцена, а литература начала возвращаться к себе, в башню из слоновой кости. Последним монументом эпохи стал «Архипелаг ГУЛаг». «ГУЛаг» был логическим завершением гражданской литературы. Энциклопедия лагерного прошлого России, историческая исповедь страны, солженицынская книга сделала обобщение фактов художественным обобщением, историческим романом. Дальше начинаются свидетельства очевидцев, а не художественная литература. Поэтому сколько бы ни было написано «Парикмахеров в ГУЛаге», они будут представлять интерес историко-политический, а не историко-литературный.

Поэтому так очевидно необходимо было появление Зиновьева, который вместо вопроса «как» задал вопрос «почему» и «что будет». Зиновьев заменил гражданскую литературу на аналитическую, нравственные категории на социологические, и неожиданно, может, и для самого себя, создал новый жанр.

Его мениппея «Зияющие высоты» так густо замешала действительность с анекдотом, что найти корни в реализме недавних лет никак не получилось. Литература вывернулась из-под ярма жизнеподобия и занялась квазимиром, ею самой созданным.

Как-то неожиданно всплыли на поверхность смурь и полив непечатаемых поэтов и прозаиков. Выяснилось, что за спиной разоблачительной литературы уже давно зрело и келейное искусство, направленное внутрь себя.*

В воздухе запахло абсурдом, чертовщиной, кое-где проскальзывал матерок; все стало захватывающе непонятно, появился «Аполлон».

«Аполлон» стал декларацией непохожего искусства. Непохожего на предшественников, на жизнь, на искусство. Бессмысленно бахвальный, он раздал всем многочисленным авторам ярлыки на гениальность. Выражался футуристически заумно и эпатировал публику. Но «Аполлон» стал фактом существования дважды подпольной литературы. В первую очередь это была реакция на рациональную и достоверную словесность 60-х с ее узурпаторским намерением присвоить себе монопольное право на объяснение жизни — поэтому все насильственно должно лишаться смысла. («Если речь идет о моменте исполнения, — говорит А. Волохонский о своем творчестве, — то, чем меньше я его понимаю, тем лучше.») И все-таки «Аполлон» — вещь ценности необычайной. Он — такой недавний — уже монумент русского искусства. Его авторы ищут правду, но правда у них у всех своя. Там, в «Новом мире» и «Юности», правда была одна, общенародная, на нее надо было указать, здесь правда была узенькая, личная, сугубо эстетская, но самим открытая.

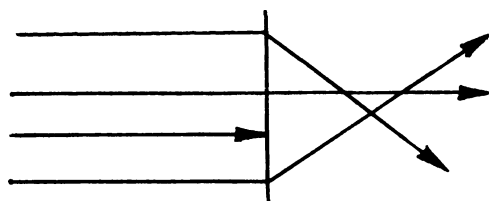
Традицию «Аполлона» продолжил парижский журнал «Эхо». И «Эхо», и «Аполлон» верят исключительно в искусство. Для них штамп «магия слова» превращается в рецепт.

* 20 лет назад Андрей Синявский пророчествовал: «...Я возлагаю надежду на искусство фантазмагорическое, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания». — Абрам Терц. Что такое социалистический реализм.

СУМЕРКИ БОГОВ

В семидесятые годы умирающий реализм разродился Солженицыным, Войновичем, Максимовым, Искандером. Процесс превращения натурализма в реализм завершился роскошным аккордом. Метры, окрепшие в «Хочу быть честным» и «Созвездии Козлотура», как бы ставили точку на радостном классическом методе — *ne plus ultra*. Когда-то Пушкин, написав в стихах все, что можно, ушел в не-литературу, историю. Мол, поэзия-то хороша, но умри, Пушкин, лучше не скажешь. И наши герои 20-летнего литературного полигона тоже рвутся за рамки жанра. Войнович — в язвительную публицистику второй книги «Чонкина»; Владимов — в язвительнейшую эпистолярность; Солженицын ушел в стенограммы думских съездов; Максимов пишет едкие фельетоны; Искандер открывает для себя аллегорию («О кроликах и удавах», 22-23 номера «Континента»). Поэтому и кажется резонным как-то подвести итоги — момент, похоже, переходный.

Пики русской «традиционной» современной литературы, как Урал, составляют одну горную цепь. У них много общего. Но главное их общее достояние — герой. Причем положительный. Это сильный, глубокий и совершенный характер. Он знает, что делает, а то, что он делает, — правильно. Герой не меняется под объединенными усилиями эпохи и общества, а ломает и то, и другое — то есть умирает стоя. Глобальная позитивная истина у них в крови — им есть за что умирать. Могучий человек, уверенный в своей правоте и готовый ее защищать — вот герой, о котором мечтала советская литература, но который достался ее антисоветскому двойнику. Великая нравственная мысль толкает на подвиг выживания такую личность, а искусство зрелой русской литературной традиции не позволяет такому герою быть похожим на Павку Корчагина.



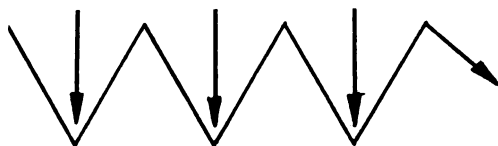
СОЛЖЕНИЦЫН

Солженицын написал не историю каторги, а историю людей, которых каторга сломить не сможет. Их главное достоинство — верность себе. И «Иван Денисович», и «В круге первом», и даже «Архипелаг» — книги глубоко экзистенциальные, направленные исключительно на внутреннее самосознание личности. Глубинное, от Бога, ощущение нравственного идеала позволяет солженицынским героям сохранять постоянство в любой ситуации. Кризис — лагерь — делит их жизнь только потому, что экстремальная ситуация тюрьмы доводит присущее человечеству чувство нравственной правоты (день-ночь) до святости или предательства. Бог или дьявол. Поэтому не ГУЛаг вершит судьбы людей, а их верность самим себе определяет будущее. Гуманное доверие к личному иммунитету от греха — единственное противопоставление эпохе. Поэтому векторы-судьбы остаются направлениями даже после креста-ареста.



ИСКАНДЕР

Искандер написал историю человека — дяди Сандро, — который родился, жил и умер так, как полагается честному человеку Божьим законом и народной мудростью. Его идеал не был завоеван в жизненных испытаниях. Сандро получил его по закону рождения. Но всю жизнь, долгую абхазскую жизнь, дядя Сандро воевал за то, чтобы не изменить знаменам. Постоянство — удел счастливых — осенило его соплеменников дыханием абсолютной истины. Поэтому прям и крепок путь искандеровых героев от счастливого рождения до почетной смерти. И что пращи и стрелы судьбы, что эпоха? Ва!..



ВОЙНОВИЧ

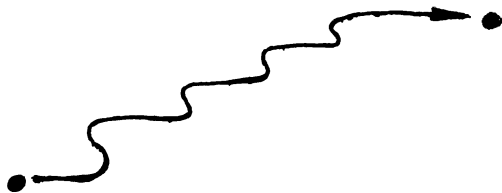
У Чонкина вообще нет идеалов. Он — классический дурак. Дурацкая эпоха вертит им, как захочет. Ему

только и остается, что вертеться вместе с ней. Да никак не получается в такт. Потому что Чонкин понимает все, как ему говорят. В этой буквальности и скрывается рациональное, бесхитрое зерно мудрости сказочного дурака: нас долбнут, а мы крепчаем. Главное — не принимать условия навязанной игры. Как есть, и точка. Тогда все поменяется местами, и Чонкин превратится в героя, который без всякого желания будет стойко — пусть зигзагами от постоянных ударов — нести свой крест: буквальность жизни.



ВЛАДИМОВ

Идеал жизни и смерти верного Руслана прост и ясен — быть верным. Эпоха может выть и кусаться, но он, собачий Сид, долгу не изменит. В этом его счастье, его вера, с которой он родился, — с ней он и умрет. Опоэтизированный сторожевой долг прекрасен, как прекрасно сильное чувство. А прямой путь Руслана героичен, как эпос. Противоречие заложенной Богом бессмысленной веры в человека и осмысленной реальности пунктира жизни не может сбить героя с прямого пути убежденности в обладании истины. Побеждает, как всегда, сильнейший.



МАКСИМОВ

Максимовский Лашков отличается от всех тем, что имел две истины. Сначала неправильную, потом правильную. В этом заложен принцип эпопеи — от холостого Безухова к женатому. Жизнь Лашкова — это эволюция от одной веры к другой. И весь извилистый путь, им проделанный, суть авторские пинки, подвигающие героя в нужную сторону. Лашков нелеп и растерян: что делать ему с чужой жизнью? Ведь верность идеалу не его, а авторская. Поэтому «Семь дней творения» — роман

о настоящей идее, а не о человеке, идею эту хранящем. Лашков тшится приобрести идеал, но это герой другого романа, романа, которого под Толстого написать уже нельзя.

Реализм дошел до своего внутреннего предела. Как когда-то у Чехова, он истончился до символа. Ясность цели, четкость построения, глубокое понимание нравственного идеала, а, главное, вообще вера в существование такового — все это произвело потрясение литературных основ. Гражданская борьба с коммунизмом возродила исчерпанные в XIX веке категории реализма. Пафос позитивной веры в душу человека обратился в серию монументальных героев. Как всегда в России, литература оказала большее влияние на общество, чем наоборот. Пророческая миссия писателя вызвала к жизни классические художественные приемы: четкость композиции, эпических героев, растворенность формы в содержании. Вершина была завоевана вновь. Дальше может быть только декаданс. Так родилось советское барокко.

СОВЕТСКОЕ БАРОККО

«...Отсутствуют жизнерадостность, уверенность в победе человека, все громче звучат мотивы пессимизма, скепсиса, непрочности жизни... На первый план выдвигается изображение мучительных страданий, болезненных или низких страстей, ужасного и грязного. ...Вместо стройной простоты и цельности... крайняя сложность, мозаичность, причудливые метафоры и сравнения».

Не то из доклада Жданова, не то Хрущев по подказке референтов высказывается про длинноволосых пидарасов. Нет — это из «Литературной энциклопедии», про XVII век, статья «Барокко».

К середине 70-х новые реалисты, точно Горький и Бунин среди символистов и футуристов, оказались островами в широком потоке странных произведений — с витиеватыми завитушками смысла и формы, с матом и эротикой, с мистикой и безумным поливом. Советское

барокко, зачатое в 60-х, ринулось отображать жизнь. Все помещалось в барокко — бардаки, бараки, непрочные браки, расстегнутые брюки... Не было только одного — гражданственности, сильного героя, понимающего личную цель как общественный идеал.

И образцы явились не те: Булгаков, оберинуты, полузабытый Вагинов, в языке — искаженный синтаксис Платонова, сказ Зошенко. А там и того пуше — поток сознания, европейцы, американцы...

Барочный герой тоже ищет истину, но — неизвестно какую, но — неизвестно где, но — неизвестно, существующую ли вообще. Этот герой оказался как бы вне общества и эпохи. То есть он, как правило, чисто русский по этикету поведения; он даже где-то служит (хотя и не обязательно); он весь в приметах времени. Однако и мы попадаем под дождь, снег, град, в самум и сирокко, не имея никакого отношения к этим явлениям природы, не в состоянии повлиять на них, а если соответственно подготовлены и одеты — то и вовсе на них наплевать. Нет плохой погоды — есть плохая одежда. У барочного героя одежда самая лучшая — собственная оболочка. Его поиски истины идут через себя, и только через себя и в себе.

Писатели второй половины 70-х — будь то Ерофеев, Аксенов, Соколов или авторы «Метрополия» — идеалисты. Они напряженно ищут Бога, но путь их глубоко нетрадиционен для русской литературы. Всегда отправными точками богоискания были икона и храм, священник и старец, Писание и аскеза. Но вот пришло осознание того, что новую Троицу уже не написать, новую Одигитрию не выдумать — и начались поиски своего знака: путь интенсивный, вовнутрь, а не вовне, к привычным атрибутам веры. (Это касается не только литературы — назовем хотя бы изувеченные распятия Неизвестного, метафизические композиции Шемякина, тайную вечерю уродов Целкова.) Путь оказался со множеством разветвлений — как любой новый путь, плыли же в Индию через Атлантику. Отыскание своей божественной души легло через отход от реальности, метафизику и мистику, эротику как постижение себя, собственной власти над собой, через открытость и вседозволенность.

А на формальном уровне — обнаженность приема стала нормой. Полностью исчезла лессировка — «чтобы как в жизни», и на смену ей пришел другой принцип — «литература самоценна так же, как сама жизнь — и вот как она делается». Автор грубо и бесцеремонно влез в повествование, герой разделился на ряд двойников, в художественную прозу вошли подлинные имена, названия, адреса...



АКСЕНОВ

За 20 лет Василий Аксенов прошел красивый и показательный литературный путь, усложняясь до невыносимых пределов и становясь все интереснее. Целый хороший врач Саша Зеленин («Коллеги») плавно перешел в равнозначную компанию героев в «Затоваренной бочкотаре», которая сгустилась в супермене, рыцаре всех качеств, многогранном Леве Малахитове («Рандеву»), и, наконец, идея героя дошла до ручки в романе «Ожог», где центральный персонаж просто-напросто распятерен на врача, физика, джазиста, писателя и скульптора. Да, есть еще их детский вариант — шестым будет.

Но какие бы метаморфозы ни претерпевал герой позднего Аксенова, он — всегда один и тот же. Это творец, а еще точнее — творчество, стремящееся постичь тайну проникновения в идеал. Какой? Да то же творчество, некий сгусток сверхчувственной информации, чудо прикосновения к божественному ритму жизни. Это то единственное, ради чего стоит жить и писать.

А какие формы принимает этот идеал — не так уж важно: Хороший Человек, простой пахарь с циркулем и рейшиной («Затоваренная бочкотара»), Цапля с торчащими коленками в клеенчатом плаще (пьеса «Цапля»), «оригинальный жанр» («Поиски жанра»)...

Цель у Аксенова совпадает со средством: «Поиски истины должны быть не менее истинны, чем сам результат», — говорил Маркс. Аксеновские творцы в поисках идеи творчества не стесняются в методах: тут и

наивный жизнеподобный реализм еще со времен «Юности», натурализм и секс, тончайшая игра литературных традиций и стилей. И — полив, царь-полив, которым Аксенов снова и снова пробивается к ритму-истине. Долог и непрямо путь его героев к идеалу, но те, которые творцы — кружась и приближаясь — достигают.



ЕРОФЕЕВ

Автор шедевра «Москва — Петушки» — самая загадочная фигура современной русской литературы, именно потому, что — автор шедевра, а ничего больше (кроме маленького эссе о Розанове) ему принадлежащего, вроде бы, не имеется. Был, говорят, роман «Шостакович», никакого, говорят, отношения к композитору не имеющий, где действие, говорят, происходило в пункте приема стеклотары. Так, говорят, канул этот роман безвозвратно где-то в пивных Третьего Рима.

Может быть, так и надо — по крайней мере, это в самой высшей мере соответствует тому образу алкаша Венички Ерофеева, писателя Венедикта Ерофеева, который явлен со страниц «Москва — Петушки». Веничке чужда и бессмысленна внешняя, так называемая реальная окружающая жизнь. Ему омерзительны и жалки и сами люди, и их отношения друг с другом. Он — высокий философ-идеалист — строит себе другой мир, в котором все возвышенно и чисто, все чутки и добры. В этом мире если кто-то говорит: «Давайте пить пиво» — все тут же идут пить пиво; а если кто-то захочет пить херес, то все дружно бросятся к хересу. Говорят в этом мире только о прекрасном: почему нынче «Кубанская», что пил Гете и сколько плохих баб стоят одной хорошей.

Но Веничка гибнет. Слишком идеален и светел созданный им пьяный мир, и не уберечь ангелу чистоту риз, спускаясь на погрязшую в мерзости греха землю. Поэтому Веничка бессмысленно кружит, якобы едет из Москвы в райские Петушки, а на самом деле — в ту

же Москву. И идеал не становится ближе, он просто вне его пути. Не достичь ему идеала. А, может быть, и нету его.



ПОПОВ

Валерия Попова знают не все, и это неправильно. Прежде всего потому, что это писатель потрясающей наблюдательности — причем особого рода. И для Попова полив — естественная форма, но он не только создает его, но и умеет увидеть в жизни: то есть не подметить нелепость, странность, деталь, а угледеть закономерность и последовательность полива в процессе человеческого существования. Поэтому внешне странна и как-то даже незначительна его модель мира — построенная по пикам-событиям, но событиям несущественным, мелким, пустяковым. Его герои живут от запаха вымытых полов к солнечному лучу на мотке шерсти, от съеденной репы к скрипу снега. Но именно в этих точках Попов со своими героями прикасается к самому сокровенному. Прикасается и — смертельно боится задержаться в точке прикосновения. «Почему мы прерываем наслаждение, не доведя его до конца? Что мы боимся зачать в своей душе?» Ощущение счастья, ослепительность божественного прозрения, которого не выдержать смертным?..

Поэтому даже житейски наивный позитивизм Попова — будем хорошо относиться друг к другу, и все тогда будет хорошо — не придает развития сюжетам его рассказов. Остается иллюзия движения, и герой, посланный рукой автора, мячиком скачет, на неуловимый миг касаясь того Нечто, и снова — назад, в быт, в работу, в семью, в жизнь. Прыг-скок, прыг-скок...



БИТОВ

Путь Андрея Битова — из себя в себя. Правда, некоторые эстетские, да даже и бытовые проблемы тревожат его главного героя — героя романа «Пушкинский дом» Леву Одоевцева. Но это все так, на периферии.

А единственный путь — разобраться в себе, тщательно, как с кочана капусты для голубцов, снимая с себя пласт за пластом все наносное, от лукавого, от цивилизации. Да и от природы. И это тоже — лишнее; для жизни то есть вовсе и не лишнее — что ж теперь не пить-не есть? — но мешающее сокровенному проникновению внутрь себя. А когда точно будешь знать — почему ты так, и вообще — почему ты, то это и будет познание истины, Бога.

Битов дотошен, и был таким всегда. Он пишет глаголицей, кружевом — куда Симеону Полоцкому! — не упуская ни единой детали, ни единого мотива: зачем это я сейчас зажмурился? а почему вздохнул? а дышу вообще зачем? а почему мне этот дом не нравится?

Бездна души тождественна бездне мира. У Битова и в единой горсти бесконечность, и целый мир в зерне песка. Не то микробиолог, не то астроном.



ДОВЛАТОВ

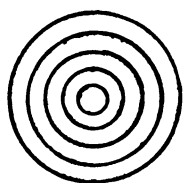
Сергей Довлатов — как червонец. Всем нравится. А чего не нравится? Фабулы его рассказов просты, композиция несущественна, язык легок, шутки остроумны. Казалось бы — завоевания «Юности»? Нет, при чтении Довлатова возникает радость не узнавания, а точного попадания. А это — разница. Довлатов — стрелок высшего класса, каждый раз он — как на соревнованиях олимпийского уровня, где все равны по силам. И потому — только в «десятку», остальное — безразлично: в «девятку» или «за молоком». Не «похоже», а «точно». И Довлатов попадает, и каждый раз становится не просто смешно или радостно, но и щекотно, что ли, — потому что точность, абсолютная точность высказанной мысли или наблюдения есть попадание в ритм. В тот самый — Ритм.

Сами же рассказы суть эпизоды, вполне документальные, ибо Довлатов, видимо, полагает, что так уж закручено все вокруг — зачем стараться накручивать еще. Достаточно изложить все как есть, вплоть до подлинных имен и происходивших в действительности событий — и гротеск бытия проявится сам в полной мере. Поэ-

тому: что было до, что будет после рассказа — не только не важно, но и не нужно знать: нате вам отрезок жизни, запечатленный точно.

Это не точность фотографа, который схватывает, останавливает кусок жизни, это точность живописца — так никогда самая совершенная фототехника не передаст цветок первоцвета точнее Дюрера, и никогда объектив виртуоза не угонится за кистью творца. Тут речь идет не о, скажем, психологическом портрете — это тоже все выдумки и додумывание. Человек и мир таковы, какие они есть, но — в протяжении, но — в движении. В соответствии со всеобщим ритмом. Встаньте рядом с собственной фотографией — похоже?

Довлатов это однажды понял — и вот, пожалуйста...



СОКОЛОВ

Саша Соколов явился со «Школой для дураков» сразу со своей манерой, ближе всего, пожалуй, из современных русских приблизившись к идеальной игре в бисер. Действительность в его книге — дегенерация всех и всяческих понятий, роковая рефлексия русского интеллигента — стала раздражителем, катализатором литературных ассоциаций. Действительность почтительно и безропотно отступила перед литературой, способствуя созданию уникальной книги, где литературная игра, писательская манера — есть все. Где это присутствует не фрагментарно, не вкраплениями, а составляет тело книги.

Соколов со своими героями — или, одним героем? — со своими безумными — или одним безумным? — мальчиками — или одним мальчиком? — надул всех. Его виртуозный литературный полив, артистический и интеллектуальный одновременно, предполагал — не мог не предполагать! — приближение к некоей ему, автору, наверняка известной истине. И вправду — чем больше, чем болезненнее обострялась рефлексия, тем достижимее и явственнее казалось — вот оно!

Ничего подобного — «оно» не явилось. Целью оказалась сама игра. Или вообще не было никакой цели?

Попробуем представить себе: круги по воде идут, а камня никто не бросал. Не было никакого камня.

* * *

Разница между новым реализмом и советским барокко ощущается и определяется практически сразу. Реалистский вектор и барочный скаляр, композиционная линейность одного и рыхлость другого, центробежность и центростремительность, уверенный поиск и самокопания, ясность идеала и неведение его...

Неведение? Или попытка догадаться?

Где-то в толще Вселенной скрыта книга всего, одна-единственная. Та, в которую верил Хлебников: «Я видел, что черные Веды, Коран и Евангелие и в шелковых досках книги монголов ... сложили костер ... чтобы ускорить приход книги единой...»

Это та самая книга, в которой есть настоящая правда, где записано все, что может познать Вселенная о самой себе. Все трепыхание человеческой мысли суть крупницы, вдохновенные пратекстом. Если верить, что мир управляется законом гармонии — может, ритой — то закон этот изложен на страницах Книги. Каждый творец не создает, а воспроизводит ее малое подобие, но как крошечный треугольник подобен фигуре, составляемой небесными телами, так и каждый проблеск слова содержит в себе ту, настоящую.

Поэтому и «рукописи не горят» — ведь все уже сказано. Так — таинственным сочетанием неосмысленного звука, звуковым колебанием ямба, чуткой рифмой полива — мы приоткрываем Книгу. Прочешь не прочтешь, но почувешь — есть! Язык ее не поддается насилию деклараций. Он понятен, но не переводим. И, видимо, единственный инструмент — наше интуитивное чувство. Ведь если день сменяет ночь, то препятствовать этому порядку — зло. И что красиво — то хорошо, а что безобразно — то плохо. Потому что этика и эстетика — проявления риты — одинаковы для всех. И протянутая падающему рука, и синие купола минаретов над желтыми песками, и поцелуй любви, и звук свирели — все это догадка о всеобщем ритме.

Смуть, алогизм и абсурд, весь полив «Аполлона», «Эха» и «Метрополя», Аксенова и Ерофеева, Соколова и Попова, всего советского барокко — попытка отдаться эстетическому чутью, чтоб само довезло, чтоб вдруг нащупать в том самом «гзи-гзи-гзэо» ключ шифра. Ведь на самом деле не только реализм не похож на жизнь, но и сама жизнь не похожа на наше о ней знание. Это как подсматривать в зеркало: может, выдаст себя невольным движением спрятанный там двойник.

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Слава Богу, не вся современная русская проза исчерпывается двумя основными течениями. Слава Богу — потому что зрелость литературы, ее качество определяется не только наличием талантов, но и количеством направлений, в которых они развиваются. Не оборачиваясь на гул магистралей, вершат каждый свой «пикник на обочине» Александр Зиновьев, Юрий Мамлеев, Аркадий Ровнер, Эдуард Лимонов...*

Зиновьев буквально ворвался в литературу, ошеломив сразу всех — большинство возмущив, некоторых — приведя в восторг. «Зияющие высоты» заделали каждого, кто сумел прочесть книгу до конца. Столь парадоксально и уверенно, убежденно и убедительно никто еще не высказывался о советском обществе, об обществе и человеке вообще. Это-то и сбило с толку. Зиновьев — ученый, философ, логик, социолог — не собирался писать литературу, желая лишь высказать свои научные идеи в наиболее приемлемой для понимания форме. И все так радостно и восприняли: конечно, социологический трактат. Но получилась — литература. Идеи, которым Зиновьев для иллюстративности придал человеческий облик,

* Когда обочины не хватает, когда не хватает литературы, появляется литература о литературе — квинтэссенция литературности нашей эпохи. Герой психологической драмы Тынянов, герой авантюрного романа Пушкин, герой мелодрамы Олеша, герой мистерины Гоголь — этим очастливили современную словесность. А. Синявский и А. Белинков. Только они двое возвели в высший ранг литературу о литературе, и даст Бог, мы еще напишем об этом.

человеками и стали (не переставая быть идеями), а став, принялись искать свою правду — зачем живет человек? Из дикого хаоса социологических исследований и стихов, матерных анекдотов и лирических откровений, строгого теоретизирования и похабного натурализма явилась книга «Зияющие высоты», не имеющая аналогов и прямых предшественников. Ученый Зиновьев писал трактат — изложение идей, а получившийся в процессе этого писатель Зиновьев создал мениппею — приключение идей.

Юрий Мамлеев оперирует категориями экстремальными. Его героев волнует лишь одно — что ТАМ, за границей жизни и смерти. Они не хотят существовать верой в единственность здешнего мира, для них все мерзости и горести его искупаются и оправдываются верой в потусторонний мир. Им страшно интересно заглянуть туда, чтобы узнать — а что там? Перейти просто — удавившись, скажем — им мешает страх, страх перехода ТУДА с потерей себя, с разрушением собственной личности. Потому и заглянуть хочется — проверить. И они заглядывают — в те интимные миги, когда человек восстанавливает свое утраченное единство с миром, природой, бытием. Это самое сокровенное — еда, совокупление, отправление естественных надобностей. Оттого в рассказах Мамлеева так много мерзкого, смердящего быта.

Мамлеев тоже ищет истины, Бога. Но отчаявшись достичь его или найти в себе, он находит другой путь — низвести Абсолют до себя, притянуть его к себе, слить с собой. Для этого писатель создает свою религию — как он назвал ее, «религию-Я». В «Я» — все и вся, наше общение — есть лишь погоня «Я» за «Я», и наши диалоги — монолог «Я» с «Я», и в нем, в «Я» — все сущее, будущее, прошлое.

Эдуард Лимонов открыл для себя вседозволенность, и это потрясло его. Потом, по выходе книги «Это я — Эдичка» это потрясло и остальных. Люди, бегущие впереди прогресса, — восхитились, плетущиеся позади — с омерзением отвернулись (известно, что в ногу с прогрессом не шагает вообще никто). За безудержным матом, за пенисом и вагиной, за минетами и наркотиками, за бардаками и извращениями затерялось главное — пронзительная любовь к несчастной девочке Лене несчастного мальчика Эдика, который — ну, совершенно не знает,

что ему делать. А потому делает единственное доступное ему, как и каждому человеку — в его распоряжении его тело: и он спит с бабами и мужиками, пьет и колется, и при этом — что же остается — кроет всех. Вы мразь — так нате, и я мразь; вы дерьмо — так вот куча на стол; вы меня — и я вас, ну не вас, так кого удастся... Лимонов написал талантливую исповедальную прозу в отчаянной попытке довести до крайнего предела материальное, телесное познание самого себя. Такая проза пишется раз в жизни, ни повторить, ни переписать не выйдет: только знание и опыт, а не вымысел и фантазия дают вдохновение вседозволенности. А поэтому — еще неизвестно, писатель ли Эдуард Лимонов, но его книга — конечно, литература.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

Когда-то, когда не существовали письменность и летосчисление, человек не знал атеизма. Все было едино: труд, жизнь, смерть, Бог, искусства. В эпоху славного и наивного синкретизма человек просто не расчленил свою жизнь на разные уровни. Сам факт жизни был доказательством правильности происходящего. Смерть была не расплатой, а справедливостью: раз есть живые, то должны быть и мертвые. В безыскусной чистоте существовала идея единственной возможной морали, нравственности, закона.

Но четыре тысячелетия литературной истории посвящены, в основном, доказательству идеи относительности истины. От «правильно то, что говорю я» до «у каждого своя правда». Великая литература возникла из тенденций. Великие писатели были великими идеологами.

Наш век стал эпохой кризиса всех социальных и идеологических концепций. Поэтому искусство начинает осознавать свое собственное назначение — провозглашать не истины, но истину, простую и ясную истину о единой морали, едином языке добра и красоты. Правильно — что хорошо, хорошо — что красиво. А чтобы отличить одно от другого, нужно только довериться себе. Ведь внутри каждого человека находятся идеальные весы.

Они всегда указывают: грех, истина, красота... Их баланс — наша совесть и интуиция. Эти эфемерные, неопределимые вещи есть у каждого, и по ним можно сверять часы. Синкретическая убежденность древних в безотносительности мира не исчезла вместе со всякими шумерами. Просто человек привык с этой верой бороться, воспитанный на той или иной тенденции — скажем, Толстым или Горьким. Но простые истины — убивать плохо, врать стыдно — несут универсальное добро в мир не хуже графа Толстого, но с меньшими жертвами, потому что естественны и присущи каждому.

Сейчас, в кризисный этап жизни не только русской литературы, но и вообще любой идеологической системы, в тени первых несмелых опытов проглядывает то, что пришло сменить великую литературу идей на литературу игры.

Наш декаданс станет последним, так как исчерпан набор идей, переворачивающих общества, а главное — все они проверены на практике. Теперь литература, наконец, сможет вздохнуть полной грудью, высвободить члены и заявить: «Нет, господа хорошие, Фет — хороший поэт, а какой он там крепостник — не мое дело; Лимонов — писатель, а какие там у него извращения — дело десятое и опять-таки не мое. Совместимо ли злодейство с гением — еще неизвестно, но уже очевидно, что злодейству ничего у гения не отнять».

После такого наглого заявления от литературы отвалится добрая половина ее поклонников, а главное — демократическая, с двухсотлетней традицией критика, которая всегда учила русскую словесность элементарным знаниям своих обязанностей перед обществом.

Отныне участь литературы не на баррикадах, а в осознании своих собственных возможностей. Ей придется оставить пост главы прогрессивного человечества и уйти в себя, то есть в нас. А там, у себя, она будет старой девой перебирать накопленное добро, не ленясь самым пыльным сундуком. Потом тасовать находки, нанизывать их на нитки новых богов, и глядишь — ничего, сверкает.

Все духовное богатство, накопленное человечеством, есть единственный залог смысла его — человечества — существования. Пока кто-то учит коптский язык или

пишет историю мадригала — терпеть можно. Когда литература поверит в то, что она и есть главное духовное сокровище мира — сама по себе, а не как учебник жизни, — начнется новый, не такой шумный, но, может, блестящий этап.

И знаменем его будет порожнеослепительный Набоков?

Игра вместо борьбы, вымысел вместо правды, ритм вместо смысла, полив вместо прозы, орнамент вместо передвижников и барокко вместо натуральной школы.

И гзи-гзи-гззо, и день сменяет ночь, и инка режет волосы, и Бог, наверное, улыбнется, когда увидит, что люди заговорили на Его эсперанто и открыли Книгу, а в ней уже все написано.



Геннадий ШМАКОВ

БАРЫШНИКОВ НАЧИНАЛСЯ ТАК...

(Вступление к книге
Mikhail Baryshnikov. From Russia To The West)*

Первоначально я замыслил книгу о Барышникове скорее в теоретическом плане, полагая, что подход к нему как к модели совершенного танцовщика может пролить свет на более общую картину: из каких элементов складывается хороший или образцовый танцовщик. Этот подход повлек за собой размышления о русской хореографической школе; как снежный ком, стал расти компаративный балетный материал, в котором фигура Барышникова как-то растворялась. Получалось нечто вроде темы с вариациями, в которых тонула сама тема. Но дело было не только в этом: моя дружба с ним на протяжении 15 лет и пристальное внимание, с которым я следил за его карьерой, подбрасывали то и дело

* Выходит в свет в декабре 1980 г. в изд. Farrar, Strauss and Giroux, New York.

факты, бытовые зарисовки, полуанекдоты — почти помимо моей воли, — которые вроде бы и не вязались с тем высоким тоном, который я взял в начале разговора о нем. Память все время вмешивалась в повествование, окрашивая текст биографической краской и ностальгическими чернилами памяти, которые было никак не вытравить. С этим личным, почти мемуарным оттенком я боролся по мере сил, потому что он тянул в сторону биографии, а она была бы преждевременна. Барышников в расцвете своего драгоценного таланта, а биография всегда черта, подводящая если не итоги карьере, то во всяком случае предполагающая уже близкий финал.

Если вспомнить слова Пастернака: «Не сам пишу, меня, как повесть, пишут», то они звучат вполне актуально применительно к этой книге, которая как бы писалась сама, зачастую вопреки моему плану и прикидкам. Поэтому получился скорее «личный портрет» танцовщика или очень личная интродукция в его творчество, объясняющая, как мне думается, артистический рост танцовщика. В случае Барышникова это особенно важно и интересно проследить, потому что это случай баловня судьбы (во всяком случае, так продолжалось до сего времени). Мало было иметь его артистический потенциал и выучку. Обстоятельства, время, момент, среда играли на руку его таланту, который мужал исключительно ровно, без решительных взлетов и падений.

Эта незримая фортуна споспешествовала ему с первого выступления его на легендарных подмостках Кировского, когда Барышников, ученик предвыпускного класса, руководимого Александром Пушкиным, появился в затасканном до дыр па де де из «Корсара». В Кировском издавна была своя публика, в 60-е годы состоящая большей частью из иностранцев, которым русский балет предлагался как очередная ленинградская достопримечательность наравне с Эрмитажем, Смольным и крейсером «Аврора». Кроме иностранцев, она состояла из балетманов или балетных гурманов, которые, как во времена пушкинского Евгения Онегина, приходили «ошикать Федру, Клеопатру». Они были сверхвыскаательны, избалованы тем пиршеством классического танца, которое вопреки всем катаклизмам, сотрясавшим Россию, блаженно длилось в этом позлащенном, затянутом синим бархатом

зале уже более ста лет. Все более-менее знали друг друга в лицо, словно члены какой-то таинственной секты, три-четыре раза в неделю собирающиеся на свои загадочные сборища. Эта публика не прощала танцовщикам малейшего огреха, в своем свирепом азарте словно ожидая от них промаха, чтобы наказать ледяным молчанием того, кто оскорбил этот храм русской Терпсихоры. Классический балет для петербуржцев издавна был, как Ла Скала для миланцев, которых, как известно, больше пьянит вокальный огрех как повод для скандала, чем идеально пропетые *embellimenti*.* «Лебединое», «Жизель» и «Спящая» в своих оскорбительно обветшалых декорациях вряд ли кого как зрелище могли прельстить (балетного зрелища не было и в золотые времена Петипа, и, пожалуй, не грех заметить, что оно началось и кончилось не в Петербурге, а в Париже, под опекой Сергея Дягилева в пору Русских сезонов). Поэтому ходили на Макарову-Жизель, Соловьева-Голубую Птицу, Осипенко-Фею Сирени, иной раз на одну вариацию или финал балета.

Привести этот зал в неистовство мог только чудодей. В тот вечер выпускников Вагановского училища в зале Кировского творилось что-то невообразимое: после вариации Барышникова из «Корсара», где он продемонстрировал чудо своего большого пируэта — идеально сбалансированного, под прямым углом над подмостками — публика буквально захлебывалась в криках «браво», сотрясавших расписные своды театра. Казалось, рухнут люстры и облетит позолота. Такой же энтузиазм бушевал в этих стенах десять лет без малого назад, когда выпускался Рудольф Нуреев, который блистал в том же паде де из «Корсара». Такого животного магнетизма и таких разрядов электрической энергии, которые посылало в зал по-кошачьи грациозное, словно обуянное бешенством молодых гормонов тело Нуреева, публика в Кировском не помнила со времен Вахтанга Чабукиани, чей грузинский темперамент сообщал каждой роли его, будь то Солор в «Баядерке» или Альбрехт в «Жизели», особую зажигательность. Он словно посылал в публику стремительные разряды сверхчувственности.

* Вокальные украшения (*ит.*).

Ничего подобного не было в случае с Барышниковым. В ядовито-зеленых шальварах, с серебристой эгреткой на лбу, он скорее напоминал не одержимого любовной горячкой раба, а юного эфеба, выплескивающего в танце радость от сознания своей всепобеждающей юности и сексуальной амбивалентности. Но главное заключалось в другом: в почти пугающе неправдоподобной чистоте классического танца, примерной элегантности каждой позиции и каждого движения и заразительном шарме, который они излучали. Барышников с такой крылатой легкостью и спонтанностью переходил из одного движения в другое: казалось, тренированное тело само сочиняет хореографию на месте, снимая с нее патину привычного «*monceau de virtuosite*»*, надоедливо кочующего из концерта в концерт. Это был редчайший случай «самотанцующего тела», чья координация, баланс и музыкальность были врожденные и лишь отшлифованные тренажем. Эти качества можно лишь отдаленно имитировать искусной выучки и постоянной отделкой, но отличаются они от врожденных, как разнятся неограниченный алмаз и бриллиант голубой воды. Чистота техники напоминала Юрия Соловьева, феноменального виртуоза, парившего на подмостках Кировского, но выигрывала в сравнении с ним артистизмом, которым Соловьев славился.

Но в Барышникове нечто такое, чего не помнили даже старожилы Кировского: Барышников демонстрировал чудеса «концентрированного» классического танца (феномена исключительно XX века), когда сами движения и связки между ними не существовали порознь, как это обычно бывало — они как бы уравнивались в правах, сливаясь в один поток стремительного танца.

Если Нуреев вызывал ассоциации у балетных старожилов с Чабукиани, то аналогия с Вацлавом Нижинским, его баснословным прыжком через почти всю Мариинскую сцену в «Видении розы», еще бередили воображение завсегдатаев Кировского. Не случайно, это имя замелькало в кулуарных беседах в антракте, как бы венчая своей легендарностью порывистость энтузиазма. В тот вечер в зале находилась Елизавета Тиме, драматическая акт-

* Virtuозный номер (*фр.*).

риса, первая исполнительница роли Клеопатры в фокинских «Египетских ночах», живая память русского балета и его славы. На мой вопрос: «Не напоминает ли Вам этот мальчик Нижинского своей техникой и артистизмом?» — почтенная дама, не покидавшая кресла даже в антракте, ответила: «Можете мне поверить, мой друг, что Нижинский никогда так не танцевал и никогда не обладал таким сокрушительным шармом. В мое время не было виртуозов на уровне Соловьева. Все это басни, будто танцовщики вертели по десять пируэтов и делали антраша дуз. А уж так, как танцует этот юноша, на моей памяти не танцевал никто. А она у меня хорошая и длинная. Между прочим, Павлова не имела техники ни Улановой, ни Макаровой — была бешеная одержимость танцем, было вдохновение. Виртуозность была у Кшесинской или Преображенской, но лиризма настоящего не было. Нельзя иметь то и другое. А этот мальчик — исключение из правила, сокровище Кировского, которое надо беречь как зеницу ока».

Так начинался Барышников — в ореоле легендарности и исключительности, сопутствовавших ему на протяжении всей его стремительно развивавшейся карьеры.

Татьяна ЯКОВЛЕВА-ЛИБЕРМАН

«С БРОВЬЮ БРОВИ»

ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

Ларионова и Гончарову мы — я и Алекс — часто встречали в Париже на Монпарнасе в тридцатых годах. Поселившись в Париже в начале века, Ларионов с Гончаровой хорошо знали наших родных: Ларионов дружил с моим дядей Александром Евгеньевичем Яковлевым, зная его еще по Петербургу и принадлежа к тому узкому кругу, где его звали «Саша-Яша». Оба, с другой стороны, были друзьями матери моего мужа — Генриэтты Паскар, и в пору ее увлечения балетом Гончарова писала для нее эскизы костюмов.

Наша дружба началась уже после, когда мы приехали из Нью Йорка в Париж в 1947 году.

Ларионов с Гончаровой занимали двухкомнатную квартиру в доме на Рю де Жак Калло, на последнем этаже, за которую они платили по довоенным ценам. Впрочем, это даже трудно было назвать квартирой — скорее она напоминала склеп редких книг, рисунков, манускриптов. Они лежали на полках, на полу или под узкой солдатской кроватью в первой комнате, где спал Ларионов. Во второй, тоже заставленной книгами по балету, истории живописи и костюма, находилось нечто вроде постели, для Натальи Сергеевны, тоже лежащее на книгах. В этой обстановке трудно было вообразить существование двух, более несхожих людей — Ларионова, с лицом русского крестьянина, плохо говорившего по-французски, и Гончаровой — сухой, без возраста, неслово-

охотливой, всегда в черном, с худощавым лицом, выдававшим породу. Пушкинской Наталье Николаевне Гончарова приходилась родственницей и тоже выросла на Полотняном заводе. При взгляде на Гончарову у меня возникало ощущение чего-то породистого и аскетического.

Материальные запросы Гончаровой и Ларионова были минимальные: еда и одежда не играли никакой роли. Вино обычно приносилось посетителями, в дорожные бутылки Ларионов ставил цветы, которые особенно любил. В их доме я никогда не видела посуды: в довоенные годы они по обыкновению парижской артистической богемы обедали в маленьких дешевых ресторанах, после войны Гончарова приносила готовую еду в судках, поднимаясь на последний — пятый — этаж без лифта. Когда я однажды пожалела Гончарову, посетовав на крутизну маршей, она ответила характерным галлицизмом: «Да, это берет некоторое время». При всей ощущаемой физически скудости и даже убогости их жизни оба никогда не жаловались. Оба излучали достоинство и самоуважение. Порою они казались выходцами из легенды, остатком русской культуры, затерянной в Париже.

А вернее сказать, всеми забытой. Впрочем, чтобы забыть, нужно знать. Обоих, кроме немногих друзей-единоверцев и почитателей, никто в Париже не знал. Их недолгая известность была связана с цветением дягилевских сезонов. Как художники редкого дарования безотносительно к балету они не существовали для парижанина. Французы издавна славилась своим ксенофобством, нелюбовью к иностранным художникам вообще, а к так называемым современным живописцам в частности. Кандинский до второй мировой войны выставлялся редко, а Шагал почти не продавался, и судьба Ларионова с Гончаровой не была исключением.

Большинство художников-иностранцев в Париже зарабатывали писанием эскизов для театра, росписью тканей, ширм, иллюстрированием книг. Это не миновало Гончарову и Ларионова. В их ателье на Рю Висконти пылились и множились холсты.

Из русских художников, кажется, лишь Яковлев благоденствовал благодаря успеху его портретов, а также

картин и рисунков, привезенных из Croisiere Noire*, организованной Ситроэном по Африке, и Croisiere Jaune** в глухие районы Тибета .

Гончарова с Ларионовым прожили десятилетия на своем чердаке с одним окошком в каждой комнате, чуждаясь людей, замкнувшись в безвестности. В 30-е годы, сколько помню, они дружили с Фатмой Ханум, Самойленко, Прокофьевым, Яковлевым и Шушаевым. В послевоенные годы при наших встречах Ларионов с любовью вспоминал о них. У Фатмы Ханум Ларионов бывал часто в конце сороковых и в пятидесятые — порою делал беглые наброски для нас, и под Новый год или Рождество к нам шли рисунки от обоих. Так прибыл «Кот Бабас» Гончаровой, кот, живший у Фатмы Ханум, которого я любила.

То, чему в эту пору мы явились свидетелями, было в сущности развязкой драмы, в которую вылилась жизнь Ларионова и Гончаровой в Париже. И мы, по немому сговору переняв эстафету участия к ним от наших близких, старались облегчить им существование.

Это было трудно. Алекс через знакомых содействовал продаже уникальных книг и рисунков, над которыми Ларионов трясся, как Скупой Рыцарь.

Понимая, что это единственный источник дохода, Ларионов тем не менее, со свойственной ему хитростью, пускался на любые уловки, чтобы не расстаться со своими сокровищами. Каждую книгу он знал наперечет. Они были связью с его прошлым и культурой вообще, воспоминанием о личных радостях и встречах. Обычно, когда мы приводили покупателя к Ларионову, он притворялся, что не может найти нужную книгу, но стоило лишь полюбопытствовать безотносительно к продаже, как книга, словно по мании фокусника, возникала из-под кровати. Даже полупарализованный в последние годы Ларионов умудрялся проделывать эти маленькие чудеса.

Видя его прикованным к постели, застланной очень чистым бельем, я неизменно радовалась белоснежности его рубашки, как-то не вязавшейся с общей атмосферой неуюта. Этой чистотой он оборонялся от теснившегося вокруг хаоса.

* «Черная экспедиция» (фр.).

** «Желтая экспедиция» (фр.).

Последний раз мы виделись с Ларионовым незадолго до его смерти. Я любила его картину «Осень» — на холсте с синим фоном, на котором белела нагая женская фигура, выдержанная в примитивном лубочном стиле. И мы спросили, нельзя ли ее купить. «Какая между нами может быть продажа? Я дарю Вам картину», — сказал Ларионов. Нам как-то было неловко забрать ее сразу. «Возьмем на будущий год», — сказал Алекс.

Но этого, к моей большой грусти, не случилось. Гончарова, неожиданно опередив Ларионова, угасавшего на глазах и уже выказывавшего признаки слабеющего рассудка, скончалась от рака; Ларионов тоже вскоре умер. И встретила я с облюбованной и подаренной мне картиной Ларионова (о чем свидетельствует нижепубликуемое письмо) уже в Бобуре спустя много лет. Там она и висит по сей день, но я не уверена, что она там будет висеть всегда.

Литературная редакция Геннадия ШМАКОВА

М. ЛАРИОНОВ И Н. ГОНЧАРОВА

В ПИСЬМАХ И РИСУНКАХ

20 сен. 52

Дорогой друг, дорогой Алекс!

Извиняюсь за беспокойство, какое Вам сделал с этой книгой мод. Я был болен, а поэтому и не мог писать, у меня был грипп — хотелось все же самому Вам написать — получилось 400 тысяч фр., потому что я дал в 1914 г. 2000 фр. и Вы выводили счет из этой суммы. А это, по-видимому, не точно. Я позвонил по телефону в библиотеку Дусе и в библи. Орéга, там я знаю заведующих — *Вы совершенно правы*. Этот уваж стоит теперь от 120 до 150 или 160 тысяч — его так оценивают, но только эти моды редко можно найти для продажи, они до первой войны все разошлись. Я хотел иметь книгу и купил экземпляр издательский, который сохранялся в издательстве. Думаю, с меня поэтому взяли дороже — *я согласен* на цену, какую Вы предложили в Вашем письме, т. е. на 150.000 франков, и, пожалуйста, извините, что все это так вышло. Я вовсе не хочу иметь за книгу того, чего она не стоит, и вообще очень Вам благодарен за то, что Вы пожелали это приобрести. Для меня это, особенно сейчас, очень кстати. Я думаю, что индусские костюмы (17 штук) тоже дорого, пожалуй, по 2,5 доллара, я назначаю по 2 долл. за штуку теперь — деньги нужны. Вы, когда были у нас в последний раз, любезно сказали, что если нужно будет продать другие вещи, то Вы это устроите, и я смогу отдать здесь в Париже

у Костюма клоуна и музыка



у Буча майя мая

в 'em au ucmuach
за илечараво Хеліф
КІДНО. А. Кіф

книги и получить деньги. У меня есть 6—8 томов
1) издание Венской библиот. Жозеф Грегор «Театр». Вы издание знаете (большие картоны). Я хочу (это цена точная) 30 дол. за картон.

2) Леонардо да Винчи манускрипты фот., а фото-типии на одной стороне фот. манускрипта, на другой перевод, и так вся книга. 6 томов. Цена напечатана на каждом томе 100 фр., 1881 г. начиная и до 1891. Я хочу менее половины 150 долларов за все издание (6 томов).

3) Картон изд. Акад. в Бакхаус Гропиуса в Веймаре. 11 штук крупных литографий Кирико, Кандинского, Архипенко, Северина, Гончаровой, мои и т. д. в красках. Все сделаны авторами и подписаны (издано 30 лет тому назад, редкое) 60 долларов. Напишите мне и как это можно сделать? Я очень рад иметь с Вами контакт. Прошу я и Натал. Серг. поцеловать милую Таню. Обнимаем Вас и надеемся иметь скоро от Вас известие. Как найдете минуту свободную, напишите.

Ваш М. Ларионов.

21 сен. 1952

Дорогой Алекс!

Послал Вам письмо и не написал того, что хотел написать — и спросить у Вас: может ли это интересовать — напечатать в Америке — то, что касается первых вещей и начала абстрактной живописи до 910 года, и то, что касается С. П. Дягилева и Г. Аполлинера? Это дневник разговора С. П. Д., моего брата и мой по поводу некоторых художественных вопросов — и мои рисунки репетиций балета С. П. Дягилева вместе с Г. Аполлинером — 2) Дягилев и Дункан в России 906—910 гг. и С. П. Д. и Дузе в Риме 1917 г. Вы пишете, что фото в красках вышли хорошо и что Вы их пошлете мне. Я очень буду рад и благодарю Вас за это — пока я ничего не получал.

Желаю Вам обоим с Таней всего хорошего и крепко, от всего сердца, обнимаю и целую.

Ваш Мих. Ларионов



Avery

Paris
Chatelet

Repetition
aux Ballets Russe
J. Apollinaire
et
Diaghilev
M. 1917

И я тоже обнимаю и целую вас обоих крепко.
Н. Гончарова

P.S. Мое все, о чем я пишу, написано по-русски и надо будет перевести на английский. Это, пожалуй, стеснительно? Я хотел бы, как говорил, послать Вам в подарок одну мою Rayonist'ическую гуашь — если будет по почте неудобно, могу ли я ее передать для посылки Вам в Vogue? И как?

М. Л.

26 дек. 52

Дорогие друзья, Татьяна и Алекс,
шлем Вам лучшие пожелания к праздникам и желаем счастливого Нового года.

Очень благодарим Вас за две бутылки прекрасного шампанского. Также очень благодарны Алексу за 75.000 франков. Мы их получили 3 недели тому назад. Извиняемся, что не сразу ответили.

Обнимаем и целуем

Ваши — *Наталья Гончарова*

Михаил Ларионов

25 сен. 53

Дорогой Алекс!

В этот приезд я Вас мало видел. Не написал Вам до сих пор потому, что нервы у меня были очень не в порядке. Последний раз, когда Вы были у меня с Вашими друзьями — которые, кажется, интересуются восточным костюмом, — я все не мог найти как раз некоторые книги. На следующий день мне повезло, и я нашел следующие вещи: *L'Histoire de la décadence de L'Empire grec et l'établissement de celui des Turcs par Chalcondile Athenien 1612*, издано в Paris 1650 и 2-й том, изданный позднее в Paris 1662 только о турках, больше чем с 75 гравюрами. Одной гравюры не хватает — но зато на ее месте рисунок (акварель) турецкой работы того (17 век) времени. *Затем 100 гравюр 18 века один альбом* (начало 18 столетия) величина фолио (раз-

Діна Кобин 25 лет Кіраді M.L



вернутая газета Monde, скажем) большая, и нашел о лошадях книги иллюстрированные 17 и 18-го столетия — и много оригиналов мод разного времени — акварели. Может это — интересовать ваших друзей? Должно быть, Нью-Йорк и журнал Вас совсем захватил. Я сейчас начал подбирать всякие исторические материалы по развитию абстрактного искусства. Если у вас в Америке написано что-либо об этом и если Вам не трудно будет, когда найдется свободная минута, не забудьте обо мне, и пришлите, очень буду благодарен. Мне казалось, что Вы говорили, что сами пишете по этому вопросу?

Как Ваши фотографии, что Вы снимали здесь, вышли? Особенно в красках.

Когда синяя «Осень» моя будет у Тани, я был бы рад, если бы Вы ее сняли в цветной фотографии. Если бы даже сняли *детали* отдельно.

Целую Вас

Ваш М. Ларионов

Приветствую и целую Ваша Н. Гончарова

22—V—55

Дорогие Татьяна и Алекс!

Давно Вам не писали, но помним Вас, любим и ждем скорее увидеть в Париже. Мы страшные свинюхи перед Вами, не поблагодарили Вас за прекрасное шампанское. С Новым годом поздравляем только теперь — так как он все еще новый и продолжается и теперь. Но Вы нас простите — так как знаете, что мы Вас любим и ценим. У нас зима длится с того времени, как Вы уехали, и до настоящего момента — (во Франции снег был вчера) — по-видимому, мир перевернулся вверх дном. Так даже забавно, но посмотрим, что из этой забавности дальше получится? Я, по крайней мере, не хочу больше жить летом как зимой!

По крайней мере есть надежда, что с Вашим приездом — Татьяна привезет жизненную бурность, а Вы, Алекс, энергичное спокойствие. У нас в июне будет балет Баланчина, но Вы в Америке много раз его видели. — Одним словом, для нас в будущем имеются удо-

вольствия. — Только просим Вас, не так, как в прошлом году, покажите хоть несколько раз нос. Мы знаем, что Вы приезжаете в Париж не без дела, но, может быть, нам повезет, и на этот раз Вы приедете и поживете здесь подольше.

Целуем Вас обоих крепко я и Наташа и надеемся скоро Вас увидеть.

Ваш М. Ларионов

Публикация Татьяны и Алекса ЛИБЕРМАН



ВОСПОМИНАНИЯ

Ольга ВАКСЕЛЬ

О МАНДЕЛЬШТАМЕ

ИЗ ДНЕВНИКА

Ольга Александровна Ваксель, адресат едва ли не лучших любовных стихотворений Мандельштама, всю свою жизнь вела дневникового типа записи — «Записки». Небольшой отрывок «Записок» касается ее отношений с Мандельштамом. Приводим его полностью (больше в «Записках» о Мандельштаме упоминаний нет), сохраняя орфографию и пунктуацию оригинала, лишь в нескольких специально оговоренных случаях исправляя описки, — текст только не предназначался для чужих глаз, но, судя по этим опискам, даже не перечитывался автором.

С. П.

Около этого времени¹ я снова встретила с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме Макса Волошина² в те два лета, когда я там была. Современник Ахматовой и Блока из группы «акмеистов», женившись на прозаической художнице, он почти перестал писать стихи. Он повел меня к своей жене (они жили на Морской³); она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги. Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с желтыми прямыми волосами и ногами, как у таксы. Но она была так умна, так

жизнерадостна, у нее⁴ было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу (для — С. П.) его переводов. Мы с ней настолько подружились; я — доверчиво и откровенно, она — как старшая покровительственно и нежно. Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели под пестрым гарусным одеялом. Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как к мужским, так и к женским ласкам. Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он, еще больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен, ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта, но как человек он был довольно слаб и лжив. Вернее, он был поэтом в жизни, но большим неудачником. Мне очень жаль было портить отношения с Надюшей; в это время у меня не было ни одной приятельницы. Ирина и Наташа уехали за границу, ни с кем из Института⁵ я не встречалась; я так пригласилась около этой умной и сердечной женщины, но все же Осипу удалось кое-чем ее опередить. Он снова начал писать стихи — тайно, потому что они были посвящены мне. Помню, как провожая меня, он просил меня зайти с ним в «Асторию»⁶, где за столиком продиктовал мне их. Они записаны только на обрывках бумаги, да еще... на граммофонную пластинку⁷. Для того, чтобы говорить мне о своей любви, вернее о любви ко мне для себя и о необходимости любви к Надюше для нее, он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишний раз. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что жалко было смотреть.

В конце 1924 г. А. Ф.⁸ решил отдать мне ребенка. Это событие было облечено большой торжественностью. Ребенок уже учился ходить, но не говорил еще ничего, кроме «мама». Теперь мне не было необходимости приходиться к А. Ф. каждый раз, как я хотела повидать ребенка, зато он сам стал часто появляться и проявлять свое неудовольствие по всякому поводу.

Для того, чтобы иногда видаться со мной, Осип снял комнату в «Англетере»⁹, но ему не пришлось часто меня

там видеть. Вся эта комедия начала мне сильно надоедать. Для того, чтобы выслушивать его стихи и признания, достаточно было и проводов на извозчике с Морской на Таврическую¹⁰. Я чувствовала себя в дурацком положении, когда он брал с меня клятвы ни о чем не говорить Надюше, но я оставила себе возможность говорить о нем с ней в его присутствии. Она его называла «мормоном» и очень одобрительно относилась к его фантастическим планам поездки втроем в Париж. Осип говорил, что извозчики — добрые гении человечества. Однажды он сказал мне, что имеет сообщить мне нечто важное и пригласил меня для того, чтобы никто не мешал, в свой «Англетер». На вопрос, почему этого нельзя делать у них, ответил, что это касается только меня и его. Я заранее могла сказать, что это будет, но мне хотелось покончить с этим раз навсегда. Я ответила, что буду. Он ждал меня в банальнейшем гостиничном номере с горящим камином и накрытым ужином. Я недовольным тоном спросила, к чему вся эта комедия — он умолял меня не портить ему праздника видеть меня наедине. Я сказала о своем намерении больше у них не бывать; он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверяя, что он не может без меня жить и т. д. Скоро я ушла и больше у них не бывала. Но через пару дней Осип примчался к нам и повторил все это в моей комнате к возмущению моей мамы, знавшей его и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Мне едва удалось уговорить его уйти и успокоиться. Как они с Надей разобрались во всем этом, я не знаю, но после нескольких телефонных звонков с приглашением с ее стороны я ничего о ней не слыхала в течение 3-х лет, когда, набравшись храбрости, зашла к ней в Детском Селе¹¹, куда они переехали и где я была на съемке.¹²

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Т. е. в начале 1925 г.

² Речь о доме поэта Волошина в Крыму (Коктебель).

³ Одна из центральных улиц в Ленинграде (ныне улица Герцена).

⁴ В рукописи — у него.

⁵ О. А. Ваксель училась в Екатерининском институте благородных девиц.

⁶ «Астория» — гостиница в Ленинграде, вблизи тогдашней квартиры Мандельштамов.

⁷ Судьба обеих этих записей неизвестна.

⁸ Арсений Федорович — первый муж О. А. Ваксель, который после ее ухода от него не отдавал ей сына.

⁹ «Англетер» — гостиница на Исаакиевской площади рядом с «Асторией».

¹⁰ Таврическая улица, где жила О. А. Ваксель, находится далеко от «Англетера», в районе Смольного.

¹¹ Первые годы после революции Царское Село было переименовано в Детское Село, затем в г. Пушкин.

¹² О. А. Ваксель одно время снималась в кино.

Серафима ПОЛЯНИНА

ОЛЬГА ВАКСЕЛЬ

Ольга Александровна Ваксель (1903—1932) принадлежала к старинной дворянской семье, в обеих ветвях которой — материнской и отцовской — были люди, причастные к искусству, и все они оставили в наследство ей свою одаренность (она пела, писала стихи, играла на рояле и на скрипке, искусно вышивала, снималась в кино). Жизнь О. А. Ваксель сложилась тем не менее глубоко несчастливо и даже трагично. Уже в юности она чувствовала «тоску, стучащую в виски»*, которая вдали от родины, где О. А. очутилась, приняла безысходный характер и подтолкнула ее руку нажать курок револьвера.

Дочь Ю. Ф. Львовой, высокообразованной и разносторонней женщины, юриста, композитора, пианистки, и А. А. Вакселя, блестящего петербургского кавалергарда, она выросла в атмосфере интеллектуальных интересов и многообразных — подчас противоречивых — культурных традиций; дед ее с материнской стороны был петрашевцем, дед отца (другая ветвь семейства Львовых) — скри-

* Строчка заимствована из стихотворения О. А. Ваксель «Ни мать, ни муж», написанного в 1922 г.

пачом и композитором, между прочим, автором музыки гимна «Боже, царя храни» (о нем в стихотворении на смерть О. А. Ваксель поминает Мандельштам «и прадеда скрипкой гордится твой род»); к предкам О. А. принадлежал и известный архитектор Н. А. Львов, много строивший в Петербурге, Гатчине, а также в провинции.

Образование О. А. Ваксель началось в царскосельской гимназии Левицкой, где рисованию и лепке обучала будущая писательница Ольга Форш, затем было продолжено в аскетических стенах Екатерининского института благородных девиц в Петербурге и закончено, после упразднения подобного рода привилегированных учебных заведений, в советской школе.

Еще в свои институтские годы О. А. Ваксель познакомилась в кокетельском доме Волошина с Мандельштамом, и он даже навещал ее в приемные дни — общение воспитанниц Института с внешним миром было ограничено.

После революции судьба О. А. Ваксель резко изменилась, и ей в свободное от школьных занятий время приходилось служить в книжном магазине и исполнять многотрудную работу по дому — полностью разлаженный быт требовал от людей большой затраты сил, и всякая мелочь вроде топки печей или добычи продуктов обращалась в неразрешимой трудности проблему. Вся дальнейшая жизнь О. А. Ваксель до отъезда ее в Норвегию представляет собой смену изнурительных физически и духовно бесплодных занятий — она работает на строительстве табельщицей-прорабом, учится в строительном техникуме, выступает как манекенщица, снимается в массовках, служит корректором, поступает, наконец, в гостиницу «Астория», т.е. ведет существование, типичное для тех, кто не сумел приспособиться в новой обстановке.

В 1921 г. О. А. Ваксель вышла замуж за преподавателя Института путей сообщения, тоже царскосела, своего еще с детских лет знакомого, которому она девочкой посвящала влюбленные стихи. Однако идиллический брак не получился, и муж оказался деспотичным ревнивцем, который держал свою жену гаремной затворницей и, уходя из дому, чуть ли не запирали на ключ. «Султаннизм» его проявлялся и в том, что он не только не интересовался духовной жизнью своей жены, но даже препятствовал ее попыткам продолжить образование. Все же вопреки его

желанию О. А. поступила на вечернее отделение Института Живого Слова (нечто вроде поэтического цеха, где обучали законам ремесла и истории литературы; в это время подобного рода школ было великое множество) в группу Н. Гумилева, которому она приходилась дальней родственницей. Позднее у О. А. возникает интерес к новому тогда искусству — кино, и она занимается в студии ФЭКС (Фабрика эксцентрического актера), где принимает участие в съемках (она сыграла несколько эпизодических ролей, например, в фильме «Мишка против Юденича», «Кастусь Калиновский» и некоторых других; сниматься много О. А. не могла, так как плохо переносила свет юпитеров), пишет сценарии и рецензии на фильмы. Вскоре после рождения сына О. А. переносит тяжелую инфекционную болезнь, в результате которой становится подвержена периодически возвращающимся приступам тяжелой депрессии. Болезненное состояние усугубляется уходом от мужа, жизнь с которым стала невыносимой, судами за ребенка, которого отец отказывается отдать, чтобы таким путем вернее добиться ее возвращения.

В этот период домашнего неблагополучия и бесплодных попыток реализовать свои духовные возможности О. А. вновь, после большого перерыва, встречается с Мандельштамом. То, что Мандельштам душевно не затронул О. А. Ваксель можно тоже отнести к печальным неудачам ее жизни. Скорее даже он вызывал у нее отталкивание, о чем можно заключить не только по тому, что прямо высказано в «Записках»; не менее красноречивы умолчания и косвенные свидетельства. Так, по-видимому, хотя она любила и сама писала стихи и как человек литературный не могла не знать цены таким шедеврам, как посвященные ей «Жизнь упала» или «Я буду метаться», тем не менее пишет об этих стихах подчеркнуто равнодушно. Более того, О. А. Ваксель, как бы нарочито отстраняясь от Мандельштама, отмечает, что очень уважала его как поэта, как бы не желая воспользоваться обычным в таких случаях глаголом «любить». Между тем, любовь к ней Мандельштама была в его жизни серьезной вехой, и он до конца дней не мог забыть ту, кого назвал Миньонной.*

* Н. Мандельштам, «Вторая книга», Париж, 1972, стр. 278. В дальнейшем цитируется по этому изданию.

Уже после прекращения отношений с Мандельштамом О. А. Ваксель в 1931 г. знакомится с норвежским дипломатом Христианом Иргенс-Вистендаль, которого она любила. С этого времени душевное состояние ее обретает равновесие и вновь возобновляется писание стихов, заброшенное на целых семь лет. В сентябре 1932 г. О. А. Ваксель выходит замуж и уезжает с мужем на его родину в Осло (Мандельштам узнал о смерти О. А. от общего знакомого, случайно встреченного на улице,* чем и объясняется ошибочное упоминание в стихотворении, посвященном ее памяти, «холодной стокгольмской постели» и зимующих в снегу мельничных колес, хотя она умерла в октябре).

Норвежская родня с искренней сердечностью приняла новую свою родственницу, муж относился к ней с любовью и восхищением, — казалось, жизнь, наконец, вошла в иное, счастливое русло. Но, несмотря на благополучие и покой, О. А. вновь овладел приступ тягчайшей меланхолии, на который нахлобачились мучительные ностальгические настроения. Как видно по одному из последних стихотворений, написанных ею в октябре 1932 г., все — язык, который она ежедневно слышала, природа, которую она видела вокруг себя, и даже любимый человек — стали ощущаться как чужие и непоправимо враждебные:

Я разучилась радоваться вам,
Поля огромные, синеющие дали,
Прислушиваясь к чуждым мне словам,
Переполюнясь горестной печали.
Уже слепая к вечной красоте,
Я проклиная выжженное небо,
Терзающее маленьких детей,
Просящих жалобно на корку хлеба.
И этот мир — мне страшная тюрьма,
За то, что я испепеленным сердцем,
Когда и как, не ведая сама,
Пошла за ненавистным иноверцем.

В двойных тисках болезни и ностальгической тоски, обернувшейся ненавистью ко всему чужеземному, даже к любимому человеку и своей единственной опоре, не прожив на чужбине и месяца, О. А. Ваксель выстрелила в себя из револьвера, найденного в ящике мужнего письменного стола. После нее осталось два распавшихся дома —

* Ук. соч., стр. 244.

в Ленинграде и в Осло — и мучительная память, приведшая ее мужа к смерти (еще совсем молодой человек, ровесник О. А., он заболел сердцем после перенесенного потрясения и умер менее чем два года спустя), а Мандельштаму внушившая замечательные стихи, единственный в своем роде венок на ее могилу.

Ольге Александровне Ваксель посвящено четыре стихотворения «Я буду метаться», «Жизнь упала как зарница», «На мертвых ресницах» и «Возможна ли женщине». В стихотворении «Я скажу тебе с последней прямотой» ее образ только мелькает, переводы четырех сонетов Петрарки тоже, по-видимому, связаны с воспоминаниями о ней.*

Во всех пьесах, так или иначе поминающих О. А. Ваксель, возникают одни и те же представления, подобно лейтмотивам сопровождающие ее. К ним относятся образ медведя (тема неуклюжего, мягкого, теплого, ласкового, даже беспомощного, возможно, осложненная утраченной для нас домашней семантики): медведицы ворс (№ 283)**; уподобление лирической героини медвежонку (№ 282) и редуцированно, в определении красоты О. А. Ваксель как неуклюжей (№ 439).

Другая прочная ассоциация с О. А. Ваксель — песни Шуберта, на которые есть намек в трех пьесах из четырех: в № 144 появляется «вечный мельничный шум» (музыкальный цикл «Прекрасная мельничиха»), в № 283 упоминается песня Шуберта «Шарманщик» (Шарманщика смерть); в этой же пьесе Шуберт прямо назван (И Шуберта в шубе замерз талисман) и упомянуты его песня «В путь» (тоже из цикла «Прекрасная мельничиха») — «Движенье, движенье, движенье», в № 282 тоже возникают шубертовские

* Н. Мандельштам (стр. 278) сообщает, что в пьесе «Я скажу тебе с последней прямотой» под Еленой подразумевается О. А. Ваксель; там же она связывает с О. А. переводы сонетов Петрарки: «мне кажется», пишет Н. Мандельштам, «что переводы Петрарки не случайность, а как-то связаны с Ольгой. Возможна и обратная связь — работа над Петраркой воскресила в памяти Ольгу. В пользу второго предположения говорит то, что «изменнических стихов» мне Мандельштам в руки никогда не давал».

** Стихи цитируются по изд. О. Мандельштам. Собр. соч., т. 1 1964, т. 2, 1966.

реминисценции («и мельниц колеса зимуют в снегу и стынет рожок почтадьона»).*

К постоянным ассоциациям с лирической героиней относится также образ ресниц — в № 283 говорится о мертвых ресницах, в № 439 жизнь сравнивается с упавшей в стакан с водой ресницей («жизнь упала, как зарница/ Как в стакан воды ресница»), наконец, поэт придумывает заресничную страну, где он будет счастлив с нею:

Есть за куколем дворцовым
И за кипением садовым
Заресничная страна, —
Там ты будешь мне жена.

Хорошо согласуется с предположением Н. Мандельштам о том, что переводы из «Сонетов на смерть Лауры» Петрарки связаны с О. А. Ваксель, введение поэтом (№ 419) в перевод 311 сонета Петрарки образа ресниц — «ресничного не долговечней взмаха», отсутствующего в оригинале, но часто сопровождающего в его стихах О. А. Ваксель. Возможно, что появление этого словосочетания вызвано уподоблением О. А. Ваксель Лауре (оба стихотворения — поминальные), приведшим за собою сопровождающий лирический адресат Мандельштама лейтмотив.

Особенностью стихотворного цикла, посвященного О. А. Ваксель, является также обычно чуждая Мандельштаму физиогномическая конкретность. Он упоминает каштановые пряди, яблочную розовую кожу (№ 144), круглые брови (№ 282), очень характерные для лица О. А. Ваксель, как это видно из прилагаемой фотографии, и небольшой яркий рот («ты раскрывала свой маленький рот» № 282 и вариант — «свой аленький рот»). О. Мандельштам. Стихотворения, Л., 1974; № 174 и «как дрожала губ малина» № 439).**

О. А. Ваксель предстает в стихах Мандельштама в отсветах ангельской золотой овчины (№ 439) и в рамке романтического искусства Шуберта и классического Гете

* Некоторые из этих реминисценций уже отмечены в комментарии Харжиева к отдельным пьесам, посвященным О. А. Ваксель (О. Мандельштам. Стихотворения. Л., 1974) и Н. Мандельштам, стр. 272.

** Впрочем, независимо от портретного правдоподобия, эта особенность внешности усваивается поэтом и другим его лирическим адресатам — О. Н. Арбениной и М. С. Петровых (см. №№ 120, 122 и 264).

(образ Миньоны), столь ценимых им. В этом тройном нимбе она вошла в русскую поэзию.

Остается сделать несколько поправок к разделам «Второй книги» Н. Мандельштам, касающихся О. А. Ваксель. Сопоставим для этого «Записки» и воспоминания Н. Мандельштам:

Н. Мандельштам

«Записки» О. А. Ваксель

стр. 245

Не понимаю я и злобы Ольги по отношению ко мне.

...она (Н. Мандельштам — С. П.) была так умна, так жизнерадостна, у нее было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу (для) его переводов.

стр. 244

Страничка, посвященная нашей драме (речь идет о «Записках» О. А. Ваксель — С. П.), полна ненависти ко мне и к Мандельштаму.

Мы с ней настолько подружились, я — доверчиво и откровенно, она — как старшая, покровительственно и нежно.

стр. 244

В своих мемуарах она сводит счеты...

Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне.

...я так пригрелась около этой умной и сердечной женщины.

Я очень уважала его (О. Мандельштама—С.П.) как поэта.

стр. 245

Мне еще обидно, что она (О. А. Ваксель — С. П.)

...я снова встретила с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме

называет Мандельштама переводчиком, не поэтом.

Макса Волошина в те два лета, когда я там была. Современник Ахматовой и Блока из группы «акмеистов»... он почти перестал писать стихи.

Я очень уважала его как поэта.

Теперь о неточностях, находящих опровержение за границами «Записок». На стр. 236 «Второй книги» мы читаем: «Ее (О. А. Ваксель — С. П.) бросил муж, и она с сыном целиком зависела от матери и отчима, который, видимо, тяготился создавшейся обстановкой». Между тем, как это подтверждается документами и свидетельством многих друзей О. А. Ваксель, она сама ушла от мужа, долгое время добивавшегося ее возвращения. Отчим же Ольги Александровны А. Ф. Львов эмигрировал после окончания первой мировой войны и больше в Россию не возвращался, так что в 1925 г. никак не мог «тяготиться создавшейся обстановкой». Еще одна мелочь из семейной хроники: Ю. Ф. Львова, мать О. А. Ваксель, несмотря на свою родовитость, никогда не была фрейлиной, как на этой же странице говорит Н. Мандельштам. Не подтверждается и утверждение Н. Мандельштам на стр. 244, будто «Ольга надиктовала мужу, знавшему русский язык, дикое эротические мемуары». Здесь две неточности: О. А. Ваксель начала вести свои «Записки» задолго до своего второго брака и только их конец, действительно, писался господином Христианом Иргенс-Вистендаль под ее диктовку. Не соответствует действительности и определение «Записок» О. А. Ваксель как «диких» и «эротических», что видно даже по приведенному отрывку: на такой канве, которой располагала О. А. Ваксель, дикое эротическое воображение, если бы оно у нее в действительности было, непременно выткало бы пестрый узор. Удивительно вообще, как Н. Мандельштам судит о «Записках», которые, как сообщил мне их владелец, сын О. А. Ваксель, до 1976 г. полностью не читал никто. Только несколько страниц оттуда, отражающих встречи их автора с Мандельштамом — и то с купюрами, шадящи-

ми его вдову, — было перепечатано на машинке по просьбе брата поэта Е. Э. Мандельштама.

Отступления Н. Мандельштам от фактов не простые ошибки (впрочем, наличие добросовестных заблуждений тоже не украшает мемуариста!), а результат сознательных искажений. Они, по замыслу Н. Мандельштам, должны были всячески снизить образ О. А. Ваксель, созданный Мандельштамом, ревниво противопоставив ему фигуру женщины злобствующей и «сводящей счеты». При этом Н. Мандельштам упустила из виду, что подобное поведение необъяснимо в положении О. А. Ваксель, не отвергнутой, но, напротив, любимой — такова была общность их вкусов! — обоими супругами. Эту же цель снижения преследовали и утверждения Н. Мандельштам, что О. А. Ваксель бросил муж, что ею тяготился отчим, что она была способна написать «дикие эротические мемуары», что, наконец, мать О. А. Ваксель, хотя и была фрейлиной, вела себя неподобающим для воспитанной женщины образом.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ О МУРЕ БУДБЕРГ

Печатаемый отрывок — начало моей новой книги, точнее, начало первой главы (или части). «Железной женщиной» называл М. Горький свою последнюю подругу, которая с небольшими перерывами жила у него в доме с 1920 г. по 1933 г., Мария Игнатьевна, баронесса Будберг, урожденная Закревская, по первому мужу Бенкендорф, пришла к нему еще на Кронверкский, а простилась с ним в мае 1933 года в Стамбуле, когда он навсегда уезжал в Советский Союз, из Неаполя в Одессу.

М. И. Закревской посвящена «Жизнь Климса Самгина». Но в России о ней известно очень мало: в подстрочных примечаниях изредка встречается ее имя, как секретарши Горького или его переводчицы. Между тем, она сыграла большую роль в судьбе трех людей: сэра Роберта Брюса Локкарта (о нем и о его «заговоре» можно прочесть в Большой Советской Энциклопедии), самого Горького и Герберта Уэллса, с последним она была знакома с 1920 года и «невенчанной женой» (по выражению Беатрисы Вебб) которого была тринадцать лет (1933—1946). «Железная женщина» скоро выйдет в свет.

Н. Б.

В 1920-х и 1930-х годах о ней было известно, что она кончила Кембриджский университет и была переводчицей шестидесяти или больше томов русской литературы на английский язык. Ее называли графиней Закревской, графиней Бенкендорф, баронессой Будберг. Считалось, что ее отец был сенатор и член Государственного совета в Петербурге, но что она сама большую часть жизни

* Все права сохранены за автором.

жила в Лондоне. Урожденная Закревская, она считалась правнучкой или, может быть, праправнучкой Аграфены Федоровны Закревской, жены московского губернатора, которой Пушкин и Вяземский писали стихи. В. Ф. Ходасевич так до самой смерти и считал, что «медная Венера» Пушкина была Муре сродни, а сэр Роберт Брюс Локкарт в одной из своих поздних книг называет ее русской аристократкой.

На самом деле вся эта легенда была придумана ею, вероятно, не сразу, но мало-помалу, в ее рассказах о прошлом. Она была дочерью сенатского чиновника Игнатия Платоновича Закревского, не имевшего отношения к графу А. А. Закревскому, женатому на Аграфене; первый муж Муры, Иван Александрович Бенкендорф (родившийся в конце 1880-х годов), к линии графов Бенкендорфов не принадлежал, с царским послом, внучатым племянником николаевского шефа жандармов, был в отдаленном родстве, как тогда говорили: принадлежал к боковой линии, т. е. не имел графского титула, хотя и происходил из прибалтийского дворянства. Кембриджский университет до первой войны женщин не принимал, но в городе Кембридже были в те годы две женских школы — Гиртон, открытая в 1869 г., и Ньюхам, открытая в 1871-м. Их Мура не кончила, а пробыла в Ньюхаме одну зиму для усовершенствования в английском языке, который был ей знаком с детства. В 1911 г. родители послали ее в Англию под присмотр ее сводного брата, Платона Игнатьевича Закревского, состоявшего в это время в чине надворного советника в русском посольстве в Лондоне. Что касается шестидесяти томов переводов, то эту цифру она уже в 1924 году назвала одному своему близкому другу, однако ни в 1924, ни в 1974 году — когда она умерла — их не было. В конце ее жизни их можно было насчитать около двадцати (за пятьдесят лет), и не все переводы были с русского.

Единственное, что было правдой, был факт ее второго замужества, давшего ей титул баронессы Будберг. С этим именем она никогда уже не расставалась (хотя в Советском Союзе он мало кому известен, там она чаще значится под фамилией Закревской-Бенкендорф; Марии Игнатьевне Закревской посвящен четырехтомный роман Горького «Жизнь Клима Самгина»). С именем Будберг

она не расставалась до смерти, хотя с самим бароном Будбергом рассталась едва ли не на следующий день после свадьбы.

Я помню, как однажды Ходасевич спросил ее, что она думает о своей бабушке, о которой Пушкин писал Вяземскому в сентябре 1828 года:

«Я пустился в свет, потому что бесприютен. Если бы не твоя медная Венера, то я с тоски бы умер. Но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи. А она произвела меня в свои сводники (к чему влекли меня и всегдашняя склонность, и нынешнее состояние моего Благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке: ей-ей намеренье благое, да исполнение плохое)».

Мура имела свойство никогда не отвечать прямо на поставленный прямо вопрос. Ее лицо — серьезное, умное и иногда красивое — вдруг делалось лукавым, сладким, кошачьим и, с полуулыбкой и избегая ненужный ответ, она уходила в свое молчание.

Он был женат на Аграфене (1799—1879), которая сделала Пушкина своим «наперсником». Он посвятил ей два стихотворения, и в обоих чувствуется его восхищение ее «бурными», «мятежными» и «безумными» страстями. Одно было «Портрет»:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О, жены Севера, меж вами
Она является порой.
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

Другое — «Наперсник»:

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Так упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты! —

с его срезанным концом:

Счастлив, кто избран свосравно
Твоей тоскливою мечтой,
При ком любовью млеешь явно,
Чьи взоры властвуют тобой...

Она же появляется в восьмой главе «Евгения Онегина», в строфе XVI под именем Нины Воронской: вышедшая замуж за генерала Татьяна

...сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы,
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

Ходасевич до конца жизни не знал, что эти строчки не имели никакого отношения к Мура. Он иногда читал их ей и говорил: «Искать примеров, как жить, не нужно, когда была такая бабушка». И Мура сладко потягивалась и жмурилась, и как это ни странно сказать, играть в эти минуты в кошечку как-то шло ей, несмотря на ее мужественную, твердую и серьезную внешность.

Игнатий Платонович Закревский был совсем другой линии. Он происходил от малороссиянина Осипа Лукьяновича, чей сын, Андрей Осипович (1742—1804), был одно время директором Академии художеств. Игнатий Платонович приходился Андрею правнуком. Он был Черниговский помещик и судебный деятель, печатавший статьи в юридических журналах. Эти статьи о наследственном праве, о судебной реформе в Болгарии, об учениях новой уголовно-антропологической школы и даже о равенстве в обществе он начал писать еще в Черниговской губернии. Когда семья разрослась, он перевез ее в Петербург и поступил служить в Сенат. Он умер в 1904 году, дослужившись до должности обер-прокурора Первого департамента.* У него было четверо детей.

Мура была младшей, она родилась в 1892 году. До нее был сводный брат, Платон Игнатьевич (еще от

* В «списках гражданским чинам первых четырех классов», за последние двадцать лет до революции, имя И. П. Закревского не значится. Напомню, что «третьего и четвертого классов» были действительные статские советники, директора гимназий и др., служившие «в средних чинах». Статские советники могли быть чиновниками пятого класса.

первого брака И. П. Закревского), о ком известно очень немного: мы встречаем его имя в списке служащих в русском посольстве в Лондоне в чине камер-юнкера, в Берлине, «состоящим при посольстве» — небольшая должность, равная помощнику секретаря. Затем были близнецы, девочки Анна и Александра (Алла), обе впоследствии вышли замуж, первая — за Кочубея, вторая — за француза Мулэн.

Девочки учились в институте. Но я никогда не замечала в Муре типичных «институтских» привычек и свойств, которые «гимназистки» дореволюционной России так презирали: слабонервность, искреннюю или наигранную восторженность, провинциальную отрешенность от русской реальности, малограмотность в вопросах искусства и литературы, преклонение перед всеми без исключения членами семейства Романовской династии. Гимназистки, особенно либеральных гимназий, твердо знали, что приседать, вышивать, ахать и произносить французское «эр» (вместо того, чтобы читать Ибсена и Уайльда, Гумилева и Блока, Маркса и Дарвина) было делом несчастных институток, которых судьба навеки выталкивала из реальной жизни. Расти, а потом — стареть, без всякой подготовки к пониманию современных политических, социальных, научных и эстетических проблем, казалось моему поколению каким-то жалким уродством.

Но Мура не принадлежала ни к вышивающим, ни к приседающим. Она была умна, жестка, полностью сознавала свои исключительные способности, знала чувство ответственности, не женское только, но общечеловеческое, и, зная свои силы, опиралась на свое физическое здоровье, энергию и женское очарование. Она умела быть с людьми, жить с людьми, находить людей и ладить с ними. Она несомненно была одной из исключительных женщин своего времени, оказавшимся беспощадным и безжалостным и к ней, и к ее поколению вообще. Это поколение людей, родившихся между 1890-м и 1900-м годами, было почти полностью уничтожено войной, революцией, эмиграцией, лагерями и террором 30-х годов.

После института пришла Англия. Не Франция, куда возили мамы своих дочек попроще: во Франции было дешевле, и французский язык казался тогда необходимостью, а английский — роскошью. И не Германия, куда уезжали

русские девушки за высшим образованием, и не за парижским произношением, а за физикой, химией, медициной. В эти годы Платон был в посольстве в Лондоне, а послом там был покровительствующий ему Бенкендорф, на этот раз настоящий граф, потомок пушкинского врага. У него в доме Мура встречала, когда приезжала из Ньюхэма, европейских и английских дипломатов, служащих британского министерства иностранных дел и — среди других гостей — одного из первых англичан, до страсти увлеченных Россией. Его зовут Морис Беринг. Он берет уроки русского языка у старшего сына посла, Константина, рослого, сильного красавца; он постоянный посетитель салона графини Бенкендорф, урожденной Шуваловой, которая матерински ласкова с ним. Это — будущий переводчик русских стихов, будущий автор салонных английских комедий, друг литераторов Европы, чье собрание сочинений выдержало много изданий и состоит из ныне забытого театрального репертуара и поздних викторианских романов.

Беринг — фигура замечательная, какая могла появиться только в Англии, и только в устойчивом мире начала XX века. Его все любили и он всех любил; он бывал всюду, и все его знали. Семейство русского посла, Александра Константиновича, он попросту обожал, и не только самого посла, гофмейстера и кавалера ордена Белого Орла, и графиню Софью, и их взрослых сыновей, Константина и Петра, но и брата посла, графа Павла Константиновича, гофмаршала и министра Двора и Уделов, того, кто позже издал свои мемуары о последних днях царя в Царском Селе, и о том, как он, гофмаршал и министр, в 1917 году самолично спускал в уборную Царскосельского дворца содержимое столетних бутылок винного погреба, чтобы революционная стража дворца, которая вошла и заняла все входы и выходы, не перепилась.

Беринг обожал и всех домочадцев Бенкендорфа, начиная с домоправителя и повара (француза, конечно), до собак охотничьих, сторожевых и комнатных. Самым счастливым временем своей жизни он всю жизнь считал то лето в Сосновке, имени Бенкендорфов в Тамбовской губернии, куда он поехал и где он был обласкан, как ближайший друг и член семьи. Он оставил воспоминания об этом времени, о свободной, веселой райской жизни в обществе

графа, его жены и сыновей. Они ходили на волка, играли в теннис, читали вслух при старинных керосиновых лампах Марка Твена по-немецки, играли в карты, катались на тройках, и все вместе рисовали акварелью. Беринг научился в Сосновке есть икру и стал говорить по-русски. Бенкендорф читал с ним Пушкина и всеми любимого в этом кругу. А. К. Толстого. Беринг до своей смерти в 1945 г. оставался горячим другом России, и на проклятые вопросы, пришедшие в наш век из прошлого века, «кто виноват?» и «что делать?», всегда отвечал: «никто не виноват» и «ничего делать».

Дипломатическая карьера Беринга началась в Париже, в английском посольстве; затем он был переведен в Копенгаген. Здесь он встретил Бенкендорфа и его семью, а когда Бенкендорф был переведен русским послом в Лондон, Беринг стал проситься в форен офис, чтобы тоже быть в Лондоне, потому что уже в это время не мог себе представить разлуки с графом, графиней и их сыновьями. Эта близость с русской семьей наложила на всю жизнь молодого английского дипломата свою печать. В Александре Константиновиче он видел олицетворение русского европейца, как тогда понималось это выражение на Западе: «Дальновидный, умный, прозорливый, он работал для дружбы Англии и России, — писал он впоследствии. — Он понимал музыку. Он любил мои стихи. Он читал Вольтера, Байрона, Шиллера в изданиях, хранившихся в библиотеке брата его деда (т. е. библиотеке шефа жандармов Бенкендорфа). Он был абсолютно совершенным собеседником: знал, что и как говорить людям самых разных возрастов и состояний. Он справедливо считал, что человек должен быть грансеньером, а если он им не родился, то обязан выглядеть им». Далеко не все судили о царском после в Лондоне так восторженно, однако. В 1923 году первый секретарь посольства, заменивший Бенкендорфа в 1917 году (граф умер 31 декабря 1916 года) К. Д. Набоков, был совершенно противоположного мнения о своем патроне: в своих воспоминаниях он писал, что Бенкендорф не знал, где находится Лхасса, что русский язык его был недостаточен, и что он на русских производил впечатление иностранца. Но что он «отлично понимал пружины политики» 1905—1915 гг. и «умел производить впечатление подлин-

ного мудреца». Писать (он всегда писал только по-французски) он не умел, «писал запутанно и тускло».

После пребывания в Сосновке, Беринг не захотел вернуться в Англию и уехал в Маньчжурию, третьим классом, чтобы приобщиться к русскому народу и посмотреть на русско-японскую войну. Он поехал вместе с Константином Александровичем, старшим сыном посла, моряком, призванным на Дальний Восток. Беринг побывал под огнем, и когда вернулся в Москву, стал военным корреспондентом лондонской газеты «Морнинг Пост». Он сумел добиться свидания со Столыпиным, а позже и с Витте. В 1906 году он переехал в Петербург, а затем жил в Турции, и в 1912 году совершил путешествие вокруг света. Во время Балканской войны он был корреспондентом «Таймса», жила подолгу в Петербурге и писал свои пьесы и книги о России. Одним из последних контактов с семьей Бенкендорфов был перевод Беринга на английский язык мемуаров брата посла, Павла Константиновича; это было уже в 1930-х гг., и Беринг говорил, что не мог без слез переводить ту страницу, где было рассказано о вылитом в уборную драгоценном вине.

Заразившись русским гостеприимством и широтой, Беринг, наезжая из Петербурга в Лондон, где у него был дом, жил широкой светской жизнью, которая была приготовлена для него той обстановкой, в которой он родился и вырос. У отца его была своя яхта, своя охота, лошади его скакали на скачках; семья приглашалась в Ковен Гарден, в королевскую ложу, и дом их был известен тем, что в нем, одном из первых, провели электричество. Дядя Беринга был комендантом Виндзорского замка (где одно время жил будущий король Эдуард VII); ребенком Морис сидел на коленях у королевы Александры, жены Эдуарда, сестры русской царицы, жены Александра III. А чем занимался старший Беринг? Он собирал старинные брегеты и раздаривал их своим друзьям. Немудрено, что, живя в Париже, Беринг-младший был своим человеком у Сарры Бернар — она очень любила старинные брегеты.

Через Бенкендорфов Беринг сблизился с другими русскими семьями аристократов, живших в Европе: Шуваловыми, Волконскими, которые были близки Бенкендорфам через одну из дочерей шефа жандармов, вышедшую замуж

за князя П. Г. Волконского, родственника декабриста; с будущим министром иностранных дел С. Д. Сазоновым (умершим в 1920 г. в эмиграции) он познакомился в бытность свою в Риме. Бярятинские, Урусовы были ему известны по Парижу и по Петербургу. Но самыми близкими Берингу людьми были, конечно, члены русского посольства в Лондоне: сыновья посла, Константин и Петр, Платон Закревский, молодой Иван Александрович Бенкендорф — дальний их родственник, прибалтийский дворянин, происходивший от того же бургомистра города Риги, Иоанна Бенкендорфа (1659—1727), что и они. В третьем поколении род этот был расщеплен на четыре различные ветви четырьмя внуками бургомистра: Хриstoffом, Германом, Георгом и Иоанном. Иван Александрович принадлежал к четвертой ветви. Эти молодые люди только еще начинали свою дипломатическую карьеру, и назывались новым тогда термином «атташе».

Таким образом младшая сестра Закревского встрети-лась в доме Беринга со своим будущим мужем и, разу-меется, с огромным количеством людей из лондонского высшего света, с дипломатами, писателями, финансовыми магнатами, лордами и леди, и знаменитостями, среди которых был и заметивший Муру Герберт Уэллс.

Здесь же, накануне первой войны, ей был представ-лен молодой английский дипломат, Брюс Локкарт, начи-навший свою карьеру в новооткрытом английском консуль-стве в Москве. И с Уэллсом, и с Локкартом Мура встрети-лась еще несколько раз у Беринга, и на вечерах у Бенкендорфов. Этот лондонский год сыграл в ее жизни важную роль: в 1911 г. она вышла замуж за Ивана Александровича Бенкендорфа, который через год был пере-веден секретарем русского посольства в Германии. Они переехали в Берлин. Жизнь обещала стать для обоих приятной и беззаботной, и кайзер Вильгельм, которому Мура была представлена на придворном балу, показался ей даже как-то «смешнее», чем Георг V, его британ-ский родственник: «У Вильгельма был юмор», — сказала она однажды задумчиво, вспоминая этот бал в Потсдам-ском дворце, где она раза два протанцевала с ним.

В Эстонии (которая тогда еще называлась Эстляндией) у Бенкендорфа были родовые земли. Он повез молодую жену в Петербург, потом в Ревель, полный

родственников, титулованных и не титулованных. В Берлине его начальником был, как и в Лондоне, балтийский аристократ, престарелый русский посол, граф Н. Д. фон-дер-Остен-Сакен. Но не прошло и двух лет, как и начальству, и секретарям пришлось покинуть Берлин: в августе 1914 года семья принуждена была выехать в Россию.

Первый ребенок, мальчик, родился в 1913 году; Мура теперь была беременна вторым ребенком. В Петербурге, где жили Закревские, снята была квартира. Девочка родилась в 1915 году. Мура, пройдя ускоренные курсы сестер милосердия, начала работать в военном госпитале.

Три военных года прошли в заботах о детях; она сама кормила Павла, потом Таню, и работала в госпитале, где дамы высшего круга и жены крупных чиновников считали работать своим долгом. Там она встретила впервые с женской половиной чиновного Петербурга; она вспоминала глупых, чванных, толстых распутинок и их дочерей, бывших институток, какими были когда-то и ее подруги. Но хотя она никогда не говорила этого, чувствовалось, что эти женщины, хоть и были так называемого ее круга, были ей совершенно чужие.

В эти военные годы она вспоминала Берлин и Лондон. И эти воспоминания были дороги ей. Незадолго до ее замужества у Беринга в загородном доме был вечер, ужин был подан в саду, а поздно ночью, уже на разведенном костре жарили яичницу, выливая яйца на сковородку из цилиндра, и один из английских дипломатов, по случаю дня своего рождения (пятьдесят лет), протанцевал русский танец с неожиданными вариациями и затем во фраке и белом галстуке прыгнул в бассейн... В Берлине, особенно в последние месяцы, все бывало чопорно и напряженно, и под конец стало даже страшно, что непременно что-нибудь да случится, — и оно случилось, предчувствие не обмануло.

В эти военные годы немецкая армия стояла в четырехстах километрах от Петрограда, на реке Аа. Фронт проходил по территории Латвии (в то время Лифляндии) и войска много месяцев стояли под Ригой, пока она в августе 1917 г. не была ими взята. Несмотря на это дачники из Петрограда вплоть до самой высадки немцев в Эстонии осенью 1917 г., продолжали ездить летом в свои поместья и на берег Финского залива, в места

к западу от Нарвы, а те, которые имели земли и усадьбы вокруг Ревеля, уезжали в свои имения.

С начала войны И. А. Бенкендорф, в чине поручика, служил в военной цензуре. Когда наступил 1917 г. и февральская революция, стало ясно, что дипломатического назначения Ивану Александровичу скоро не предвидится, и летом он, Мура, двое детей и гувернантка выехали из столицы, предполагая остаться в имении у себя до поздней осени. Но осенью Иван Александрович возвращение в Петроград отложил, а когда прошел октябрь, выяснилось, что кругом многие из балтийской знати уезжают на юг России, переезжают в Швецию — за большие деньги — или просто скрываются, изменив внешность.

Мура была не согласна оставаться в деревне и, несмотря на уговоры мужа и его родственников, вернулась в Петроград одна, решив спасти квартиру и узнать на месте, можно ли будет продолжать существование в столице с детьми. Сделав десант в ста километрах от Ревеля, немцы подходили все ближе, но она выехала и приехала в Петроград, несколько раз по дороге все еще сомневаясь, не вернуться ли ей обратно. Квартире грозило уплотнение, с продуктами было трудно, и ей предстояло принять решение: оставаться одной в городе или вернуться к семье в деревню. Она колебалась около месяца, а когда решила вернуться — чего в душе ей делать не хотелось, — из Эстонии пришло известие, что перед самым рождеством мужики из соседней деревни пришли ночью в дом, вызвали хозяина и зверски убили его дрекольем, а потом подожгли дом. Мисси с детьми бежала и укрылась у соседей.

Муру выселили из квартиры очень скоро. Проехать теперь в Ревель было невозможно, вернее — пройти, потому что поезда прекратили ходить еще в октябре, и не известно в точности было, где проходит фронт, кто воюет с кем, кто братается с кем и кто продолжает по-прежнему выполнять присягу Временному правительству.

Ее рассказ, слышанный мною дважды от нее самой, касался только фактов, никакого эмоционального содержания он не имел. Мура вообще никогда, во всяком случае, в те годы, когда я ее знала, не говорила о своих чувствах, ни прошлых, ни настоящих, и никто не рискнул бы ее о них спросить. Ее рассказ о пережитом

в связи с событиями в Эстонии носил такой же деловой характер, как все, что она говорила, за исключением тех минут, когда она бывала «кошечкой», готовя собеседника к ответу, который в этих случаях оказывался антиответом, потому что был ни да, ни нет.

Благодаря карьере брата и мужа, а также замужеству сестры Анны, Мура еще до первой войны была вовлечена в бюрократический круг петербургского общества. Теперь, после революции и убийства мужа, она оказалась в той среде, которой предстояло быть истребленной. Наиболее прозорливые люди этого класса уже зимой 1918 года видели, что ими все потеряно: в каждой семье были пропавшие без вести, сбежавшие неизвестно куда, чтобы выжить или выждать; старые умирали один за другим от наступивших лишений и нравственных потрясений. Аристократия русская, или, иначе говоря — феодальный класс России, в XVIII и XIX веке дававший людей значительных, европейски образованных, энергичных, а иногда и гуманных, теперь пришел к моменту своего разложения. Этот класс оказался по выражению Е. М. Форстера, бессильным следовать «гуманитарной традиции борьбы с жестокостью и хаосом». В последние полвека этот класс соседствовал с буржуазным классом, но не умел найти себе прочного и достойного места ни в политической, ни в культурной, ни в экономической картине России. Если буржуазный класс успел прожить в стране меньше ста лет, т. е. в трех-четыре поколениях, то феодальный, которому была дана жизнь гораздо более долгая, не нашел сил создать внутри себя элиту. Английских «тори» в России, за малыми исключениями, не было.

Чем была русская аристократия, считавшая себя когда-то, несмотря на все усиливающийся натиск буржуазии, хозяйкой России, в последнее царствование? Это были люди, старавшиеся по возможности сохранить для себя и своего мужского потомства положение в стране, которая, в лице своей интеллигенции (левой, как и правой), жила уже в совершенно ином измерении. Гвардия, дипломатия, чиновничество столицы, все еще сверкая прежним блеском империи, не давали почти ничего стране, от которой они старались, как могли, брать то, что они считали, им принадлежит по праву, и которой запрещали меняться. Для чего перемены? Кому они нужны? Разве

есть место на свете, где живётся лучше, чем живется в России? Тысячу лет существовали, и другую тысячу проживем. Каких перемен вам еще надо? Мы не французы, нам революции не нужны.

Здесь звучит нота квасного патриотизма, открытой ксенофобии и скрытого мессианизма. Иностранцев аристократы презирали безнаказанно, весело и открыто, маскируя этим страх перед ними и зависть к ним, намекая отнюдь не тонко, что надо глядеть остро за ними, иначе они погубят Россию: все эти япошки и китаезы, армяшки, жида, чухны и хохлы, негритосы и татарва, а также, при случае, колбасники, макаронники и лягушатники. Но были исключения из тех, что выходили из этого класса и сливались с интеллигенцией и с той частью буржуазии, которая со своей стороны вливалась в интеллигенцию. Они уже не называли себя князьями и графами. Где-то в паспорте у них был титул, и лакей в ресторане мог сказать им «ваше сиятельство», но ни Сергей Михайлович Волконский, театральный деятель и критик, писатель и мемуарист, ни Алексей Ник. Толстой, ни Владимир Александрович Оболенский, член кадетской партии, ни Владимир Владимирович Барятинский, драматург, муж актрисы Яворской, не слышали, чтобы их кто-нибудь из их соратников по профессии называл графами и князьями. Их называли по имени и отчеству.

Кстати, два слова о С. М. Волконском и А. Н. Толстом: первый, конечно, считался внуком декабриста, С. Г. Волконского; на самом деле он был внуком его жены, урожденной Марии Раевской (которой посвящена «Полтава») и декабриста Александра Викторовича Поджио, арестованного в декабре 1825 г. в один день с кн. С. Г. Волконским и другими (всего около семидесяти пяти человек); вместе со всеми он был приговорен к каторге, сослан в Нерчинск, в рудники, и через полтора года переведен в Читу. В 1839 г. они все — Волконские, Поджио и двое детей (сын и дочь) — переселились в Иркутск, где жил старший брат Поджио, Иосиф, который до этого восемь с половиной лет просидел в одиночной камере в Шлиссельбургской крепости. Там они жили вместе до 1856 года, когда были помилованы Александром II. Но и вернувшись в Россию, они не расставались, и старый Поджио сначала ухаживал за больной М. Н. Раевской-

Волконской, пока она не скончалась, а затем за ее мужем, его ближайшим другом сквозь всю жизнь, которого ему также пришлось пережить (Волконский умер в 1866 г.). Поджио прожил свои последние годы у своей дочери, урожденной Волконской, в ее имении Воронки, Черниговской губернии, где и умер у нее на руках. Она похоронила его рядом с могилами С. Г. и М. Н. Волконских. Сын Поджио и Марии Николаевны, Михаил Сергеевич, рожденный в Чите в 1832 г., был отцом Сергея Михайловича Волконского, прожившего долгую жизнь. В эмиграции, когда ему было за семьдесят, он сотрудничал в Париже в русской газете «Последние новости», где его очень любили и называли за спиной «итальянцем».

Что касается Ал. Ник. Толстого, то он был младшим сыном жены графа Н. А. Толстого и А. А. Бострема, репетитора ее старших сыновей. За Бострема Толстая позже вышла замуж вторым браком и подписывала свои книги для детей А. Бострем. Ал. Н. Толстой родился до того, как был оформлен развод.

Эти люди были русскими интеллигентами и принадлежали к той же «касте», к которой принадлежали интеллигенты-дворяне (Милюков, Дягилев), интеллигенты-мещане (Шаляпин, Горький), дети купцов (Брюсов, Чехов), «кухаркины дети» (Сологуб), «мужики» (Есенин) и дети интеллигентов (Блок, Добужинский). Остальные же, ни по их воспитанию, ни по их образованию, ни по их образу жизни не были не только интеллигенцией, но даже не были интеллигентными людьми: они были в России необыкновенно темными людьми!

Моему поколению казалось невероятным, что Пушкин мог дружить с графами и князьями, дорожить их мнением и бояться сплетен их жен. Он делился с ними своими замыслами, и они, видимо, понимали его. Нам это казалось совершенно невозможным. Образование давалось этому кругу людей по традиции в привилегированных учебных заведениях, большей частью военных, где программы были облегчены и где их обучали военному делу и верности трону, и дорогу они избирали либо военную, либо государственной службы. Справедливо будет сказать: интеллигент мог встретиться (и поговорить о для него интересном) с мужиком, купцом, сидельцем винной лавки, рабочим с Путиловского завода, но с

директором департамента министерства внутренних дел, или с командиром гвардейского эскадрона, или с вице-губернатором в нашем столетии интеллигенту говорить было не о чем.

Английских консервативных, высоко образованных тори в России не было. Когда каким-то чудом появлялся русский тори, он становился немедленно русским интеллигентом, он переставал не только быть аристократом, но и быть тори: тори в Англии работают в рамках положенного, они традиционны и консервативны, но они действуют в реальности признанного ими государственного статус кво, и сами являются частью этого государственного статус кво. Они столетиями из оппозиции переходят в правительство и из правительства — в оппозицию. Русские тори, когда они чудесным образом появлялись, никогда не оставались на своих высоких позициях: раз почувствовав себя членами русской интеллигенции, они уже никогда на эти позиции не возвращались.

Из высшего класса России за последние два царствования не вышло сколько-нибудь замечательных людей ни в науке, ни в искусстве, ни в политике. Их дурной вкус в современной поэзии, живописи, музыке служил целью насмешек, наивность и нищета их мысли в политике возбуждала раздражение, возмущение и презрение. Исключением был великий князь Николай Михайлович, историк и масон, и граф. А. Олсуфьев, один из умнейших и образованнейших русских европейцев. Но они были редки. Интеллигенция тянулась к парламентаризму, либерализму, радикализму, а правые, консерваторы неуклюже, слепо и бессмысленно тянулись к трону. Образованная аристократия? Мы не можем не верить, что ее никогда не существовало, но как и образованная буржуазия, она не только не окрепла, но постепенно потеряла жизнеспособность и была раздавлена. Оба класса как будто были лишены способности расти и меняться. Темное купеческое царство Островского, с его битьем жен, поркой взрослых сыновей, все еще давало о себе знать, даже в XX веке, в глухих и не слишком глухих местах страны. А папенькины сынки, происходившие от Рюрика или иных героев русского эпоса, окончив Пажеский корпус или Императорский лицей, сбегали в Париж или на Ривьеру, и там в полной ненужности жили, пока не умирали, обзаведясь

первыми автомобилями, и между скачками и ресторанами заканчивая свои укороченные жизни. На ниццских и ментонских кладбищах — Ментона с 1880 до 1914 г. была модным местом Ривьеры — стоят их могилы с золочеными русскими крестами и золочеными буквами, вдавленными в мрамор, где «я» похоже на латинское «эр», а вместо твердого знака стоит одна и та же изящная, но совершенно бесполезная шестерка.

Когда пришел февраль 1917 года аристократия была неорганизована, не умела конструктивно реагировать на свою собственную катастрофу и не знала, ни как защитить себя, ни как принять реальность, ни как включиться в нее. Меньше чем через год она дала себя передуть, не поняв, что, собственно, происходит, никогда не слышав о различии между голодным бунтом и социальной революцией. На что, собственно, жалуется мужик? Что он, в рабстве? Его ни купить, ни продать больше не дозволено, пусть радуется! А царя трогать нельзя: он наместник бога. У него от бога вся полнота власти. На Западе в роковые минуты истории люди соединяются и действуют. В России (не потому ли, что компромисс обидное слово, а терпимость как-то связывается с домами терпимости?) люди разъединяются и бездействуют.*

Петроград зимой 1918 года еще не был пуст и страшен, каким стал к концу лета. Было много голодных людей, вооруженных людей и старых людей в лохмотьях. Молодые шеголяли в кожаных куртках, женщины теперь все носили платки, мужчины — фуражки и кепки, шляпы исчезли: они всегда были общепонятным российским символом барства и праздности, и, значит, теперь могли в любую минуту стать мишенью для маузера. Огромные особняки на островах и старые роскошные квартиры на левом берегу Невы были реквизированы или стояли пустыми и ждали, загаженные нечистотами, какая им выпадет

* У русских аристократов-эмигрантов было во Франции «второе поколение», которое или родилось в изгнании, или было привезено в Европу в раннем возрасте. Среди них большинство полностью приняло Францию и французскую жизнь, многие воевали в войну 1939—1945 гг., многие женились на француженках и вышли замуж за французов. Среди них были актеры, писатели, художники, ученые, блестящие люди, которые никогда не вернулись в Россию, но ездили туда как французские туристы.

судьба. И на улицах в толпе Мура не различала ни одного ей знакомого лица; в эти первые дни после известия о смерти Бенкендорфа, ей казалось, что во всей столице могло быть только одно-единственное место, где ее помнят, любят, где ее утешат и обласкают: это единственное место было английское посольство.**

У нее не было при себе ни денег, ни драгоценностей, сестры были на юге России, брат за границей. В ее бывшую квартиру поместился Комитет бедноты, и ей пришлось оттуда выехать. Были подруги, но их Мура не нашла, как не нашла и тех знакомых, с которыми работала три года в военном госпитале — врач был расстрелян, распутинки разбежались. Она нашла сослуживца покойного мужа, В. В. Ионина, высокого, худого секретаря русского посольства в Берлине, отрастившего бороду, чтобы не быть узнанным, молодого камер-юнкера и коллежского советника, и случайно встретила на Морской Александра Александровича Мосолова, начальника канцелярии министерства Двора и Уделов, генерал-лейтенанта (позже — автора воспоминаний), одного из тех, кто ей всегда казался умнее других, а она любила умных. Где-то в Павловске жила родственница зятя Кочубея, но Мура не помнила ее адреса. Все эти люди ничем не могли ей помочь.

В английском посольстве в Петрограде (Дворцовая набережная, дом 4) с декабря 1917 г. происходили, под влиянием российских событий, большие перемены: перестройка всей внутренней структуры этого учреждения и полный поворот отношений с новыми хозяевами страны. Секретарей перетасовали, двух консулов отправили домой, в Англию; атташе сидели без дела и ждали решения своей судьбы. Россия была накануне подписания Брестского мира, и сэр Джордж Бьюкенан, посол Англии и друг министров Временного правительства, собирался после Нового года отбыть с женой и дочерью в Лондон.

Английское посольство в Петербурге, с начала этого столетия, держало на службе людей, преимущественно молодых, но также и среднего возраста, которые рабо-

** Несмотря на то, что Мура рассказывала о своей юности в доме своего отца, в Петербурге, выстроенном в стиле рококо, в Адресной книге С. Петербурга адрес Закревских указан в доме графини Екатерины Леонидовны Игнатьевой, Фонтанка, дом 52, между Графским и Щербаковым переулками.

тали на секретной службе, будучи по основной профессии — литераторами. Урок Крымской войны для Англии не пропал даром: тогда было замечено, что о России слишком мало было известно правительству ее величества королевы Виктории, и решено было значительно усилить деятельность разведки. Еще до войны в Петербурге, при Бьюкенане, перебивали в различное время и Комптон-Макензи, и Голсворти, и Арнольд Беннетт, и Уэллс, и Честертон, чьим романом «Человек, который был Четвергом» зачитывались два поколения русских читателей. Позже был прислан из Англии Уалпол, подружившийся с К. А. Сомовым. Через Сомова и русского грека М. Ликиардопуло, переводчика Оскара Уайльда, Уалпол еще в 1914—1915 гг. стал вхож в русские литературные круги, был знаком с Мережковским, Сологубом, Глазуновым, Скрябиным, хорошо знал язык и писал романы на русские темы, одно время бывшие в Англии в большой моде. С ним вместе, часто на короткие сроки, приезжал Сомерсет Моэм, молодой, но уже знаменитый ко времени первой войны, и почти бессменно проживал в Петрограде Беринг. Короткое время в столице находились также Лоуренс-Аравийский и совсем еще юный Грэм Грин. Но сейчас никого из них там не было, и только Гарольд Вильямс, корреспондент лондонского «Таймса», женатый на русской журналистке, А. В. Тырковой, человек, прекрасно осведомленный в русских делах, писал свои корреспонденции, которые все труднее делалось ему отсылать в Лондон.

Поразительно было не только количество английских литераторов, работавших в разведке, но и задачи, которые им задавались. «Наши профессиональные эксперты секретной службы мобилизовались по большей части из рядов беллетристов, уже имевших некоторый успех», — писал позже Моэм. — Мне была вручена огромная сумма денег, наполовину английских, наполовину американских, — говорил он в старости своему племяннику, — я должен был помогать меньшевикам в покупке оружия и подкупать печать, чтобы держать Россию в войне... Меня послали в Петроград потому, что они считали, что я могу остановить большевистскую революцию... Я говорил им, что я не гожусь для такого дела, но они мне не верили. Мне помогло то, что я приехал в Россию

писать — корреспондентом «Дейли Телеграф». Задача, мне порученная, не удалась. Мое дело было остановить революцию, на мне лежала большая ответственность. Если бы они знали меня лучше, они бы не послали меня. У меня не было опыта. Не знал, с чего мне начинать...»

А присланный в начале 1918 года специальный британский агент Роберт Брюс Локкарт получил при своем назначении поручение: «сделать все, что возможно, чтобы помешать России заключить сепаратный мир с Германией».

Ни Моэма, ни Беринга Мура в посольстве не нашла. Ее приняли капитан Уильям Хикс и Меризэль, дочь посла, ее лондонская подруга. Она обещала зайти еще раз, и стала приходить все чаще, но адреса им не дала, да у нее и не было настоящего адреса: она ночевала у старого повара Закревских. Ей все были рады, и рождество прошло, и Новый год. И в понедельник 7 января Бьюкенаны и одиннадцать человек из штата английского посольства в Петрограде тронулись в путь на север. Генерал Альфред Нокс в своих воспоминаниях пишет: «Русских провожающих не было. Только одна русская пришла на вокзал: это была г-жа Б.». Возможно, что это была Мура, и Нокс не назвал ее потому, что когда писались его мемуары, в 1920 году, Мура была еще в России.

Но кто был Локкарт? Он родился в 1887 году и был назван Робертом Брюсом в честь легендарного героя, шотландского короля (1306—1329), основателя династии Стюартов. Сын крупного шотландского землевладельца, он провел счастливое детство в семье, верной шотландским традициям. Несколько лет после окончания учения он колебался в выборе профессии, ездил в Германию и Париж, и даже уехал на время в Малаю. В 1911 году он внезапно решил держать конкурсный экзамен в министерство иностранных дел. К удивлению своему, своих родителей и знакомых, он его выдержал. Ему предложили поехать вице-консулом в Москву, до этого в Москве не было консульства, и правительство Великобритании в последние годы пришло к заключению, что необходимо расширить связь со страной, с которой недавно было подписано тройственное (вместе с Францией) согласие. Сэр Эдвард Грей, министр иностранных дел, счел нуж-

ным открыть в Москве консульство, как бы некий филиал английского посольства в Петербурге.

Сэр Эдвард был известен той ролью, которую он сыграл в укреплении дружеских отношений держав Соглашения (России, Франции и Англии), и участием в мирной конференции 1913 г. для урегулирования Балканских дел. Правительство Англии, предвидя возможную войну с Германией, приняло в эти годы решение расширить и усовершенствовать действия своей секретной службы, которая в войну 1855 года была в зачаточном состоянии. Старая тактика англичан XVIII века, когда они действовали в России исключительно взятками и подкупом, сейчас считалась полностью устаревшей. Аппарата соответственного у них тогда не было никакого, и имеется свидетельство о том, что Екатерине Второй, в бытность ее принцессой, англичане регулярно преподносили всевозможные подарки. Молодая жена наследника русского престола, — как выразился историк британской дипломатии, — «усердно работала на нас».

Но эти времена прошли. Аппарат осведомления был с 1914 г. налажен. Однако со дня Октябрьской революции большевики, как англичане начали угадывать, представляли угрозу этому аппарату. Между тем, события требовали особой бдительности: между Троцким и немецким Генеральным штабом начались мирные переговоры.

Впервые приехав в 1912 году в Россию, Локкарт вовсе не знал страны; русские, с которыми он встречался в Лондоне (в Шотландии русских никогда не видели), говорили, даже между собой, по-английски; языка русского он никогда не слышал. Он знал романсы Чайковского, читал (и любил) «Войну и мир», слышал Шаляпина в «Борисе Годунове». Он решил принять предложение Грея после того, как Морис Беринг взял его, что называется, за пуговицу, и рассказал ему о Сосновке, о Петербургском свете и о Маньчжурии. В январе 1912 года Локкарт уехал на свое новое место. Ему было тогда двадцать пять лет. Место казалось ему и всем, кто его знал, обещающим в будущем успешную карьеру дипломата. Но хотел ли он быть дипломатом? Этого он сам еще не знал.

Приехав тогда в Петербург, он почти тотчас же был направлен в Москву; члены английского посольства

в столице, во главе с сэром Джорджем Бьюкенаном, не успели внимательно присмотреться к нему. В нем самой яркой чертой была его беззаботность, его непосредственность; он был веселый, общительный и умный человек, без чопорности, с теплыми чувствами товарищества, с легким налетом легкомыслия, иронии и открытого, никому не обидного, честолюбия.

В Москве, когда он приехал, он застал гостившую там английскую парламентскую делегацию лордов и генералов, человек около восьмидесяти, не меньше. В должности переводчика у них состоял его старый знакомый, неизменный Беринг, который очень ему обрадовался. Локкарта через него стали приглашать в богатые дома именитого московского купечества, возить в рестораны и в «Стрельну», научили пить шампанское с подношением «чарочки» и есть ледяную икру на горячем калаче. Он ходил в кинематограф, увлекался Верой Холодной, открывал для себя Чехова, завел себе бобровую шапку и шубу с бобровым воротником и стал ездить на лихачах.

Очень скоро он обзавелся друзьями, влюбился в молодую русскую женщину, стал играть летом в теннис и зимой кататься на коньках на Патриарших прудах. Через нее он перезнакомился с актрисами и актерами Художественного театра, ужинал не раз с Алексеем Н. Толстым в «Праге» и бывал гостем в Литературно-художественном кружке. Будучи веселого нрава, он тем не менее прекрасно умел вести себя, как подобает серьезному человеку, с людьми и высокого, и низкого звания, и полностью соблюдал традиционную сдержанность британского обращения с равными себе. Он полюбил ночные выезды на тройках, ночные рестораны с цыганами, балет, Художественный театр, обеды в особняках на Поварской и интимные вечеринки в тихих переулках Арбата. Все, решительно все доставляло ему такое наслаждение, что он чувствовал себя в эти годы совершенно счастливым человеком.

В первый же год своего пребывания в Москве он несколько раз встречался с приехавшим тогда в Россию Гербертом Джорджем Уэллсом, а в следующем году он познакомился и с М. Горьким. В это время Локкарт уже лично знал Станиславского, директора «Летучей мыши» Н. Ф. Балиева, городского голову Москвы Челнокова

и многих других известных людей. Его всюду приглашали, угощали и ласкали; светские дамы учили его русскому языку и возили его в свои загородные дома, похожие на дворцы.

Русскому языку он выучился скорее других, он был способен к языкам; в нем находили огромное очарование молодости и здоровья. Он был выше среднего роста, блондин, чуть плотнее, может быть, чем средний британец его возраста. Но спортом занимался он серьезно, и настал день, когда он присоединился к футбольной команде при фабрике текстильщиков братьев Морозовых (Саввы Морозова сыновья), и морозовцы с его участием одержали победу, и команда вышла на первое место. Это доставило ему необыкновенное удовольствие.

В этом счастливом 1913 году он уехал в Англию, в отпуск, и в надежде остепениться и примкнуть к своему классу людей, к которому его готовила судьба, женился там на молодой австралийке, Джейн Тернер, и привез ее с собой обратно в Москву. И действительно, он начал серьезно работать, и так успешно, что из вице-консулов вышел в генеральные консулы — это место впоследствии было закреплено за ним «до окончания войны».

Во вторую зиму жена его едва не умерла от родов, и ребенок родился мертвым. Локкарт тяжело пережил это, но рана залечилась. Началась война. Дел оказалось по горло: он уже имел у себя в консульстве небольшой штат, и пришлось переехать в более приличное помещение — казначейство в Лондоне отпустило кредиты, видя, что московское консульство, ввиду войны, неожиданно приобретает довольно серьезное значение.

В природе Локкарта была способность работать лихорадочно и продуктивно довольно долгий период, после чего наступал период апатии, лени, бездействия. То же было и в области личных переживаний: он мог некоторое время жить аскетом, после чего недели на две вырывался в беспорядочный период ночных развлечений, необузданных страстей, с которыми и не пытался совладать. Эти буйные периоды обычно совпадали с любимыми им снежными и звездными морозными ночами, русским рождеством или русской масленицей.

Среди его штата были люди секретной службы, подчиненные ему. Он регулярно посылал Бьюкенану рапорты

в Петербург, а тот уже отсылал их Грею в Лондон, а потом, после 1916 года, Ллойд Джорджу. «Я поставлял им информацию, которая, если она была верна, вероятно представляла для них известную ценность», — говорил он впоследствии, пользуясь типично британским методом литоты. В это же время приблизительно он начал свою (анонимную) журналистическую деятельность: дипломатам Англии не разрешалось писать и печататься за собственной подписью в газетах (если это не были романы и стихи). Это ему нисколько не мешало. Он посылал в «Морнинг пост» и «Манчестер гардиан» свои корреспонденции о России, гонорары помогали ему сводить концы с концами: он любил тратить широко и всегда был в долгах. По его теории выходило, что, обедая шесть раз в неделю вне дома и знакомясь с людьми самыми разнообразными, больше добываешь информации, и в московских салонах ему нравилось, что люди были смешаны, чего в Петербурге быть не могло: там аристократы жили замкнутым кругом, чиновники водились с чиновниками и крупные банкиры с крупными банкирами. В Москве же в одной гостиной можно было встретить дочь анархиста Кропоткина и графиню Клейнмихель.

Дома у Локкарта теперь был большой порядок, но жена его, исполняя все свои обязанности жены дипломата, не была счастлива: она винила себя в смерти ребенка, в том, что не настояла на отъезде в Англию для родов, и кляла русских докторов и прислугу, не понимавшую по-английски, и неудобную, тесную квартиру, и русский климат, и то, что шесть раз в неделю нужно было выезжать вечером, и даже собачка (которую обесмертил Коровин, написав ее портрет) не могла утешить ее. Во время второй беременности она выехала обратно в Англию, и на этом, как можно предположить из намеков в воспоминаниях Локкарта, закончилась его семейная жизнь.

Он теперь сознавал, что Россия ему стала чем-то привычнее и милее, чем Англия, что в Лондоне, если ему суждено будет вернуться, ему будет скучно, потому что там как-то никогда ничего не случается, а здесь, в Москве, каждый день непременно что-то происходит. Впрочем, в это время и там, и здесь, и еще во многих местах мира такая росла тревога, такие шли события,

и так волновал всех фронт, что люди жили от утренних газет до вечерних.

На третий год войны он со всем своим легкомыслием и появившейся в нем постепенно самоуверенностью, совмещавшейся с нажитым в России гедонизмом, вдруг почувствовал, что в русском воздухе появилось что-то новое, что-то глубоко тревожное и очень серьезное. Что люди чего-то ждут, и в телеграммах с фронта, и в новостях, доходящих до дипломатического корпуса из «сфер» (в Москву, конечно, с опозданием), что-то начинает слышаться зловещее, страшное, неотвратимое и, может быть, не для одной России. В это время окрепла его дружба с теми, кто был приписан к «бюро британской пропаганды» в Петрограде и Москве. Среди корреспондентов был уже упомянутый Гарольд Вильямс, писавший для лондонского «Таймса», «великий эксперт по России и самый из всех скромный, мой учитель и покровитель», — как писал о нем позже Локкарт; его лондонский знакомый, модный писатель Уалпол, с которым он сблизился в эти годы на всю жизнь. Это был теперь забытый романист, среди многочисленных книг которого есть два «русских» романа. Уалпол был молод, элегантен, красив, и с энтузиазмом пошел работать санитаром на русском фронте. С первого своего появления в столице он стал близким другом художника «Мира искусств» К. А. Сомова, которому и посвятил одну из своих «русских» книг. Уже в первый год войны, когда он был в большой славе, он говорил, что никогда не уедет из России, навсегда останется здесь, что Россия выиграет войну и что он, Уалпол, никогда не оставит Петербурга. Он был вместе с Локкартом в тот вечер, когда тот был представлен Горькому — это случилось в «Летучей мыши» Балиева, где Локкарт имел свой столик.

Генеральный консул теперь правил в Москве, стараясь не упустить ни сплетен, ни серьезных донесений, касающихся политики и всего того, что вокруг политики; он аккуратно получал официальную информацию от секретарей Бьюкенана и отсылал ему свою. У него появились друзья среди крупных людей: уже упомянутый Челноков («мой лучший друг»), Николай Иванович Гучков (брат Александра, председателя Красного Креста); актрисы и великие князья, железнодорожные магнаты,

а когда он бывал в Петрограде, так называемый высший свет принимал его и баловал его. Ему однажды пришлось встретиться с вел. кн. Михаилом Александровичем, братом царя. Теперь он не прочь бывал и похвастать своими знакомствами. О нем говорили, что он умен и забавен, мил и остроумен, и всегда ровно весел, и он отвечал, что все это потому, что он живет сейчас счастливейшие годы своей жизни.

Февральская революция пришла в Петроград, и через несколько дней вся Москва была охвачена ею. Английское посольство в Петрограде, репортеры английских газет и служащие московского консульства, а с ними и сам консул вдруг с утра до глубокой ночи стали лихорадочно делать одно и то же дело, одни — там, другие — здесь: охотиться за новостями, метаться по городу, сидеть у телеграфа, у телефона и посылать донесения Ллойд Джорджу, пока наконец Локкарт не вырвался в Петроград самолично, не увидел Керенского, Милюкова, Савинкова, Чернова, Маклакова, кн. Львова. С ними со всеми его свел Челноков.

Летние месяцы 1917 года пролетели; между Москвой и Петроградом он проводил теперь ночи в вагонах скорых поездов, большей частью носясь между своим кабинетом в Москве и палатами посольства в Петрограде. От весны до начала осени в новую Россию приезжали многочисленные делегации союзных стран: Локкарт служил им и гидом, и переводчиком. Это были вожди британских профсоюзов, французские социалисты («самым ярким врагом большевистской партии был среди них Марсель Кашен»), по пятам за ними — члены английской рабочей партии, во главе с их лидером Гендерсоном. В этом угаре появилась у него молодая подруга, случайно встреченная в театре красавица еврейка, о которой немедленно узнали все, как это бывает в таких случаях, когда люди ловят новости и вдруг в их сеть попадает что-то постороннее, не имеющее прямого отношения к искомому, но оно оказывается тоже очень важным и интересным. Настолько интересным, что о новости этой докладывают Бьюкенану, и Бьюкенан вызывает к себе Локкарта и ведет его в посольский сад на прогулку.

Он говорит Локкарту, что молодому дипломату пора съездить на время домой: до его жены дошли слухи,

что он завел себе в Москве подругу. Решение посла обсуждению не подлежит, и консул уезжает, едва успев (а может быть, и не успев) проститься с подругой. Он едет через Швецию и Норвегию, по Северному морю, минированному немцами. И только когда он ступает на английскую землю, он узнает из телеграмм о деле Корнилова.

Сначала он две недели отдыхает в Шотландии. Потом в Лондоне его рвут на части, но он обороняется от друзей и родственников, от своей бабушки, которой он немножко боится, от коллег в форен офисе, от русских знакомых еще прежних времен, и конечно очень мало сидит дома с женой и маленьким сыном. Члены правительства требуют его докладов, члены парламента угощают его завтраками, и он официально и неофициально докладывает им. Два месяца промелькнули, и вести из России потрясают мир, а с ним и Локкарта: тех, кого он так хорошо знал, с кем проводил столько времени, изгнали из Зимнего дворца, и Смольный теперь — центр столицы. 20-го декабря он приглашен высказать свое мнение о русских событиях в форен офис: его слушают его старый покровитель лорд Милнер, Смутс, Керзон, Сесиль, и на следующий день Ллойд Джордж приглашает его для беседы с глазу на глаз, и дает ему двухчасовую аудиенцию.

Все эти месяцы он усиленно пишет в газетах (без подписи), дает интервью по русским вопросам, думает о своем возможном устройстве в форен офис. В середине декабря обсуждается на верхах возвращение его в Москву, особенно поддерживает этот план лорд Милнер: Локкарт пропустил не только мятеж Корнилова, он пропустил Октябрьскую революцию! Рождество он проводит с отцом и матерью, ожидая каждую минуту решения своей судьбы.

Ллойд Джордж согласен, и другие не возражают: он умен, он владеет русским языком, он наблюдателен, он умеет завязывать связи, он жизнерадостен, остроумен, у него завелись друзья повсюду. Но премьер-министр дает ему серьезное поручение, несмотря на молодость он надеется, что Локкарт выполнит его: поручение заключается в том, чтобы ни в коем случае не дать России заключить с Германией сепаратный мир.

14 января он садится на пароход, английский крейсер, идущий в Берген. За месяц до этого большевиками и немцами было подписано перемирие, а 22 декабря в Брест-Литовске открылась первая пленарная сессия мирной конференции. Время было горячее.

Мог ли он думать, уезжая, что в день, когда он вернется в Москву, через четыре с лишним месяца, он вернется в другую Москву, другую Россию? Октябрь семнадцатого года все перевернул, все раскидал: Локкарт приезжает теперь как «специальный агент», ни консулов, ни послов в старом смысле слова больше не существует. Он приезжает как специальный агент, как осведомитель, как глава особой миссии, чтобы установить неофициальные отношения с большевиками. Московский консул Бейли, который его заменял, уже уехал. Его посольство готово вот-вот уехать в Вологду и надеется погрузиться в Архангельске, чтобы вернуться домой. Английское правительство не признает правительства русского, но обеим сторонам необходимо наладить хоть какие-то, пусть неофициальные, сношения. В Лондоне М. М. Литвинов, тоже специальный агент, уже называет себя послом, но на самом деле он такой же, как Локкарт, «неофициальный канал для взаимного осведомления».

Литвинов действительно был в это время (январь 1918 года) русским представителем в Англии. Франция в это время не имела никого: она даже Каменева не пустила, когда он ехал туда в надежде как-то зацепиться и остаться торговым представителем. Литвинов, живший долгие годы до революции в Лондоне, был женат на англичанке, Айви Лоу, дочери известного английского политического писателя Сиднея Джеймса Лоу, позже получившего от английского короля личное дворянство. Лоу был автором многих книг, среди них «Словаря английской истории». Его дочь была далеко не заурядной женщиной.

Локкарт познакомился с Литвиновым перед своим отъездом в Россию в Лондоне, где Рекс Липер, в то время работавший в политическом отделе форен офиса и считавшийся экспертом по российским делам, устроил завтрак в популярном ресторане Лайонса; Литвинов был его учителем русского языка. «Большевистский комиссар с неофициальными дипломатическими привилегиями» по

собственной инициативе дал Локкарту личное письмо к Троцкому, и это дало британскому агенту уверенность, что и в новой России, как и в старой, он не пропадет.

В Петрограде не только не было больше Бьюкенана, но даже его заменивший Франсис Линдли был невидим, и весь штат посольства был готов к выезду. Оставался один человек из десяти, главным образом для осведомительной роли, и два шифровальщика телеграмм. Сэр Джордж Бьюкенан, английский посол в Петербурге с 1910 года, старый опытный дипломат и верный друг Временного правительства, в самых первых числах января 1918 года выехал домой в Англию, почувствовав со дня Октябрьской революции, что он стар, болен и никому не нужен, и возвращения его в Россию не предвиделось. Его место оставалось незанятым; Англия до сих пор большевиков не признала и, видимо, признавать в ближайшее время не собиралась: бывшая союзница Антанты, Россия находилась накануне заключения сепаратного мира с врагом. Сэр Джордж уехал с женой и дочерью Мериэль, с которой Мура дружила в Лондоне перед войной. Теперь в огромном доме посольства, на набережной Невы, появились новые люди, и Локкарту было дано всего несколько недель, чтобы успеть ознакомиться с положением дел.

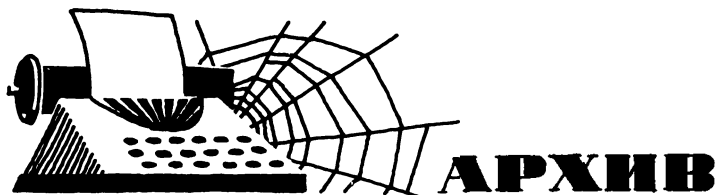
Локкарту шел тридцать второй год. Мура уже вторую неделю приходила в посольство после приемных часов. Она нашла там трех друзей, которых встречала на вечерах у Беринга и Бенкендорфов в год своего замужества, одним из них был капитан Кроми. Локкарта она увидела на третий день его приезда, она сейчас же узнала его, но теперь у него был весьма деловой вид: в день его приезда, 30 января, ему было объявлено, что штат посольства снимается из Петрограда, что багаж посольства уже отправлен в Вологду и что он остается в России старшим в своей должности. От сослуживцев он узнал, что и в других союзных посольствах и миссиях картина была та же: все сидели как на углях. Остаться больше было невозможно: не сегодня-завтра в Брест-Литовске мог быть подписан мир.

Вот что писал Локкарт о своей встрече с Мурой в тот самый день, когда они встретились, — дневник он начал вести еще в 1915 году:

«Сегодня я в первый раз увидел Муру. Она зашла в посольство. Она старая знакомая Хилла и Герстина и частая гостья в нашей квартире. Ей двадцать шесть лет... Русейшая из русских, она относится с пренебрежением к мелочам жизни, и со стойкостью, которая есть доказательство полного отсутствия всякого страха».

И несколько позже:

«Ее жизнеспособность, быть может, связанная с ее железным здоровьем, была невероятна и заражала всех, с кем она общалась. Ее жизнь, ее мир были там, где были люди, ей дорогие, и ее жизненная философия сделала ее хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой. Она могла бы быть и коммунисткой. Она никогда бы не могла быть мещанкой. В эти первые дни наших встреч в Петербурге я был слишком занят и озабочен своей собственной персоной, чтобы уделить ей больше внимания. Я видел в ней женщину большого очарования, чей разговор мог озарить мой день».



ПИСЬМА В. ХОДАСЕВИЧА М. ФРОМАНУ

Письма к М. Фроману проливают свет на мировоззрение и творчество Ходасевича, а также вносят коррективы в наше представление о личности поэта. Здесь мы найдем ценнейший для исследователя перечень стихов, написанных между июнем 1922 г. и весной 1926 г., придирчивые авторские оценки некоторых своих вещей, характеристики ряда поэтов, а также свидетельства отношения к новой России, гораздо более сложного, чем оно виделось судящим по обе стороны границы. Ходасевич особо оговаривает, что не изменился, и слухам о нем не следует верить, что мнение о нем тамошних его читателей ему всего дороже. Наконец, письма к Фроману расшатывают закрепившуюся за поэтом славу человека желчного, недоброжелательного и заносчивого.

*14, rue Lamblardie
Paris (12^{me})*

Многоуважаемый Михаил Александрович,¹ прошло уже два месяца с тех пор, как Н. Н.² получила письмо Иды Моисеевны.³ Она тогда же мне его показала, и мне захотелось написать Вам. Но сперва я был очень занят, по горло, потом хворал, а потом искал новую квартиру, переезжал и устраивался. Так и прошли целых два месяца.

За двадцать один год литературной работы я, мне кажется, ни разу не мог упрекнуть себя в искании «успеха» и «популярности». И не этого порядка причины побуждают меня сейчас писать к Вам. Надеюсь, Вы этому поверите.

Я очень мало дорожу моим маленьким литературно-житейским «я». Но не «я», а «мое», конечно, мне безгранично дорого. Это «мое» — разумеется, не стихи, мною написанные, а то, во имя чего они пишутся, и во имя чего я их пишу (или хотя бы стараюсь писать) так, а не иначе. И вот, когда узнаю, что эти стихи находят отклик там и среди тех людей, где мне это всего дороже, но где для этого отклика всего больше препятствий (житейских, психологических, литературных и других), — я радуюсь: не от маленького литературного тщеславия, но от сознания, что «мое» еще живо не только во мне, но и в других, не только здесь, но и там. Вот за эту радость мне хотелось поблагодарить Вас, и в Вашем лице — других.

Мне думается, что полоса эстетического (и, разумеется, глубже: духовного) распада, начавшаяся около 1911—1912 г., должна сравнительно скоро закончиться. Если бы не разные внешние, «омолаживающие» обстоятельства, она бы уже, вероятно, и кончилась. Но обстоятельства эти еще существуют, и микробы разложения живут. Письмо И. М. еще раз подтвердило, что болезнь поразила не весь организм и что существуют в нем здоровые клетки, тем более ценные, что молодые и, следовательно, способные бороться. Вот им, опять-таки, хочется послать мой «футуристический привет»: я часто думаю, что будущее принадлежит «моему», и в этом смысле зову себя футуристом.

Меня очень огорчила смерть Есенина,⁴ хотя, признаться, еще летом, прочтя его книжку «Стихи 1920—1924 г.», я увидел возможность и вероятность такого конца. Жизнь его была цепью ужасных ошибок — религиозных, общественных, личных. Но одно, самое ценное, всегда было в нем верно: писание было для него не «литературой», а делом жизни и совести. Перечитывая его стихи, вижу, что он всегда был правдив перед собой — до конца, как и должен, как только и может быть правдив настоящий поэт.

Здесь довольно много молодых и не совсем молодых поэтов, но значительных дарований не вижу. Лучше других — Давид Кнут,⁵ пишущий довольно иногда любопытные стихи в очень еврейском духе. Несомненно даровит некий Божнев,⁶ но уж очень широко черпает из Ходасе-

вича. Хорошие стихи пишет Н. Оцуп,⁷ что для меня очень неожиданно.

О нашем житье Н. Н. писала Иде Моисеевне. Если хотите новых моих стихов, то — вот. Посылаю Вам пока первую треть лирического стихотворения, которое на днях написал. Получив от Вас известие, пришлю окончание, а также еще кое-какие мелочи. Одна просьба — до получения конца, этих стихов никому не показывайте.

(Далее идет текст «Соррентинских фотографий» до слов «О чуждый камень спотыкаясь», не отличающийся от опубликованного в «Собрании стихотворений», Мюнхен, 1961.)

Так вот. Получив это письмо, черкните, и я пришлю продолжение. А то — лень переписывать: еще 114 стихов. И я не уверен в Вашем адресе.

Пожалуйста, передайте мой привет Иде Моисеевне. Желая Вам всего хорошего обоим. Сердечно жму руку. Нина Ник. усердно кланяется.

Ваш *В. Ходасевич*

P. S. Пожалуйста, не верьте слухам обо мне: ни словесным, ни письменным, ни печатным: все вздор. Я остался таким, каков был.

*14, rue Lamblardie
Paris (12me)*

14 апр. 926

Многоуважаемый Михаил Александрович, в конце моего отрывка, который у Вас имеется, надо поставить звездочку. Потом так:

(Продолжение «Соррентинских фотографий» от слов «Мотоциклетка стрекотнула» до конца. Текст во всем совпадает с опубликованным в упомянутом издании; в письме отсутствующая в печатном тексте помета: 1926. февр. Chaville).

Эти стихи, конечно, можете дать кому угодно. Вообще, я сейчас пишу стихов не много. Вот Вам «для порядка» список моих стихов, написанных с июня 1922 г. 1) Большие флаги над эстрадой, 2) Ни жить, ни петь почти не стоит (эти два входят в «Тяж. лиру», изданную в Берлине; кстати — моск. изд. совершенно негодное: в

нем только искажающих смысл опечаток больше 15, стихи не в том порядке и т. д.), 3) Бывало, думал ради мига (тоже вошло в «Тяж. лиру»), 4) Гляжу на грубые ремесла... 5) Лежу, ленивая амеба, 6) Сидит в табачных магазинах (так!), 7) Пустился в море с рыбаками, 8) Изломала, одолевает (5, 6, 7 и 8 — под общим заглавием «У моря»), 9) Что ж? От озноба и простуды, 10) Черные тучи проносятся мимо, 11) Было на улице полутемно, 12) Вдруг из-за туч озолотило, 13) Трудолюбивую пчелой, 14) Встаю, расслабленный с постели, 15) Сквозь облака фабричной гари, 16) С берлинской улицы, 17) Мельница, 18) Весенний лепет не разнежит, 19) Слепой, 20) Жив Бог! умен, а не заумен, 21) Бренте, 22) Нет, не найду сегодня пищи я, 23) An Mariechen, 24) Под землей, 25) Все каменное, в каменный пролет, 26) Интриги бирж, потуги наций, 27) Окна во двор, 28) Перед зеркалом, 29) Хранилище, 30) Пока душа в порыве юном, 31) Уродики, уродища, уроды, 32) Соррентинские заметки (триптих), 33) Баллада, 34) Звезды, 35) Петербург, 36) Соррентинские фотографии. — Как видите, число совпадает с Вашим, но содержание — нет. Напишите, чего не хватает, — пришлю. Зато, если у Вас есть «И весело, и тяжело», «Не жди, не уповай, не верь», «Доволен я своей судьбой» и «Песня турка» — выбросьте их: это наброски, неудачные, я их выбросил.⁸

Пожалуйста, поблагодарите Фредерику Моисеевну за ее посвящение.⁹ Оно мне особенно дорого, как знак, что она меня помнит. Вам же — большое спасибо за сообщения. Пожалуйста, пишите иногда о людях и книгах. Книжку Вагинова¹⁰ я не получил. Вероятно, Вы послали ее в Chaville¹¹, а мне оттуда уже перестали посылать. Если, как обещаете, пришлете другой экз(емпляр), очень обяжете. Я Вагинова очень помню. Он мне всегда казался даровитым, и его успехи, о которых Вы пишете, меня сердечно радуют.¹² Ида Моисеевна была так добра, что предложила прислать книги. Покупать не покупайте, но если достанете для меня что-нибудь от авторов или издателей, сейчас и впредь, — это было бы чудесно.* К несчастью, по понятным причинам, не смогу ответить Вам тем же. Пожалуйста, передайте И. М.¹³

* Книги вообще доходят исправно и быстро.

мой привет. Жму Вашу руку, рад познакомиться — пока хоть письменно.

В. Х.

Р. С. А почему Коля Ч.¹⁴ не шлет мне стихов. Я по-прежнему отношусь к нему.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Михаил Александрович Фроман (1891—1940) начинал как поэт (сборн. «Память», 1927 г.), затем обратился к прозе и переводам. Письмо без даты. Помета рукою адресата — «Декабрь 1925 г.».

2. Н. Н. — Нина Николаевна Берберова, поэтесса, прозаик, критик, в то время жена Ходасевича.

3. Ида Моисеевна Фроман (в девичестве Наппельбаум) — жена М. А. Фромана. Писала стихи и была членом гумилевского поэтического объединения «Звучащая раковина».

4. С. А. Есенин (1895—1925), поэт, покончил самоубийством.

5. Давид Миронович Кнут (1900—1955) — эмигрантский поэт.

6. Борис Божнев (1900—1940?), поэт из группы Кнута, автор сборника «Борьба за несуществование» (1925).

7. Николай Авдеевич Оцуп (1894—1958), поэт-акмеист, член «Цеха поэтов». Эмигрировал во Францию. Автор стихотворных сборников «Град» (1921), «В дыму» (1926). В эмиграции писал также прозу.

8. Пьесу «И весело, и тяжело» Ходасевич тем не менее включил в «Собрание стихов» 1927 года, а «Песню турки» опубликовал в ж. «Беседа», 1925, № 6/7.

9. Фредерика Моисеевна Наппельбаум, поэтесса, член «Звучащей раковины», сестра И. М. Фроман. В опубликованном ею сборнике «Стихи», Л., 1926, посвящения Ходасевичу нет: возможно, оно было снято по цензурным требованиям, но, может быть, Ходасевич имеет в виду какое-нибудь неопубликованное стихотворение Ф. Наппельбаум, не вошедшее в этот сборник.

10. Константин Вагинов (1900—1943), талантливый поэт и прозаик, начавший свой литературный путь со «Звучащей раковины», т. е. с акмеизма, но всегда работавший в гораздо более левой и самостоятельной манере. Видимо, Ходасевичу была послана вышедшая в 1926 г. новая книга стихов К. Вагинова.

11. Chaville — город в департаменте Сена и Уаза вблизи Парижа, где Ходасевич первоначально поселился.

12. Возможно, сообщение Фромана имеется в виду в следующем отрывке из мемуаров Н. Берберовой («Курсив мой», Мюнхен, 1972, индекс под словом Вагинов): У Ходасевича есть незаконченный отрывок стихов (1926? года), где он вспоминает Петербург и говорит, что ему пишут, что Костя Вагинов, по слухам, пишет хорошие стихи (конец отрывка «Великая вокруг меня пустыня»).

13. И. М. — Ида Моисеевна Фроман.

14. Коля Ч. — Николай Чуковский (1904—1965), тогда начинающий поэт (впоследствии посредственный прозаик), дарование которого переоценил Ходасевич, такой строгий и тонкий знаток стихов. Уже это одно безнадежно компрометирует всякого рода литературные прогнозы.

О высоком мнении о Н. Чуковском Ходасевича поминает и М. Горький: «По мнению Владислава Ходасевича, который, на мой взгляд, является величайшим из современных русских поэтов, молодой Николай Чуковский подает блестящие надежды» (Письмо в редакцию бельгийского журнала «Зеленый круг» «Жизнь Искусства», 1923, № 22).

Серафима ПОЛЯНИНА

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Иосиф БРОДСКИЙ — родился в Ленинграде 24 мая 1940 года.

Соломон ВОЛКОВ — (р. 1944), музыковед, музыкальный критик. Жил в Ленинграде и в Москве, работал в журнале «Советская музыка». С 1976 года живет в Нью Йорке, научный сотрудник Колумбийского университета. В 1979 году ньюйоркское издательство «Харпер энд Роу» опубликовало книгу «Свидетельство: мемуары Дмитрия Шостаковича в записи и под редакцией Соломона Волкова», переведенную на 10 языков.

Ефим ЭТКИНД — (р. 1918), критик, литературовед, писатель, переводчик. С 1952 по 1974 гг. преподавал в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена. Автор книг и многочисленных статей о литературе, знаток французской и немецкой поэзии. С 1974 года живет во Франции, преподаст в 10-м Парижском университете (Нантер).

Роберт СИЛЬВЕСТР — (р. 1933), литературный критик, специалист по русской литературе. Преподаст в Колгейтском университете (штат Нью Йорк). Автор статей о Бродском, Ходасевиче и др. Один из авторов многотомной энциклопедии «Русская и советская литература». Выпустил книгу «Валентина Ходасевич и Ольга Марголина: неизданные письма к Нине Берберовой». Живет в США.

Лев ШТЕРН — (р. 1932), переводчик, литературный критик, журналист. Печатается с 1959 года. Переводил произведения Дж. Уэйна, Р. Брэдбери, С. Мозма, Ф. Скотта Фицджеральда и др. С 1977 года живет в Нью Йорке.

Алексей ЛОСЕВ — (р. 1937), поэт, литературовед. Журналист по образованию. Автор нескольких детских пьес. В Союзе не публиковался. С 1976 года живет в США. Был редактором издательства «Ардис». В настоящее время — профессор Дартмут-колледжа (США). В журнале «Эхо» (№ 4, 1979) с чрезвычайно благожелательным напутствием И. Бродского опубликована первая значительная подборка стихотворений Алексея Лосева.

Алексис РАЙНИТ — (р. 1914), поэт, историк литературы, искусствовед. Автор шести стихотворных сборников на эстонском языке, два из которых переведены на русский Игорем Северянином. Переведен на многие европейские языки. Куратор Института по изучению России и стран Восточной Европы при Йельском университете.

Генрих САПГИР — (р. 1928), поэт. В СССР опубликовал несколько сборников детских стихов. Автор самиздатских сборников «Голоса», «Псалмы», «Элегии». За рубежом печатался в русской периодике. В Париже (1978) вышел сборник стихов «Сонеты на рубашках». Живет в Москве.

Владимир УФЛЯНД — (р. 1937), поэт. Находился в центре поэтической группы (Еремин, Виноградов, Лосев, Кулле). Одновременно выстав-

лял свои работы как живописец и график. В СССР опубликовано несколько стихотворений Уфлянда. В 1979 году американское издательство «Ардис» выпустило сборник его стихов — итог 22 лет поэтической работы. Живет в Ленинграде.

Евгений РЕЙН — (р. 1935), поэт. По образованию — инженер-технолог. По роду официальных занятий — журналист и кинодраматург. Выпустил в Союзе несколько детских книг. Печатается в русской зарубежной периодике. Участник альманаха «Метрополь». Живет в Москве.

Константин КАВАФИ — (1863—1933), крупнейший греческий поэт XX века, мало известный и мало печатавшийся при жизни, но высоко чтимый Элиотом, Форстером, Оденем. В России почти не переводился из-за откровенной гомосексуальной окраски его лирики. Подробнее см. статью Иосифа Бродского («Эхо», № 2, 1978).

Марина ЦВЕТАЕВА — (1892—1941), выдающаяся русская поэтесса.

Михаил КУЗМИН — (1872—1936), поэт, прозаик, драматург, композитор, критик. Пропагандист «кларизма», поэтики, ориентированной на пушкинские традиции в русской лирике, не связанной ни с символизмом, ни с акмеизмом. Прodelал уникальную для русской лирики эволюцию от «кларизма к герметизму» под влиянием немецкого экспрессионизма, модного в 20-е годы. Публикуемые стихи примыкают к сборникам «Новый Гуль» (1924), адресованный Льву Львовичу Ракову, и «Простой мир» (1930), не вышедший по цензурным соображениям.

Андрей НИКОЛЕВ — (1895—1968), поэт, переводчик, филолог, знаток античной литературы. Настоящее имя — Андрей Николаевич Егунов.

Юз АЛЕШКОВСКИЙ — (р. 1929), писатель и поэт. С конца 50-х годов в Союзе широко распространялись его песни, одна из них ставшая народной — «Товарищ Сталин, вы большой ученый», — известна в стране всем. В Самиздате широкое хождение имели повести «Николай Николаевич» и «Маскировка», в 1979 году изданные американским издательством «Ардис». Готовится к выходу роман «Кенгуру» — по-русски и по-английски, роман «Рука» — по-русски. Участник альманаха «Метрополь». С 1979 года живет в США.

Сергей ДОВЛАТОВ — (р. 1941), писатель, журналист. 14 лет проработал в газетах. С 1976 года печатается на Западе. В 1979 году издательство «Ардис» (США) выпустило «Невидимую книгу» Довлатова по-русски и по-английски. Публикуется в русской зарубежной и западной периодике. Ведущий сотрудник русской газеты «Новый американец». С 1978 года живет в Нью Йорке.

Людмила ШТЕРН — (р. 1935), писательница. Жила в Ленинграде, закончила Геологический институт и Ленинградский университет, получив степень кандидата наук по геологии. С 1976 года живет в Бостоне (США). Опубликовала повесть «Двенадцать коллегий» и ряд рассказов в русской зарубежной периодике.

Редколлегия альманаха выражает признательность Людмиле Штерн за предоставление материалов из ее личного архива.

Владислав ХОДАСЕВИЧ — (1886—1939), поэт, писатель, литературный критик.

Владимир НАБОКОВ — (1899—1977), выдающийся русско-американский писатель и поэт.

Петр ВАЙЛЬ (р. 1949) и Александр ГЕНИС (р. 1953) — литературные критики. Жили в Риге, с 1977 года — в Нью Йорке. Пишут вместе. Опубликовали в русской зарубежной и западной периодике ряд статей о новейшей литературе.

Геннадий ШМАКОВ — (р. 1940), переводчик, критик. Автор многочисленных статей о литературе, кино и балете. Книги: «Жерар Филип» (1974, Ленинград), «От Мельеса к Рене Клеру» (1975, не вышла из-за эмиграции автора из России в 1975 г.), «Михаил Кузмин. Жизнь и творчество» (1979, готовится к печати). С 1975 г. пишет о балете в американской периодической печати (Dance News, Ballet News, New York Review of Books, Vogue, Horizon etc.). Автор изданной по-английски книги о Наталии Макаровой. Готовятся к печати книги о Михаиле Барышникове, Марнусе Петипа, о великих русских артистах балета.

Татьяна ЯКОВЛЕВА-ЛИБЕРМАН — (р. 1910), дизайнер. Лирический адресат стихотворений Владимира Маяковского («Письмо к Татьяне Яковлевой» и др.). «Ларионов и Гончарова» — фрагмент из ее мемуаров «С бровью брови», над которыми она в настоящее время работает с Геннадием Шмаковым.

Нина БЕРБЕРОВА — (р. 1901), поэтесса, писательница, литературный критик. Автор нескольких романов, многочисленных рассказов, автобиографической книги о русской литературе «Курсив мой» (по-английски). Готовятся к выходу книги «Железная женщина», «Стихи 1922—1970 гг.» и «Бианкурские праздники». Живет в США.

Леонид ЛУБЯНИЦКИЙ — (р. 1938), фотограф. Жил в Ленинграде, с 1973 года — в Нью Йорке. Публиковал фотографии в журналах «Тайм», «Нью Йорк Таймз Мэгэзин», «Лук», «Вог», «Пипл» и многих других американских и европейских изданиях. Участник ряда выставок в США и других странах. Автор обложек ряда книг и альбомов грампластинок.

Марианна ВОЛКОВА — (р. 1946), фотограф и пианистка. С 1976 года живет в Нью Йорке, публиковала фотографии во многих американских и европейских изданиях («Нью Йорк Таймз», «Ньюзвик», «Ди Вельт», «Л'Эропео» и др.). В 1978 году прошла персональная выставка Марианны Волковой в Колумбийском университете (Нью Йорк).

Нина АЛОВЕРТ — (р. 1936), фотограф. Жила в Ленинграде, с 1973 года — в Нью Йорке. Публиковалась в различных американских и европейских изданиях. Участник ряда выставок в США и Европе.

Григорий ПОЛЯК — (р. 1943), инженер по образованию, знаток русской литературы начала XX века. Основал в конце 1978 года издательство «Серебряный век», выпустившее следующие книги: А. Ремизов, «Кукха» (1979), К. Вагинов «Козлиная песня» (1979), В. Ходасевич «Белый коридор» (1980, сост. Г. Поляк), В. Аксенов «Затоваренная бочкотара» (1980), А. Чайнов «Путешествие» (1980) и т. д.

THE AUTHORS

JOSEPH BRODSKY, a foremost Russian poet, was born in Leningrad on May 24, 1940.

SOLOMON VOLKOV, born in 1944, was a musicologist and a music critic in Leningrad and Moscow, and worked for *Sovetskaya Musika* magazine. He moved to New York in 1976 and is at present a research fellow at Columbia University. In 1979 Harper and Row published his "*Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich: As related to and edited by Solomon Volkov*". Ten editions of Volkov's book appeared in other countries.

EFIM ETKIND, an author, critic, scholar, and translator, was born in 1918. From 1952 till 1974 he taught at the Herzen Pedagogical Institute in Leningrad and produced several books and many articles on literary subjects. He is an authority on German and French poetry. Prof. Etkind settled in France in 1974 and currently teaches at the Faculte des Lettres of the Paris University at Nanterre.

ROBERT SILVESTER, born in 1933, is a critic with a special interest in Russian literature. He teaches at Colgate University at Hamilton, New York, and contributes to the Russian and Soviet Literary Encyclopedia. Silvester has written essays on the poetry of Brodsky and Khodasevich and prepared a volume of correspondence entitled *Valentina Khodasevich and Olga Margolina: Unpublished Letters to Nina Berberova*.

LEV STERN, born in 1932, is a translator, critic and journalist. J. Waine, R. Bradbury, S. Maugham, and F. Scott Fitzgerald are among the authors whose works translated and published in Russian since 1959. He lives in New York City since 1977.

ALEXEI LOSEV, a journalist by profession, wrote poetry and plays for children which were never published in the Soviet Union. He emigrated in 1976 and was an editor at Ardis. He presently teaches at Dartmouth College. Losev's first major selection of poems was printed in issue 4 of the literary magazine *EKHO*, in 1979, with a complimentary preface by Joseph Brodsky.

ALEXIS RANNIT, born in 1914, is a poet, literary critic and art historian. He has written six collections of poems in his native Estonian of which have been translated into several European languages. Two of Rannit's poetic collection appeared in Russian and their translation were prepared by Igor Severyanin. Alexis Rannit serves as curator of the Russian studies institute at Yale.

GENRIKH SAPGIR was born in 1928. His collections of poems for children were printed in the USSR and his poetry volumes *Voices*, *Psalms*, and *Elegies* circulated in *samizdat*. He also published his works in many Russian language periodicals abroad. His poetic collection *Sonets Written on Shirts* was brought out in Paris in 1978. He lives in Moscow.

VLADIMIR UFLIAND, born in 1937, did not complete his formal education. He was the leading figure in a circle of poets whose other members were Yeremin, Vinogradov, Losev and Kulle. Several of his poems were published in the USSR and he also exhibited his paintings and drawings. In 1979, Ardis brought out his *TEKSTY*, a collection of poems which spans twenty two years of Ufliand's writing. He lives in Leningrad.

EVGENY REIN was trained as a mechanical engineer but earns his living as a journalist and a scriptwriter. He published several books for children in the Soviet Union and in recent years has been publishing his poetry in the West. Evgeny Rein was a contributor to the METROPOL' anthology. He lives in Moscow.

CONSTANTINE KAVAFIS, the most important Greek poet of this century, was born in 1863 and died in 1933. He published little and was virtually unknown in his lifetime although his work was admired by T. S. Eliot, E. M. Forster, and W. H. Auden. The heavy homosexual overtones of his poems made them almost unprintable in Russia.

MARINA TSVETAeva, born in 1892, is one of the grand names of Russian poetry. She committed suicide in 1941.

MIKHAIL KUZMIN, an eminent Russian poet, born in 1872, also made his mark as a playwright, composer and literary critic. He was the expounder of the theory of Clairism which upheld the Pushkin Tradition in Russian poetry and was alien to both Symbolism and Akmeism. Strongly influenced by the German Expressionism of the 1920s Kuzmin switched from Clairism to Hermetism. Kuzmin's poems printed in this volume are closely related to his two other collections, *Novyi Gul'* (New Hull), published in 1924 and dedicated to Lev Rakov, and *The Simple World*, which was to appear in 1930 but did not pass the censor. Kuzmin died in 1936.

ANDREI NIKOLEV in the pen name of ANDREI NIKOLAEVICH EGUNOV, who was born in 1895. Nikolev published poetry and translations, and had an extensive background in ancient Greek and Roman literatures. He died in 1968.

YUZ ALESHKOVSKY, born in 1929, has written prose and poetry. In the late 1950s, his ballads became extremely popular and one of them, *You're a Man of Learning, Dear Comrade Stalin*, was on the lips of every Soviet Russian. Two of his tales, *Nikolai Nikolaevich* and *Maskirovka (The Camouflage)* widely circulated in *samizdat* and were published by Ardis in 1979. Aleshkovsky's two recent novels, *The Kangaroo* and *The Hand*, are currently being prepared for publication in English and Russian. Aleshkovsky was one of the contributors to *Metropol'*. He came to the USA in 1979.

SERGEI DOVLATOV, born in 1941, served on the staff of several newspapers for 14 years. His stories began to appear in the West in 1976. He emigrated from the USSR in 1978. In 1979 Ardis published Dovatlov's *The Invisible Book* in Russian and English. He presently lives in New York and writes for the Russian language weekly *Novyi Amerikanets*.

LYUDMILA SHTERN was educated as a geologist at the Institute of Geology and at Leningrad University, and earned her Candidate Degree

in geology in Leningrad. She has written several stories and a short novel *Twelve Collegiums* and published them in Russian language emigre periodicals. Miss Shtern now lives in Boston.

VLADISLAV KHODASEVICH, a poet, author of prose fiction and literary critic, was born in 1886. He died in 1939.

VLADIMIR NABOKOV, an outstanding Russian American writer and poet, was born in 1899 and died in 1977.

PETER VAIL and ALEXANDER GENIS are literary critics who write as a team. Vail was born in 1949 and Genis in 1953. They both lived in Riga, Latvia, and emigrated to New York in 1977. Several of their articles on the contemporary literature have been printed in the Russian and English languages periodicals.

GENNADY SHMAKOV, born in 1940, is a translator, critic and authors of many articles on the subjects of literature and dancing which appeared in *Dance News*, *Ballet News*, *New York Review of Books*, *Vogue*, *Horizon* and other American periodicals. His books include *Gerard Philipe*, published in 1974 in Leningrad, *From Melies to Rene Clair* which did not pass the Russian censors after Shmakov applied to emigrate in 1975, and a volume in English on ballerina Natalya Makarova. Shmakov's manuscripts on poet Mikhail Kuzmin, dancer Mikhail Baryshnikov and great Russian classical dancers are being prepared for publication.

TATYANA YAKOVLEVA-LIBERMAN, born in 1910, is a designer. She happened to be the protagonist of several of Vladimir Mayakovsky's poems including *A Letter to Tatyana Yakovleva*. *Larionov and Goncharova* is an excerpt of her memoir "*The Eyebrow to the Eyebrow*" on which she is working at present with Gennady Shmakov.

LEONID LUBYANITSKY was born in 1938. He is a photographer and lived in Leningrad before he came to New York in 1973. Lubyanitsky's photos appeared in *Time*, *New York Times Magazine*, *Look*, *Vogue*, and other American and European editions. He also contributed his work to several exhibits in the USA and abroad.

MARIANNA VOLKOVA, born in 1946 is a photoreporter and a piano player. She came to New York City four years ago. Volkova's photos were printed in the pages of *New York Times*, *Newsweek*, *Die Welt*, *L'Europeo* and other editions, both in the USA and in Europe. An exhibit of her works was arranged at Columbia University in 1978.

NINA ALOVERT was born in 1936. In 1978, she came to New York from Leningrad where she was a photographer. Many American and European editions printed her photos. Nina Alovert exhibited her works at several photo displays.

NINA BERBEROVA, born in 1901, is a poet, writer and critic. She has produced several novels, many short stories and an autobiography in English *Italics Are Mine*. Her new books *The Iron Woman* and *The Viancourt Holiday*, and *A Collection of Verse: 1922—1970* will be published soon. Nina Berberova makes her home in the USA.

GREGORY POLIAK was born in 1943, graduated from an engineering college and devoted much of his time to the study of Russian literature of the early XXth century. **SILVER AGE** publishing house he founded in 1978 has brought out A. Remisov's *Kukha* and K. Vaginov's *The Goat's Song* in 1979, V. Khodasevich's *The White Corridor*, V. Akse-
nov's *An Overstocked Take of Barrels*, and A. Chayanov's *The Journey*, in 1980.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
ИОСИФ БРОДСКИЙ — 40 ЛЕТ	
Иосиф БРОДСКИЙ	
Из цикла «Часть речи»	3
Иосиф БРОДСКИЙ	
Ленинград	6
Нью Йорк: пейзаж поэта.	
Интервью Соломона ВОЛКОВА с Иосифом БРОДСКИМ	27
Ефим ЭТКИНД	
«Взять нотой выше, идеей выше...»	37
Роберт СИЛЬВЕСТР	
Остановившийся в пустыне	42
Алексей ЛОСЕВ	
Английский Бродский	53
Алексис РАННИТ	
Заметки о России и Иосифе Бродском	61
П О Э З И Я	
Генрих САПГИР	
Элегии	67
Владимир УФЛЯНД	
Стихи	72
Алексей ЛОСЕВ	
Памяти водки	77
Евгений РЕЙН	
О Москве	84
Константин КАВАФИ	
Стихи	89
Марина ЦВЕТАЕВА	94
Михаил КУЗМИН	98
Андрей НИКОЛЕВ	102
П Р О З А	
Юз АЛЕШКОВСКИЙ	
Два показания	107
Сергей ДОВЛАТОВ	
Чья-то смерть и другие заботы	140
Людмила ШТЕРН	
Верите ли вы в чудеса?	160
Владислав ХОДАСЕВИЧ	
Жизнь Василия Травникова	172
Владимир НАБОКОВ	
Случайность	194

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

Литературные мечтания. Очерк русской прозы с картинками 204

ИСКУССТВО

Геннадий ШМАКОВ

Барышников начинался так 234

Татьяна ЯКОВЛЕВА-ЛИБЕРМАН

«С бровью брови» 239

М. Ларионов и Н. Гончарова в письмах и рисунках 243

ВОСПОМИНАНИЯ

Ольга ВАКСЕЛЬ

О Мандельштаме 251

Серафима ПОЛЯНИНА

Ольга Ваксель 254

Нина БЕРБЕРОВА

Железная женщина 263

АРХИВ

Письма В. Ходасевича М. Фроману 292

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 298

CONTENTS

TRIBUTE TO JOSEPH BRODSKY

JOSEPH BRODSKY	3
New Poems from <i>The Part of Speech</i> collection	
JOSEPH BRODSKY	6
Leningrad	
SOLOMON VOLKOV	27
New York: The Poet's Landscape. An Interview with Joseph Brodsky	
EFIM ETKIND	37
Scaling the Heights	
ROBERT SILVESTER	42
translated by LEV STERN	
He Who Stopped in the Wilderness	
ALEXEI LOSEV	53
Brodsky in English: A Profile	
ALEXIS RANNIT	61
Notes on Russia and Joseph Brodsky	

POETRY

GENRIKH SARGIR	67
Four Elegies	
VLADIMIR UFLIAND	72
Five Poems	
ALEXEI LOSEV	77
I. Remember Vodka	
EVGENY REIN	84
Moscow	
CONSTANTINE KAVAFIS	89
Five Poems	
MARINA TSVETAEVA	94
Unpublished Poetry	
MIKHAIL KUZMIN	98
Six Poems	
ANDREI NIKOLEV	102
A Cycle of Poems	

FICTION

YUZ ALESHKOVSKII	107
Two Testimonies	
SERGEI DOVLATOV	140
Someone Is Dead, and Other Problems	
LYUDMILA SHTERN	160
Do You Believe in Miracles?	

VLADISLAV KHODASEVICH	172
The Life of Vasily Travnikov	
VLADIMIR NABOKOV	194
The Matter of Chance	
CRITICISM	
PETER VAIL, ALEXANDER GENIS	204
Literary Reveries: An Essei on Russian Fiction, Illustrated	
ART	
GENNADY SHMAKOV	234
Baryshnikov Is Born...	
TATIANA YAKOVLEVA-LIBERMAN	239
'The Eyebrow to the Eyebrow'	
M. LARIONOV and N. GONCHAROVA	243
The Letters and Drawings	
MEMOIRS	
OLGA VAXEL	251
A Memoir of Osip Mandelshtam	
SERAFIMA POLYANINA	254
Olga Vaxel	
NINA BERBEROVA	263
The Iron Woman	
ARCHIVE MATERIALS	
V. Khodasevich — M. Froman Letters	292
CONTRIBUTORS	
	301

Художники Александр БЛОХ,
Владимир РЫКЛИН
Технический редактор Семен ПЕСОЧИНСКИЙ
Набор и корректура — Елена ДОВЛАТОВА
Typeset at Russian Phototypesetting Corp.

Cover photo "The Poet"
©Copyright by Marianna Volkov
Back cover by Mikhail SHEMYAKIN
The design was specially executed
for *The Part of Speech* anthology.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»

КАТАЛОГ № 1/1980

Алексей Ремизов — КУКХА. «Розановы письма». 128 стр. \$. 6.95.

«Кукха» — один из наиболее ярких памятников ремизовского экспериментирования в прозе — так оценивает книгу известный славист, профессор Л. Флейшман. Книга построена на переписке двух замечательных представителей «Серебряного века» — А. Ремизова и В. Розанова — и содержит интереснейшие дневниковые записи и блистательные комментарии А. Ремизова к письмам своего старшего друга. Предисловие к книге написал профессор Б. Филиппов.

Константин Вагинов — КОЗЛИНАЯ ПЕСНЯ. Роман. 200 стр. \$. 7.95.

Роман Константина Вагинова рисует аллегорическую картину гибели русской цивилизации. В основе его — традиционный конфликт мечты с действительностью. Центральный мотив — тоска о былом, и не времени даже, — о былом пространстве. О том пространстве, в котором гармония, чувствительность, интеллект — считались нормой.

Владислав Ходасевич — БЕЛЫЙ КОРИДОР. Воспоминания. 300 стр. \$. 14.50.

Книга представляет собой второй том воспоминаний В. Ходасевича (первый том — «Некрополь» — в основном посвящен символистам и завершается 1915—1916 гг.), которые охватывают годы революции, послереволюционный период и годы эмиграции, отражая литературный процесс до конца 30-х годов. Впервые собраны воспоминания и статьи Ходасевича, в которых содержится впоследствии подтвердившаяся трактовка событий, приведших к возвращению М. Горького в СССР и его гибели. Книга содержит также блестящие портреты Брюсова, Сологуба, Гумилева, Блока и других, снабжена развернутыми комментариями и алфавитным указателем имен.

Александр Чаянов — ПУТЕШЕСТВИЕ МОЕГО БРАТА АЛЕКСЕЯ В СТРАНУ КРЕСТЬЯНСКОЙ УТОПИИ. Повесть. 196 стр. \$. 8.50.

Один из крупнейших русских экономистов-аграрников, А. В. Чаянов выступает здесь как первый русский послереволюционный социальный утопист, предсказавший крах нового режима ранее, чем это сделал Е. Замятин в своей знаменитой антиутопии «Мы». В книге впервые появляется дата «1984», которая стала пророческим названием широко известного романа Дж. Орвелла. Духовная связь этих двух авторов интересно прослеживается в обширном предисловии Г. Струве.

Василий Аксенов — ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА, РАНДЕВУ. Повести. 144 стр. \$. 7.50.

Крупнейший современный русский прозаик представлен здесь двумя своими лучшими повестями, отметившими важнейший рубеж в его творчестве. «Если «Затоваренная бочкотара» — сказка, то «Рандеву» — аллегория или басня, потому что насквозь иронична», — говорят в своем ярком предисловии к книге критики П. Вайль и А. Генис. Иллюстрации выполнены В. Бахчаняном.

ЧАСТЬ РЕЧИ. Альманах литературы и искусства. Выпуск 1. 320 стр. \$. 10.00

Новый альманах ставит своей целью объединить лучшие творческие силы Зарубежья и неподцензурных авторов из СССР, познакомить широкую аудиторию читателей с незаслуженно забытыми и еще не публиковавшимися произведениями крупнейших мастеров русской литературы и искусства XX века. В 1980 году планируется выпуск трех номеров альманаха.

Сергей Довлатов — КОМПРОМИСС. Повесть в шести действиях. В печати. Шесть рассказов С. Довлатова - почти документальные, обстоятельные зарисовки журналистских будней. Но мера абсурда советской действительности такова, что самое обыденное, запечатленное беспристрастно, принимает характер фантазмагии и гротеска. «Компромисс» — вторая книга С. Довлатова. Первая, «Невидимая книга», выпущена издательством АРДИС в русском и английском вариантах. Лучший из рассказов сборника «Компромисс» — «Юбилейный мальчик» — опубликован в самом престижном американском журнале *New Yorker*. Из русских прозаиков в этом журнале до сего времени опубликовался лишь В. Набоков.

Нина Берберова - ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА. В печати. «Железной женщиной» назвал М. Горький свою последнюю подругу, которая, с небольшими перерывами, прожила в его доме с 1920 г. по 1933 г. Именно ей он посвятил свою эпопею — «Жизнь Клима Самгина». Но в России о ней известно очень мало, лишь как о секретаре и переводчице Горького. Между тем баронесса М. И. Будберг сыграла большую роль в судьбе еще двух выдающихся людей — сэра Роберта Брюса Локкарта (организатора известного заговора в 1918 году) и Герберта Уэллса, чьей «невенчанной женой», по выражению Беатрисы Вебб, она была с 1933 г. по 1946 г.

Леонид Добычин — ВСТРЕЧИ С ЛИЗ. Рассказы. 210 стр. В печати. Леонид Добычин (1896—1936) напечатал три маленьких книги: «Встречи с Лиз», «Портрет» и «Город Эн» (все они вошли в настоящий сборник). Крошечные, по две-три страницы, рассказы написаны почти без придаточных предложений и представляют собой как бы бесстрастный перечень незначительных происшествий. Добычин писал о том, что в обыденной жизни проходит незамеченным, о мимолетном, необязательном, встречающемся на каждом шагу. Его крошечные рассказы представляют собою образец бережливости по отношению к каждому слову. В 1936 году Л. И. Добычин покончил с собой.

Зинаида Гиппиус — ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДНЕВНИКИ (1914—1919). 250 стр. \$ 15.00

Впервые читатель получит собранные воедино дневниковые записи З. Н. Гиппиус с начала Первой мировой войны и до ее бегства из России в конце 1919 года.

Незаурядный политический мыслитель З. Н. Гиппиус создала документ потрясающей силы. Вместе с автором мы попадаем в самый центр событий и изо дня в день прослеживаем, как либеральная российская интеллигенция, взяв на себя задачу «цивилизовать Россию», оказалась к этой задаче неподготовленной и ввергла страну в величайшую историческую катастрофу.

Предисловие Н. Н. Берберовой. Публикация осуществлена совместно с издательством «Brendy».

Андрей Платонов — ВПРОК. Повесть. 100 стр. В печати.

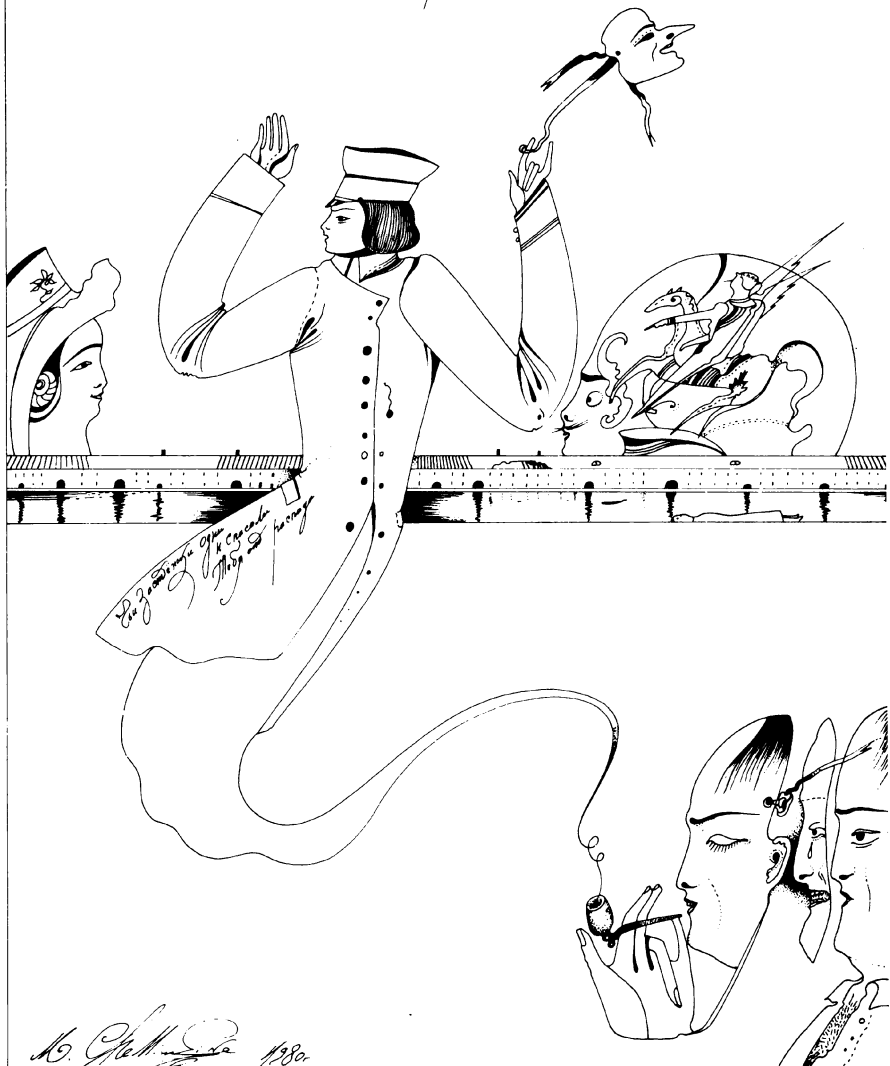
Наряду с «Котлованом» и «Чевенгуром» повесть «Впрок» может быть поставлена в ряд лучших произведений А. Платонова. Но вот уже более полувека со времени своего создания она оставалась почти неизвестной ценителям русской словесности.

Отдельным изданием повесть выходит впервые.

Заказы и чеки направлять:

SILVER AGE PUBLISHING
P. O. Box 384. Rego Park. N. Y. 11374.
Справки по тел.: (212) 897-6938.

Николай Николаевич Валуев - Эпопея о нем - Михаил Чернышев 1930



M. Chernyshev 1930